

2-3/2001

Путеводная звезда

школьное
чтение



Андре Моруа

Три Дюма

**ГУМАНИТАРНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
РЕКОМЕНДОВАН МИНИСТЕРСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
ДЛЯ ПРОГРАММНОГО
И ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ**

**Председатель
редакционной коллегии:**
АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ

Исполнительный редактор:
АГНЕССА ГРЕМИЦКАЯ

Редакционная коллегия:

ВИКТОР АСТАФЬЕВ,
писатель

ИРИНА БАХМУТСКАЯ,
директор Российской государственной
юношеской библиотеки

ИГОРЬ БЕСТУЖЕВ-ЛАДА,
академик Российской академии образования

ЕКАТЕРИНА ГЕНИЕВА,
директор Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы

ЛИДИЯ ЖАРКОВА,
директор Российской государственной
детской библиотеки

ВЛАДИМИР ЖЕЛЕЗНИКОВ,
писатель

ИГОРЬ МОТЯШОВ,
литературный критик

ВИКТОР РОЗОВ,
драматург

ВЛАДИМИР ШАДРИКОВ,
заместитель
Министра образования РФ

Обложка, титул:
ЮРИЙ ИВАНОВ

Художник:
АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВ

Над номером работали:
ВИКТОРИЯ ЕРМАК,
ИРИНА БАРАНОВСКАЯ

Корректор:
ИННА ПАНКРАТЬЕВА

Адрес редакции:
101963, Москва,
Армянский пер., 11/2а.
Тел.: 925-8200, 923-5868,
факс: (095) 200-2276.

Фабрика офсетной печати № 2 Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций, 141800,
г. Дмитров Московской обл., Московская, 3.
Тираж 20 000 экз. Заказ № 388.

Журнал зарегистрирован Министерством РФ
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовой информации.
Свидетельство ПИ № 77-5947
от 21 декабря 2000 года.
* Разницу цена свободная.

Учредители:



Российский Издательский
детский фонд, дом
А.А. Лиханов **Карл Тибери**

**Почему
я советую вам
прочитать
именно это**



**Екатерина
Гениева,**
директор
Всероссийской
государственной
библиотеки
иностранной литературы
им. М.И. Рудомино

ПРОТ. АЛЕ. М. Н. А. Я ДРУЖБА

Жизнь Александра Дюма, — пишет в своей книге А. Моруа, — «самое увлекательное из всех его произведений и самый интересный роман, который он нам оставил». И с этим нельзя не согласиться. Но была в этом романе «сквозная линия» — отношения отца и сына, их трогательная дружба и взаимная любовь. «Мое лучшее произведение — это ты, мой дорогой сын», — признавался Александр Дюма. Какие уроки преподавал он своему горячо любимому мальчику? Великодушия, доброты, щедрости, честности и благородства, увлеченности литературой, но прежде всего великого трудолюбия. «Лампы свет — изветный свет труда», «к каторге приговорил тебя твой гений», — напишет сын в стихотворении, посвященном отцу, проводившему за письменным столом по десять-двенадцать часов в сутки. А тот наставляет сына: «Работай серьезно, пиши...» Отец в глазах сына оставался «луфазарным в трагическом мире», своим оптимизмом он учил его не сдаваться и не падать духом. Уже после смерти отца, в предисловии к «Трем мушкетерам» сын вспомнит о тех месяцах, когда они жили вдвоем, после отъезда Иды: «Ах! То было прекрасное время. Мы были ровесниками, хотя тебе исполнилось сорок два года, а мне — двадцать. Наши веселые разговоры, взаимные изливания чувств!...» Это ли не урок — вести себя как ровесник, не давить, не назидать, но главное — исповедовать чувства, изливать их. По сути, вся история Александра Дюма-сына — это история воспитания чувств, и пьесы его — о воспитании чувств, об отношении обидчика к этим чувствам и прежде всего к женщине. Искренность, бесстрашие в разговоре о человеческих чувствах, воспитанные в Дюма-сыне отцом, делали его «истинным королем французской сцены», «одним из самых знаменитых и блестящих людей» Франции. Сын не только «не был раздавлен своим именем, но еще и приумножил его славу». Читайте и открывайте этот поучительный роман в романе!

Андре Моруа

Три Дюма

*Перевод с французского
Л. Беспаловой и С. Шлапоберской*



Часть шестая

МОНТЕ-КРИСТО*

Глупцы и чудaki более человечны,
Чем нормальные люди.

Поль Валери

ГЛАВА ПЕРВАЯ «Граф Монте-Кристо»

Имя Монте-Кристо — ключ к пониманию как творчества, так и жизни Дюма. Так назвал он свой самый популярный после «Трех мушкетеров» роман, и так же назвал он тот чудовищный дом, который был предметом его гордости и причиной его разорения; это имя лучше всего вызывает в нашей памяти его извечные мечты о роскоши и справедливости.

Как родилась у Дюма идея книги? Это произошло не сразу. В «Беседах» Дюма рассказывает, что в 1842 году, в бытность свою во Флоренции, Жером Бонапарт, экс-король Вестфалии, поручил ему сопровождать своего сына (принца Наполеона) на остров Эльбу — одно из самых священных для императорского дома мест. Дюма было тогда тридцать восемь лет, принцу — восемнадцать; однако писатель оказался моложе своего подопечного. Они пристали к Эльбе, исходили остров вдоль и поперек, а затем отправились поохотиться на соседний островок Пианозу, где в изобилии водились зайцы и куропатки. Их проводник, окинув взглядом вздымавшуюся над морем живописную скалу, напоминающую по форме сахарную голову, сказал:

— Если ваши превосходительства согласоволят посетить этот остров, они смогут там великолепно поохотиться.

— А как называют этот благословенный остров?

— Его называют островом Монте-Кристо.

Это имя очаровало Дюма.

— Монсеньер, — обратился он к принцу, — в память о нашем путешествии я назову «Монте-Кристо» один из романов, который когда-нибудь напишу.

Вернувшись на следующий год во Францию, Дюма заключил с издателями Бетюном и Пломом договор, по которому обязался написать для них восьмитомный труд под общим заглавием «парижские путевые записки». Дюма намеревался совершить продолжительную прогулку в глубины истории и археологии, но издатели сказали ему, что они мыслят этот труд совершенно иначе. Им вскружила голову удача Эжена Сю, чью недавно вышедшие «Парижские тайны» имели потрясающий успех; им хотелось бы, чтобы Дома написал для них приключенческий роман, действие которого разворачивалось бы в Париже.

Убедить Дюма было нетрудно, его не пугали самые дерзкие проекты. Он сразу же принялся за поиски интриги. А между тем когда-то, давным-давно, он заложил страницу в пятом томе труда Жака Пеше «Записки. Из архивов парижской полиции». Его поразила одна из глав под названием «Алмаз отщепенца». «История эта сама по себе, — писал потом Дюма в письме, свидетельствовавшем о его неблагодарности, — была попросту глупой. Однако она походила на раковину, внутри которой скрывается жемчужина. Жемчужина бесформенная, необработанная, не имеющая еще никакой ценности, — коротче говоря, жемчужина, нуждающаяся в ювелире...»

Сам Пеше когда-то действительно служил в парижской префектуре полиции. Из архивных папок он сумел извлечь шесть томов «Записок», которые и ныне могли бы послужить неисчерпаемым источником для авторов бульварных романов. Вот та любопытная история, которая привлекла внимание Александра Дюма.

В 1807 году жил в Париже молодой сапожник Франсуа Пико. Он был беден, но очень хорош собой и имел невесту. В один прекрасный день Пико, надев свой лучший костюм, отправился на площадь Сент-Оппортун, к своему другу, кабатчику, который, как и он сам, был уроженцем города Нима. Кабатчик этот, Матье Лупиан, хотя его заведение и процветало, не мог равнодушно видеть чужую удачу. В кабаке Пико встретил трех своих земляков из Гара, которые тоже были друзьями хозяина. Когда они принялись подшучивать над его франтовским нарядом, Пико объявил, что в скором времени женится на красавице сироте Маргарите Вигору; у влюбленной и процветало, не мог равнодушно видеть чужую удачу. В кабаке Пико встретил трех своих земляков из Гара, которые тоже были друзьями хозяина. Когда они принялись подшучивать над его франтовским нарядом, Пико объявил, что в скором времени женится на красавице сироте Маргарите Вигору; у влюбленной и процветало, не мог равнодушно видеть чужую удачу. В кабаке Пико встретил трех своих земляков из Гара, которые тоже были друзьями хозяина. Когда они принялись подшучивать над его франтовским нарядом, Пико объявил, что в скором времени женится на красавице сироте Маргарите Вигору; у влюбленной и процветало, не мог равнодушно видеть чужую удачу.

— А когда состоится свадьба?

— В следующий вторник

Не успел Пико уйти, как Лупиан, человек завистливый и коварный, сказал:

— Я сумею отстрочить это торжество.

— Как? — спросили его приятели.

— Сюда с минуты на минуту должен прийти комиссар.

Я скажу ему, что, по моим сведениям, Пико является английским агентом. Его подвергнут допросу, он натерпится страху, и свадьба будет отложена.

Однако наполеоновская полиция в те времена не любила шутить с политическими преступниками, и один из трех земляков, по имени Антуан Аллю, заметил:

— Это скверная штука.

Зато остальным идея показалась забавной.

Лупиан сразу же приступил к делу. Ему повезло: он попал на недостаточно осматрительного, но весьма ретивого комиссара, который счел, что ему представляется возможность отличиться, и, даже не произведя предварительного следствия, начерчил донес на имя министра полиции, самого Сарвары, герцога Ровиго. Герцог был в то время очень обеспокоен повстанческим движением в Вандее. «Этот Пико, — подумал он, — несомненно тайный агент Людовика XVIII». И вот бедного малого поднимают среди ночи с постели, и он бесследно исчезает. Родители и невеста пытаются навести справки, но розыски не дают никаких результатов, и они в конце концов смиряются: отсутствующий всегда виноват.

Проходит семь лет. Наступил 1814 год. Империя Наполеона пала. Человек, до времени состарившийся от перенесенных страданий, выходит из замка Фенестрель, где он пробыл в заключении целых семь лет... Это Франсуа Пико, изможденный, ослабленный, изменившийся до неузнаваемости. Там, в тюрьме, Пико преданно ухаживал за арестованным по политическим мотивам итальянским прелатом, дни которого были сочтены. Перед смертью тот на словах завещал ему все свое состояние, а в частности спрятанный в Милане клад: алмазы, ломбардские дукаты,

*Окончание. Начало см. в журнале «Путеводная звезда. Школьное чтение», №1/2001 г.

венецианские флорины, английские гинеи, французские луидоры и испанские монеты.

По выходе из замка Пико пускается на поиски клада, а найдя его, прячет в надежное место и под именем Жозефа Люше возвращается в Париж. Там он появляется в квартире, в котором жил до ареста, и наводит справки о сапожнике Пьере-Франсуа Пико, том самом, который в 1807 году собирался жениться на богатой мадемуазель Вигору. Ему рассказывают, что причиной гибели этого юноши была злая шутка, которую сыграли с ним во время карнавала четыре весельчака. Невеста Пико два года его оплакивала, а потом, сочтя, что он погиб, согласилась выйти замуж за кабатчика Лупиана — вдовца с двумя детьми. Пико осведомляется об остальных участниках карнавальная шутки. Кто-то говорит ему: «Вы можете узнать их имена у некоего Антуана Аллю, который проживает в Ниме».

Пико передается итальянским священником и, зашив в одежду золото и драгоценности, отправляется в Ним, где он выдает себя за аббата Балдини. Антан Аллю, прельстившись прекрасным алмазом, называет имена трех остальных участников роковой карнавальная шутки. А через несколько дней в кабачок Лупиана нанимается официант по имени Проспер. Этому человеку с лицом, измощенным страданиями, одетому в поношенный костюм, можно дать на вид не менее пятидесяти лет. Но это тот же Пико в новой личине. Оба уроженца Нима, имена которых выдал Аллю, по-прежнему остаются навсегда кабатчика. Как-то один из них, Шамбар, не приходит в обычное время. Вскоре становится известно, что накануне в пять часов утра он был убит на мосту Искусств. В ране торчал кинжал с надписью на рукоятке: «Номер первый».

От первого брака у кабатчика Лупиана остались сын и дочь. Дочь его, девушка лет шестнадцати, хороша как ангел. В городе появляется хлыщ, выдающий себя за маркиза, обладателя миллионного состояния. Он соблазняет девушку. Забеременев, она вынуждена во всем признаться Лупиану. Лупиан легко и даже с радостью прощает дочь, поскольку эlegantный господин выражает полную готовность сделать своей женой ту, которая в недалеком будущем станет матерью его ребенка. Он и впрямь сочетается с ней гражданским и церковным браком, но сразу после благоговения, когда гости готовятся приступить к свадебному ужину, разносится весть о том, что супруг бежал. Супруг этот оказался выпущенным из заключения каторжником и, разумеется, не был ни маркизом, ни миллионером. Родители невесты вне себя от ужаса. А в следующую воскресенье дом, где живет семья и помещается кабачок, сгорает дотла в результате загадочного поджога. Лупиан разорен. Лишь два человека ему верны: это его друг Солари (последний оставшийся в живых из бывших завсегдаев кабатчика) и официант — виновник всех несчастий, постигших ничего не подозревающего кабатчика. Как и следовало ожидать, Солари в свою очередь погибает от яда. К черному суну, покрывающему его гроб, прикреплена записка: «Номер второй».

Сын кабатчика Эжен Лупиан — безвольный шалопаи. Хулиганам, неизвестно откуда появившимся в городе, без труда удается втянуть его в свою компанию. Вскоре Эжен попадает на краже со взломом, и его приговаривают к двадцати годам тюремного заключения. Семейство Лупиан скатывается в бездну позора и нищеты. Деньги, добрая репутация, счастье — все исчезает в стремительной лавине следующих одна за другой катастроф. «Черная дама Лупиан», уроченная Маргарита Вигору, умирает от горя. Так как у нее с Лупианом не было детей, остатки ее состояния Лупиан вынужден вернуть родственникам, которые яв-

ляются ее прямыми наследниками. И тут на сцену выступает официант Проспер: он предлагает разоренному хозяину все свои сбережения при условии, что престелная Тереза, дочь Лупиана и жена беглого каторжника, станет его любовницей. Чьей сласти отца, гордая красавица соглашается.

От бесконечных несчастий Лупиан на грани безумия. И вот однажды вечером в темной аллее Тюильри перед ним внезапно возникает человек в маске.

- Лупиан, помнишь ли ты 1807 год?
- Почему именно 1807-й?
- Потому что в этом году ты совершил преступление.
- Какое преступление?
- А не припомнишь ли ты, как, позавидовав другу своему Пико, упрял его в тюрьму?
- Бог покарал меня за это... жестоко покарал.
- Не Бог тебя покарал, а Пико, который, чтобы утолить жажду мщения, заколол Шамбара, отравил Солари, сжег твой дом, опозорил твоего сына и выдал твою дочь за каторжника. Так знай, что под личиной официанта Проспера скрывался Пико. А теперь настал твой последний час, потому что ты будешь Номером третьим.

Лупиан падает. Он убит. Пико уже у выхода из Тюильри, но тут его хватает чья-то железная рука, ему затыкают рот и куда-то увлекают под покровом темноты. Он приходит в себя в подвале, где находится с глазу на глаз с незнакомым человеком.

- Ну как, Пико? Я вижу, мщение кажется тебе детской забавой? Ты потратил десять лет жизни на то, чтобы преследовать трех несчастных, которых тебе следовало бы пощадить... Ты совершил чудовищные преступления и меня сделал их соучастником, потому что я выдал тебе имена виновников твоего несчастья. Я — Антан Аллю. Издадека следил я за твоими злодеяниями. И наконец понял, кто ты такой. Я поспешил в Париж, чтобы разоблачить тебя перед Лупианом. Но, видно, дьявол был на твоей стороне, и тебе удалось опередить меня.
- Где я нахожусь?

— Не все ли тебе равно? Ты там, где тебе не от кого ждать ни помощи, ни милосердия.

Месть за мечь. Пико зверски убит. Его убийчик разажает в Англию. В 1828 году Аллю, тяжело заболев, призывает католического священника, который под его диктовку записывает во всех подробностях этот леденящий кровь рассказ, и разрешает священнику после его смерти передать эту исповедь французскому суду.

Исповедник в точности исполняет последнюю волю Антуана Аллю и передает этот бесценный документ в архив парижской полиции, где с ним и ознакомился Жак Пеше.

Для Дюма, Балзака или Эжена Сю в этой истории заключался готовый роман. И не только для них, но и для читающей публики. Уже в течение многих тысячелетий страдающее человечество утешает себя мифами о торжестве справедливости. Из мифических персонажей наибольшей популярностью пользуется Волшебник и Вершитель Правосудия. Униженные и оскорбленные с надеждой, но ослабевающей от разочарований, уповают на Бога или героя, который исправит все ошибки, покарает злодеев и вознаградит наконец праведников, посадив их одесную. Древние наделяли Вершителя Правосудия большой физической силой; примером тому может служить Геракл. Дюма в память о своем отце-генерале с успехом воскресил в образе Портоса миф о Геракле.

В «Тысячи и одной ночи» Вершитель Правосудия становится магом. Сила его носит уже не столько физический, сколько окулупный характер. Он может спасти невинного, уведя его далеко от преследователей, может открыть беднякам пещеры, полные драгоценностей.

В эпоху Дюма Волшебник превращается в наобаб, обладателя гигантского состояния, которое позволяет ему осуществлять самые дерзновенные фантазии. Дюма всегда мечтал быть таким распределителем земных благ. И в пределах, к сожалению, весьма ограниченных его собственными денежными затруднениями, он тешил себя, играя эту роль по отношению к своим друзьям и возлюбленным. Все его золото можно было уложить в один кубок, но он расшвыривал его жестом столь широким, что ему мог позавидовать любой наобаб. Дюма доставляло большое удовольствие сделать своего героя баснословно богачом, пригоршнями раскидывающим направо и налево сапфиры, алмазы, изумруды и рубины. К тому же Дюма очень хотелось, чтобы это герой был бы еще и мстителем во имя великой цели. Ведь и у самого Дюма, несмотря на всю широту его натуры, накопилось много обид как против общества, так и против отдельных личностей. Его отца-генерала травлили, самого Дюма преследовали кредиторы, облевали грязью всевозможные клеветники. Он разделял со многими обиженными ту жажду мщения, которая еще со времен «Орестеи» вдохновляла людей на создание стольких шедевров. И ему очень хотелось бы в романе вознаградить себя за все те несправедливости, которые он терпел от общества.

Пеше дал ему готовую интригу. А подлинные истории могут служить великолепной основой, если к ним приложит руку настоящий художник. Дюма уже довольно далеко зашел в своей работе, когда его друг Маке пробудил в нем некоторые сомнения.

«Я рассказал ему о том, что я сделал, и о том, что мне еще оставалось сделать.»

— Мне кажется, — заметил он, — что вы опускаете самые интересные моменты жизни героя... а именно — его любовь к Каталонке, измену Данглара и Фернана, десятилетнее заключение с аббатом Фариа.

— Я расскажу обо всем этом, — говорю я.

— Не можете же вы рассказать четыре или пять томов, а здесь получится не меньше.

— Возможно, вы правы. Приходите ко мне завтра. Мы потолкуем об этом.

Весь вечер, всю ночь и утро я думал о его замечаниях, и они показались мне настолько справедливыми, что под конец совсем вытеснили мой первоначальный замысел. И вот когда Маке на следующий день зашел ко мне, он увидел, что роман разбит на три четко разграниченные части, озаглавленные: Марсель — Париж — Рим. В тот же вечер мы совместно с Маке набросали план первых пяти частей. Первую часть мы отвели под экспозицию, в трех последующих речь должна была идти о заточении в замке Иф, в пятой — о бегстве из замка и вознаграждении семейства Морель. Все остальные части, хоть и не были разработаны в деталях, были в общем ясны.

Маке считал, что он оказал мне всего-навсего дружескую услугу. Я полагаю, что он проделал работу соавтора...

А теперь настало время рассказать о том, как Дюма использовал «Записки» Пеше.

Герой Дюма Эдмон Дантес, как и Франсуа Пико, готовится к свадьбе с любимой девушкой в тот самый момент, когда над ним разражаются невероятные несчастья. Как и в истории, рассказанной Пеше, невеста Пико выходит замуж за Лупиана, так и у Дюма рыбак Фернан отнимает у Эдмона Мерседес. Но Дюма раздвоил личность Лупиана: он сделал на его материале двух героев — Фернана и предателя Данглара. Следовательно Вильфор, видевший в гибели Дантеса лишь средство сделать карьеру, имел живым прототипом того самого ретивого комиссара, который с такой готовностью принял на веру клеветнический донос Лупиана.

Аббат Фариа, товарищ Эдмона Дантеса по заключению в замке Иф, становится на место миланского прелата, завещавшего свои сокровища Франсуа Пико. После того как он бежал из замка и стал богат, Дантес последовательно перевоплощается в аббата Бузони, в Синдбада-морехода, в лорда Уиллмора и в графа Монте-Кристо, точно так же Пико выдавал себя за Жозефа Люше, аббата Балдини и официанта Проспера.

Не оставил без внимания Дюма и тот факт, что дочь Лупиана, обобщенная самозванцем, надеялся, выйдя замуж за уголовного преступника, выдававшего себя за маркиза, породниться с самыми знатыми домами. Этот эпизод легко поддавался романтизации. И он в свою очередь вводит в дом Дангларов Бенедетто, незаконного сына Вильфора, осужденного за мошенничество, воровство и подлоги и сосланного на тулонскую каторгу. Убежав с каторги, этот арестант так удачно выдает себя за итальянского князя, что очаровательная Эжени, дочь Данглара, отдает ему руку. В день, когда должно состояться торжественное подписание брачного контракта, жениха арестуют по обвинению в убийстве.

Но не из «Записок» было взято гениально, мгновенно запечатлевающееся в памяти название романа «граф Монте-Кристо». В реторту с таинственным составом, из которого выходят шедевры, было подбавлено новое бесценное вещество, и произошло это в тот самый день, когда Дюма отправился охотиться на островок близ Эльбы.

Живой Пико был слишком кровожаден в своей мести, чтобы стать популярным героем. И Дюма сделал Дантеса не свирепым убийцей, а неумолимым мстителем. Пико собственноручно убивает своих врагов. Он мстит за себя сам, тогда как Дантес направляет руку судьбы. Фернан, успешный старший генералом, графом де Морсером и супругом Мерседес, кончает жизнь самоубийством, Данглар разорен, Вильфор сходит с ума. Чтобы бросить луч света в это царство мрака и заодно придарить роману колорит «Тысячи и одной ночи», Дюма снабжает Монте-Кристо любовницей гречанкой Гайда, дочерью паши Янины. Именно о такой великолепной рабыне всю жизнь мечтал сам Дюма.

К концу книги Эдмон Дантес, пресытившись мщением, наделяет приданым дочь своего врага мадемуазель Вильфор и выдает ее замуж за сына своего друга Мореля. Но когда молодые люди хотят отблагодарить своего благодетеля и спрашивают у моряка Джакопо: «Где граф? Где Гайда?» — Джакопо указывает рукой на горизонт.

«Они обратили взгляд туда, куда указывал моряк, и вдали, на темно-синей черте, отделяющей небо от моря, они увидели белый парус не больше крыла морской чайки.»

Итак, «граф Монте-Кристо» заканчивается так же, как заканчиваются фильмы Чаплина — кадром, на котором мы видим силуэт человека, уходящего вдаль.

ГЛАВА ВТОРАЯ, в которой роман воплощается в жизнь

В блокноте этот наш Дюма
Ведет расходам счет. Но только
Важнейшей нет графы там: сколько
Он в день расходует ума

Роже де Бовуар

Успех «Графа Монте-Кристо» превзошел все предыдущие успехи Дюма. Париж был без ума от романа, и сам Дюма больше, чем любой другой парижанин. Он никогда не проводил четкой грани между своими романами

и личной жизнью. Ему доставило огромное удовольствие вести через посредство Эдмона Дантеса столь бесподобное существование, и он захотел пережить нечто подобное в реальной жизни. Разве он не был набобом от литературы? Разве он не зарабатывал двести тысяч франков золотом в год? Так почему же ему не построить замок Монте-Кристо?

С 1843 года Дюма, сохраняя за собой квартиру в Париже, снял (за две тысячи франков в год) виллу «Медици» в Сен-Жермен-ан-Лэ и взял в аренду театр этого маленького городка. Он пригласил туда Комеди Франсез, кормил артистов и обеспечивал их жильем, брал на себя гарантии за выручку и терял на этом деле кучу денег. Зато его доход, гарем и зверинец весело колошились вокруг него, а доходы железной дороги из Парижа в Сен-Жермен сразу поднялись. Толпы любопытных стекались в Сен-Жермен, чтобы поглазеть на великого человека. И он, знатный вельможа, пожимал плечами, отпуская остроты и первый смеялся над ними.

Удивленный король спросил однажды у министра Монталиве:

— Отчего в Сен-Жермене царит такое оживление?

— Сир, — последовал ответ, — желает ли ваше величество, чтобы Версаль веселился до упаду? Дюма за пятнадцать дней возродил Сен-Жермен — прикажите ему провести две недели в Версале.

Но не в Версале, а по дороге из Буживала в Сен-Жермен купил Дюма поросший лесом участок, чтобы возвести замок своей мечты. Он привел на этот склон архитектора Дюрана и сказал ему:

— Вот здесь вы разобьете мне английский парк, в центре его я хочу построить замок в стиле Возрождения, напротив — готический павильон, окруженный водой. На участке есть ручьи. Вы создадите каскады...

— Но, господин Дюма, здесь глинистая почва. Все ваши строения поплывут.

— Господин Дюран, вы будете копать, пока не дойдете до тупа... Вы отведете два подземных этажа под погребца и своды.

— Это вам обойдется в несколько сот тысяч франков.

— Надеюсь, никак не меньше, — ответил Дюма, расплываясь в счастливой улыбке.

Самое удивительное, что он и впрямь осуществил свой замысел. Парк, разбитый на английский манер, большой и живописный, по сей день поражает своими романтическими извилинами и зелеными лужайками. Два флигеля соединены решеткой, достойной украшать замок феодального сеньора. По другую сторону дороги, ведущей в Марии-ле-Руа, стоят очаровательные службы (в стиле Вальтера Скотта), которые по современным представлениям могли бы считаться самостоятельными загородными домиками. Сам «замок», по сути дела, представляет собой обыкновенную виллу, причем настолько эклектичную по стилю, что она производит впечатление дикое и вместе с тем трогательное. Балзак восхищался ею и завидовал Дюма. Напрасно!

Окна, скопированные с окон замка д'Анж, вызывают в памяти Жана Гужора* и Жермена Пилона*. Саламандры на лепных украшениях замостованы из герба, пожалованного Франциском первым городу Вилле-Коттре — родине Александра Дюма. Скульптурные изображения великих людей — от Гомера до Софокла, от Шекспира до Гёте, от Байрона до Виктора Гюго, от Казимира Делавина до Дюма-отца — образуют фриз вокруг дома. Над парадным входом девиз владельца замка: «Люблю тех, кто любит меня». Над фасадом в стиле Генриха II вздымается восточный минарет. Архитектура эпохи трубадуров соседствует с Востоком «Тысячи и одной ночи». Крыша утыкана флюгерами. Апартаменты не-

большие, зато на редкость разностильные, состоят из пятнадцати комнат, по пяти на каждом этаже, — и все это венчают обшитые панелями мансарды. Главный зал — белый с золотом — выдержан в стиле Людовика XV. Арабская комната украшена гипсовыми арабесками тонкой работы, на которых еще можно прочесть изречения из Корана, хотя позолота и яркие краски вязи везде уже облупились.

В двухэтажных метрах от «замка» возвышается удивительное строение в готическом стиле — нечто среднее между миниатюрной сторожевой башней и кукольной крепостью. Маленький мостик перекинут через ров, заполненный водой. На каждом камне высечено название одного из произведений Дюма. Весь первый этаж занимает одна комната, лазурный потолок ее усыпан звездами. Стены обтянуты голубым сукном, над резным камином — рыцарские доспехи. Сундуки в стиле средних веков, стол, вывезенный из трапезной какого-то разоренного аббата. Здесь Дюма почти не мешали работать. Спиральная лестница вела в келью, где он иногда проводил ночь. Дозорная площадка позволяла ему наблюдать за гуляющими по парку гостями. Все вместе производило впечатление лилипутского величия.

Леон Гозлан был в восторге.

«Я могу назвать эту жемчужину архитектуры, — писал он, — только с замком королевы Бланш в лесу Шантigny и домом Жана Гужона... Узданыные усеченные углы, каменные балконы, витражи, свинцовые оконные рамы, башенки и флюгеры... Оно не принадлежит к определенной эпохе — его нельзя отнести ни к античности, ни к средневековью. В нем, однако, есть нечто возрожденческое, и это придает ему особое очарование... Дюма, который лучше, чем кто бы то ни было, знает талантливых людей своего времени, заказал все статуи, украшающие замок, Огюсту Прео, Джеймсу Прадье и Антонэну Миму... По фризу первого этажа он распорядился расположить бюсты великих драматургов всех веков, в том числе и своего...»

Гозлан расспысался в похвалах тунисским скульпторам за «тонкость и изящество работы, какую увидишь разве что на мавританских плафонах Альгамбры; сложный резной узор кажется роскошным кружевом... Я вне себя от восхищения... В Трианоне нет ни одного плафона, равного тому, который тунисец создал для «Монте-Кристо». С центрального балкона открывается вид еще более прекрасный, чем тот, которым мы наслаждаемся с высоты террас Сен-Жермена...»

Гозлан здесь высказывает себя больше Монте-Кристо, чем сам Монте-Кристо. На самом деле «замок» был всеганского причудливой, нелепой и маленькой виллой, где Дюма, однако, жил как знатный вельможа.

На новоселье (25 июля 1848 года) Дюма пригласил к обеду шестьсот гостей. Обед заказали в знаменитом ресторане («Павильон Генриха Четвертого» в Сен-Жермене), столы накрыли на лужайке. В курьезных дымылих благоволия. Повсюду красовался девиз маркизис де ля Пайетри: «Ветер раздувает пламя! Господь воспламеняет душу!» Сияющий Дюма расхаживает среди пригласенных. На сюртуке его сверкают кресты и ордена. Поперек блестящего жилета перекинута массивная золотая цепь. Он обнимает хорошеньких женщин и всю ночь напролет рассказывает чудесные истории. Никогда в жизни он не был так счастлив.

Балзак — Еве Ганской, 2 августа 1848 года:

«Ах, «Монте-Кристо» — это одно из самых прелестных безумств, которые когда-либо делались. Он — самая царственная из всех бонбоньерок на свете. Дюма уже израсходовал 400 тысяч франков, и ему понадобится еще 100 тысяч франков, чтобы закончить замок. Но он во что бы ни стало осуществит свой замысел. Вчера мне удалось уз-

нать, на какой земле построен этот маленький замок. Земля эта принадлежит крестьянину, который продал ее Дюма по устной договоренности так, что в любую минуту, если ему вдруг вздумается распахать свое поле и сажать на нем капусту, он может потребовать снести замок. Это дает Вам некоторое представление о характере Дюма! Строить этакое чудо, ибо замок — поистине чудо, хотя и незавершенное, на чужой земле, не имея никаких документов, подтверждающих твои права! Крестьянин может умереть, а его дети, пока еще несовершеннолетние, не захотят сдержать слово, данное их отцом!..

Если бы Вы увидели этот замок, Вы бы тоже пришли в восторг от него. Это очаровательная вилла, она куда красивее виллы Пампили, потому что с нее открывается вид на террасы Сен-Жермена, и, помимо всего прочего, она стоит у воды!.. Дюма обязательно ее достроит. Она такая же красивая и изысканная, как портал Анз, который Вы видели в Музее изящных искусств. Планировка прекрасная — одним словом, безумная роскошь времен Людовика XV, но в стиле Людовика XIII с элементами украшений эпохи Возрождения. Говорят, постройка уже обошлась Дюма в 500 тысяч франков и что ему необходимо еще 100 тысяч франков, чтобы завершить свой замысел. Его грабили, как на большой дороге. Он вполне мог бы уложиться в 200 тысяч франков...»

Вполне забавно читать, что Балзак отчитывает расточительного Дюма и поучает его искусству бережливости.

Так началась неповторимая жизнь в «замке» «Монте-Кристо». Хозяин дома поселился в микроскопической крепости; над своим рабочим кабинетом он оборудовал келью, где стояли только железная кровать, стол некрашеного дерева и два стула. Там он работает с утра до вечера, а часто с вечера и до утра. На нем лишь рубашка и тиковые панталоны. Он очень растолстел, и его огромный живот упирается в стол, а между тем он ест самую простую кашлицу: пантагрюлезские пиры он задает гостям. В «Монте-Кристо» он держит открытый дом. В «Монте-Кристо» радушно принимают всех, кто бы ни пришел. Дюма протиривал гостю левую руку, правой продолжая писать, и приглашал его к обеду. Повар то и дело получал указание поджарить еще несколько котлет по-баварски. Иногда Дюма, который сам был отличным кулинаром, приготавливал какое-нибудь блюдо по своему рецепту и с увлечением стряпал соусы.

Любый писатель, любой художник, стесненный в деньгах, мог поселиться в «Монте-Кристо». Там постоянно жило множество дармоедов, с которыми амфирион даже не был знаком. Содержание этих людей стоило ему несколько сот тысяч франков в год. Уже не говоря о женщинах...

В «замке» «Монте-Кристо» одна любимая султанца быстро сменяла другую: в их числе была и Луиза Боудан, которую величали Аталой Бошен, дебютанткой Исторического театра, женщины-писательницы. Фавориткой 1848 года была Селеста Скриванек, очаровательная актриса, совсем еще молодой дублировавшая Дежазе и с большим изяществом исполнявшая куплеты в водевиле. Наперсница, друг и секретарь Дюма, она хотела играть в этом непостоянном семействе еще и роль матери.

Селеста Скриванек — Дюма-сыну:

«Мой дорогой Александр, я наверно блаженства: я не расстанусь с Вашим отцом. Он согласился взять меня с собой. Я буду путешествовать с Вами под видом мальчишки: портной только что снял с меня мерку. Ах, я схожу умирать от счастья! Простите меня, мой милый, добрый друг, за то, что я не сообщила Вам обо всем этом раньше [sic!]; изо дня в день я собиралась поболтать хоть несколько минут с Вами, но в последний момент мне всегда что-нибудь ме-

шало. Ваш отец заставляет меня много работать, я пишу под его диктовку, и я очень горда и счастлива тем, что могу быть секретарем этого универсального человека. Я надеюсь через месяц увидеть Вас здесь, но тем временем все же черните мне несколько дружеских слов.

Мы выполнили все Ваши поручения. Сейчас я подрублю Ваши галстуки; как только портной закончит Ваши брюки, мы вышлем все вместе. Сегодня вечером мы отправляемся в Версаль и пробудем там целых три дня. Прощайте, напишите мне поскорее.

Ваша преданная маленькая мама

С. Скриванек.

Что касается Лолы Монтес, то, хотя она и провела несколько дней в «Монте-Кристо», нам представляется маловероятным, чтобы она была возлюбленной Дюма, так как, став милостью своего любовника короля Людовика I Баварского всемогущей графиней Ландсфельд, она писала в «Монте-Кристо»: «Мюнхен, 14 апреля 1847 года.

«Мой дорогой господин Дюма! Для меня было большим удовольствием получить [sic!] несколько дней назад Ваше письмо. Если Вы к нам приедете, я могу Вас заверить, что Вам будет оказан прием, достойный такого талантливого и прославленного писателя, как Вы. Его величество король просит меня передать Вам его благодарность за те лестные слова по его адресу, которые содержались в письме ко мне, а также сказать Вам, что ему доставит огромное удовольствие увидеть Вас в Баварии. Я считаю, что Вы должны приехать к нам, не теряя времени. Все здесь в восторге от Ваших прекрасных произведений, и я уверена, что Вас примут по-царски. Я пишу Вам обо всем этом для того, чтобы Вы обязательно приехали повидаться с королем. Я думаю, что Вы останетесь довольны друг другом. Не смею дольше отнимать Ваше драгоценное время, так как хорошо знаю, что письмо от столь скромной особы, как я, не может заинтересовать Вас. Но разрешите мне, дорогой господин Дюма, навсегда остаться одной из самых восторженных Ваших поклонниц.

Лола Монтес.

Лола Монтес, баварская графиня, была ирландкой, выдававшей себя за испанку. Из письма видно, что она писала с грубыми грамматическими и орфографическими ошибками. Но содержание письма говорит о том, что Лола не была избраницей Дюма, хотя официальный тон мог быть продиктован и осторожностью.

В «Монте-Кристо» безраздельно правил итальянский мажордом синьор Раскони. Садовник Мишель, мастер на все руки, большой знаток «Словаря естественных наук», приводил Дюма в восторг, называя по-латыни растения и животных. Был там еще и маленький негринетон Алексис, которого Мари Дорваль однажды принесла Дюма в корзинке с цветами.

— Я не могу его прокомментировать, — сказала очаровательная актриса, обремененная долгами, — и поэтому дарю его тебе, мой славный пёс.

— Откуда он родом?

— С Антильских островов.

— На каком языке говорят на Антильских островах, мой мальчик?

— На креольском.

— А как будет по-креольски: «Здравствуйте, сударь»?

— Здравствуйте, сударь.

— Ну что ж, тогда все ясно, мой мальчик. Отныне мы будем говорить по-креольски... Мишель! Мишель!

Вошел садовник.

— Вот вам, Мишель, новый гражданин, который теперь будет жить с нами.

Был в «Монте-Кристо» еще один слуга, приставленный к псарне, и другой — к вольтерам, потому что эти джунгли были населены зверями, которым Дюма посвятил очаровательную книгу «История моих животных». В доме жили пять собак, три обезьяны, из них одна — мартишка (которых он называл в честь знаменитого писателя, знаменитого переводчика и популярной актрисы), два попугая, золотой фазан, окрещенный Лукуллом, петух, прозванный Цезарем, кот по кличке Мисуф и гриф Югурта, вывезенный из Туниса, которого переменивали в Диогена с тех пор, как он поселился в бочке.

В «Монте-Кристо» хорошо работало под писк и гомон зверица. На столе у него всегда лежала стопка бумаги — голубые листки для романов, розовые — для статей и желтые, предназначенные для поэм одалискам. Его поглощали мысли об Историческом театре, для которого он переделывал пьесы один роман за другим; он был счастлив, если бы его сын согласился войти на паях в фирму «Александр Дюма и К». Пожелай он только играть роль Маке, говорил отец, он мог бы легко заработать от сорока до пятидесяти тысяч франков в год.

«Это вовсе не трудно, поверь мне... Я бы тебе все объяснил. Если бы тебе что-нибудь не понравилось, ты мог бы мне возражать».

Дюма-сын, несмотря на успех своего романа очень нуждавшийся в деньгах, в конце концов согласился, хотя и не слишком охотно, собрать и обработать для отца кое-какие исторические материалы.

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Посылаю тебе пятьсот франков. Постарайся закончить третий том к концу месяца. Это даст тебе две тысячи франков...»

Иногда Дюма-сын под натиском какой-нибудь красотики бедствовал за помощью к Ипполиту Остану, оборотистому молодому человеку, которого Дюма-отец сделал директором Исторического театра:

Мой дорогой Остан! Бедней церковной мыши
Покорный ваш слуга. Увы, с трудом он дышит:
Ему фиакр не по карману, а Дюлом
Сам без гроша сидит. (Так утверждает он.)
Порше, как я узнал, в таком же положении
И денег мне не даст... Так вот об одолженьи
Хочу вас попросить: могли бы вы сейчас
Мне триста франков дать? Не разгору я вас,
А мне окажете услугу вы... Засим
Жду с нетерпением ответа.

Дюма-сын

Но и этот жалкий источник вскоре иссякнет.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Разорение Монте-Кристо

Дырявая корзина, говорите вы?

Это правда, но не я проделал в ней дыры.
Александр Дюма

Первый сезон в Историческом театре был очень удачным: сборы дали 707 905 франков. Второй открылся триумфом Дюма — Маке — «Шлеяль де Мезон-Руж», драмой, в которой трогательная любовная история разворачивается на фоне великих событий революции. Пьеса кончается последним пришествием жироидистов и песней «Умереть за родину»... 7 февраля 1848 года

Исторический театр ввел смелое новшество: драма «Монте-Кристо» должна была идти два вечера кряду. Первая часть, кончавшаяся побегом Эдмона Дантеса, длилась с шести часов вечера до полуночи.

«Все сошлось, — писал Готье, — с твердым намерением вернуться завтра. Ночь и следующий день казались всего-навсего досадно затнувшимися антрактом. На втором вечере зрители уже здоровались, знакомились, вступали в разговоры... Каждый старался устроиться поудобнее, расположиться с комфортом — словом, чувствовал себя жильцом, а не зрителем... Когда занавес упал в последний раз, из груди всех присутствующих единодушно вырвался вздох сожаления: «Как, уже? Расстаться так скоро, пробив вместе всего два дня? Неужели великий Александр Дюма и неумолимый Маке так мало верят в нас?.. Да мы бы отдали им всю неделю...»

Но 24 февраля разразилась революция 48-го года. Восстания гибельны для театров, и залы опустели. Только Рашель удавалось еще делать аншлаги в Комеди Франсез, декламируя Марсельезу в антракте между четвертым и пятым актом трагедии Корнеля или Расина. Читала она превосходно, голос ее звучал гордо и непреклонно. Однако, несмотря на всю свою преданность республике, Дюма предпочел бы немного меньше гимнов и больше зрителей. И хотя он ни сколько не жалел о Луи Филиппе, который всегда относился к нему плохо, в молодых принцах он терял ценных покровителей. Вполне вероятно, что он, как и Виктор Гюго, приветствовал бы регентство герцогини Орлеанской. Но поскольку на это не было никакой надежды, он решил стать на сторону нового режима и выдвинуть свою кандидатуру в депутаты.

«Революционная буря вместе с коронованным старцем унесла и скорбную мать, и хилого ребенка. Франция в эти дни бедствовал, — писал Дюма, — обращается к своим лучшим сыновьям... Мне кажется, я имею право быть в числе тех достойных мужей, которых она призвала на помощь...» Это означало, что он, как Ламартин и Гюго, был намерен заняться политикой.

Осталось только выбрать департамент, чтобы выставить свою кандидатуру. У Гюго не было никаких сомнений на этот счет: башни собора Парижской Богоматери образуют «Н» — инициал его фамилии — и Нуго; Париж принадлежит ему, парижане относятся к нему серьезно. Но парижане никогда бы не выбрали Дюма: они считали его большим шутиком и не принимали всерьез. Может быть, попытаться счастья в департаменте Эн, где он родился? Он боялся, что там его считают большим республиканцем, чем сама республика. В департаменте Сены и Уазы, где у него собственности — замок «Монте-Кристо» — и где он командует батальоном национальной гвардии в Сен-Жермен-ан-Лаз? Увы, в те три дня, когда решалась судьба революции 48-го года, он предложил повести своих людей на Париж, и они не простили его «легкомыслия, с которым он готов был рисковать их жизнью». Эти защитники нации, конечно, хотели защищать нацию, но только на своей территории, и они потребовали отставки своего не в меру воинственного командира.

Молодой человек, которому Дюма оказал кое-какие услуги, убедил его, что его очень любят в департаменте Ионн и что он непременно пройдет на выборах. Дюма и сам был уверен, что в департаменте Ионн он так же популярен, как и в любом другом департаменте Франции, и что ни один кандидат не устоит против него. Но он забыл, что французская провинция всегда отдаст предпочтение землякам. «Кто он такой, этот Дюма? — спрашивали ионнцы. — Он из здешних? У него есть виноградики? Или, может, он виноторговец? Нет?..» — «Так, значит, это тот политикан, да к тому же друг герцогов Орлеанских, сторонник регентства?» —

говорили одни. — «Аристократиска, маркиз!» — подхватывали другие. Дюма только что основал газету «Ле Муа» (под скромным девизом «Господь диктует, и я пишу»), там он выступил с требованием водворить статую герцога Орлеанского на ее прежнее место в Луврском дворце. Избиратели упрекали его за верность герцогу. Дюма ответил им великолепной речью. Он говорил о дружбе и призрачности, напомнил о том горе, которое причинила трагическая гибель юного принца, заставил плакать одну половину зала, аплодировать другую и — провалился на выборах.

Однако в Париже он все же посадил перед Историческим театром дерево свободы, сказав директору: «Остан, сохраним любовь народа. Принцы исчезнут, а великий французский народ останется». Когда на одном из избирательных митингов в департаменте Ионн какой-то рабочий грубо прервал Дюма криками: «Эй ты, маркиз, эй ты, негр!» — он ответил ему так, как ответил бы генерал Дюма или Портос. Он схватил крикуна за штаны и поднял над паркетом: «Проси прощения, не то я кину тебя в воду!» Крикун принес извинения. Дюма сказал: «Ладно. Я только хотел тебе доказать, что руки, написавшие за двадцать лет четырех романов и тридцать пять драм, — это руки рабоче-го...» Одно время он носился с мыслью выставить свою кандидатуру на Антильских островах: «Я пошлю им прядь волос, и они увидят, что я свой». Но и от этого намерения ему тоже пришлось отказаться, и так как он не имел возможности творить историю, он снова стал сочинять истории.

Но сколько б драм и романов он ни писал, никаких гонораров не хватало, чтобы остановить надвигающуюся лавину его долгов. Исторический театр делал ничтожные сборы. Пьеса Бальзака «Мачеха» (25 мая 1848 года) с треском провалилась. Несмотря на возобновление «Нельской башни», театр стоял на пороге банкротства. С первых же недель совместной работы Дюма наугад своей расточительностью Остан, с которым, по отзыву Марселены Деборд-Вальмор, «лadies было далеко не так легко, как с нашим поэтом, этим большим ребенком, которого мы все так любим». А бедный большой ребенок обещал все и всем. Он раздавал анжремоты направо и налево: «Актеры стеклись к нему, но всех приводела в ужас неустойчивость его положения и та чудовищная роскошь, в которой он жил. Говорили, что он сможет свести концы с концами, только если будет беречь каждый грош, как Божак, и поручит за этим следить господину Остану...» Но даже Остан вскоре отказался быть «здравым смыслом Дюма». В декабре 1849 года он подал в отставку. Его преемники преуспевали в этом не больше, чем он. Ненасытный Исторический театр пожимал одну пьесу за другой и почти не давал денег. Дюма со всех сторон осаждали кредиторы. На «Монте-Кристо» был наложен арест, и сумма залога, отягачивающая недвижимость, поднялась до 232 469 тысяч франков.

Ида Ферье, или, вернее, маркиза Дави де ля Пайетри, как она величала себя в Италии, привилегированная кредитора, которой Дюма задолжал сто двадцать тысяч франков ее приданого плюс проценты на них, плюс назначенное ей содержание, боролась за то, чтобы взыскать свой долг, но при этом оставалась в тени. С августа 1847 года она поручила вести свои дела адвокату, мэтру Лакану, но написала ему, что не решается начать тяжбу с Дюма.

Неаполь, 1 августа 1847 года.

«Что может сделать женщина, одинокая и бедная, чья единственная сила в истине, к которой она вынуждена взывать издали, что может она сделать против коварных измышлений и искусной лжи человека, словом которого придает такой вес известность его таланта? Мы можем сколько угодно осуждать его частную жизнь, но, как писатель, он обла-

дает обаянием, которому трудно противиться. Этот ум, столь неустойчивый в поэтических и изабавных выдумках, так же неутомимый в борьбе с теми, кого он ненавидит. Господин Дюма не остановится перед самой черной ложью, если с ее помощью можно раздвинуть меня и обелить себя. И как бы ни была права, я вынуждена буду отступить, или в лучшем случае его вероломство и ложь нанесут мне такой урон, что я не захочу продолжать этой борьбы. Именно на это он всегда рассчитывал, именно потому он надеялся удержать меня от обращения к правосудию... Он знает, насколько я боюсь скандалов и какие жертвы я принесла, чтобы сохранить положение в свете, которого он всеми силами пытался меня лишить. Мы по-разному смотрим на вещи: он считает, что скандалы лишь увеличивают популярность его книг, и поэтому ищет их так же усердно, как я пытаюсь их избежать. Я настоятельно прошу Вас, сударь, сообщить мне, какие неприятные последствия такого рода может повлечь за собой моя просьба об алиманте. Мне и моим близким было бы очень тяжело выносить нищету, но не менее ужасно было бы видеть, как меня обливают грязью, а я из-за своего отсутствия даже не имею возможности защищаться. Вот уже несколько лет, как я живу среди избранного общества этой страны и должна строго соблюдать приличия, а Вы сами, сударь, знаете, сколько чувствителен к подобным вещам свет, законы которого Дюма решается нарушать тем более дерзко, что сам он к нему не принадлежит...»

В лагере сторонников маркизы Иды была ее падчерица Мари, очень привязанная к мачехе и осуждавшая отца за расточительность, и, разумеется, ее собственная мать, вдова Ферран, которой Дюма в свое время обещал пенсию и ни разу ее не выплатил. И мамаша и Мари мечтали съехаться с Идой и жить с ней в Неаполе или во Флоренции, где ее содержали «друзья».

Ида Дюма — мэтру Лакану:

«Мои друзья во Флоренции, так же как и я, считают, что мне невозможно долгие оставаться в городе, где у меня нет никаких средств к существованию и где мое положение в свете, в котором я вращалась столько лет, обязывает меня соблюдать внешние приличия, слишком для меня разорительные. Они были так добры, что пошли на дальнейшие жертвы и устроили мне заем под гарантию, благодаря чему я смогла переехать в Неаполь, куда меня уже давно призвала забота о моем здоровье. Здесь мне на помощь пришли другие люди, иначе я не смогла бы даже дожидаться решения по тому иску, который мы подадим сейчас, — решения, которого я жду, чтобы вернуться во Флоренцию и выписать к себе мать и падчерицу.

Я надеюсь, сударь, суд учтет, что я должна содержать еще двух человек и что алименты, о которых я хлопочу, нужны не только мне. Восемнадцать тысяч франков на жену, тещу и дочь — не так уж много, особенно если сравнить эту сумму с теми гонорарами, которые получает господин Дюма, гонорарами, которые, как он неоднократно признавался, в частности во время процесса против одной из газет, называя ее я не помню (это было зимой 1845 года), превышают двести тысяч франков в год! Впрочем, его заработки известны буквально всем...»

Мари Дюма согласилась подтвердить эти факты и выступить свидетельницей против отца. Она назвала Иду «дорогой и нежно любимой маменькой» и жаловалась на то, что ей, девице шестнадцати лет, приходится быть свидетельницей разгрома, царящего в «Монте-Кристо».

Мари Дюма — мачехе, Париж, 28 августа 1847 года:

«К тому же, дорогая и милая маменька, моя жизнь здесь стала совершенно невыносимой. Прибавьте к этому печаль, которую я непрестанно испытываю от разлуки с той, кого

люблю больше всего на свете. Немалое горе также причиняют мне и требования отца — он хочет заставить меня жить с ним. Ах, моя дорогая, и это в его положении!.. Я никак не могу на это согласиться, меня до глубины души оскорбляет, что он не постыдился вынудить меня подать руку дурной женщине. Он не краснел, принуждая меня находиться в обществе женщины, которую — имей он отцовские чувства — он должен был бы изгнать из «Монте-Кристо» в тот же день, как я туда приехала, женщины, имени которой не следовало бы даже упоминать в моем присутствии!.. Я клянусь тобой, которая мне дороже всего на свете, что только силой меня смогу заставить быть в подобном обществе..»

Ида вполне искренне хотела взять на себя воспитание Мари.

Ида Дюма — мэтру Лакану, Флоренция, 2 февраля 1848 года:

«Я еще раз прошу Вас добиться того, чтобы мне вернули мою падежицу. Я прекрасно понимаю, что директриса ее пансиона по корыстным соображениям изо всех сил будет препятствовать этому. Она имела беседу по этому поводу с господином Ножаном де Сен-Лоран. Я умоляю Вас, сударь, рассказать ему о подлинном положении девушки, к которой я отношусь как к дочери. Всем известно, что дела ее отца настолько плохи, что он никогда не сможет дать ей ни одного су. То немногое, на что она может надеяться, она получит от меня. Молодой девушке придется безвыездно оставаться в Париже, где она ни на один день не сможет покинуть пансион, так как у нее нет ни матери, ни семьи, ни хоть сколько-нибудь подходящего для нее окружения и, что всего важнее, никакого будущего. Возвратившись ко мне, она освободит отца от тяжелой обязанности платить за ее обучение, что для него отнюдь не последнее соображение. Я позабочусь о том, чтобы она могла завершить свое образование... Мари будет вращаться здесь в обществе гораздо более высokoпоставленного, чем то, которое она могла видеть в Париже. Если думать о ее устройстве в жизни, надо сказать, что во Флоренции ей в этом смысле будет гораздо лучше, чем в другом месте. Удерживая силой это несчастное дитя в Париже, они не только разбивают ее сердце, но и губят ее будущее...»

Мэтру Лакану в конце концов удалось выплопотать небольшую пенсию для вдовы Ферран, но Ида утверждала, что господин Дюма дает обязательство лишь в тех случаях, когда имеется возможность от них уильнуть. Единственной гарантией для трех женщин был «Монте-Кристо». Маркиза де ля Пайетри была уверена, что рано или поздно Дюма каким-либо ловким маневром ухитрится передать дом подставному лицу. Она не ошиблась. И все же справедливости ради следует добавить, что Дюма не мог жалеть женщину, которая, как он знал, находится на содержании у богатого итальянца, и, помимо всего прочего, скрывание наличности представлялось ему вполне похвальным делом, так как всякого кредитора он считал своим врагом. Разве Портос платил когда-нибудь долги?

10 февраля 1848 года суд департамента Сены объявил о разделе имущества супругов в пользу супруги и приговорил Дюма, во-первых, возвратить жене расстраченное им приданое в сто двадцать тысяч франков; во-вторых, платить алименты (в размере шести тысяч в год), обеспеченные недвижимым имуществом. Потерпев поражение в первой инстанции, Дюма обжаловал решение суда. Революция, разорив его, усугубила и его семейные неурядицы. «Монте-Кристо» и вся обстановка войны должны были пойти с молотка, но Дюма предпринял меры к тому, чтобы продажа была фиктивной.

Александр Дюма — Огюсту Маке:

«Мне необходима Ваша помощь в той мере, в какой Вы сможете мне ее оказать. Чтобы урегулировать дела с госпожой Дюма, я вынужден продать обстановку моего дома, но собираюсь выкупить все, что смогу. Можете ли Вы выручить Ваши тысячи франков в «Ле Селье» и занесть еще тысячу у Вашего отца или у Копла и купить на две тысячи франков те предметы, которые я Вам укажу? Затем, поскольку все эти вещи следует увезти из «Монте-Кристо», Вы переправите их в Буживаль¹, откуда я их заберу... Сегодня я буду целый день дома. Приходите. Я хочу видеть Вас еще до вечера...»

«Замок» «Монте-Кристо» был продан по приказу суда за смехотворно малую сумму в 30 100 франков Жаку-Антуану Дуайену, который, несомненно, был подставным лицом Дюма, потому что он так никогда и не вступил во владение домом. 28 июля 1848 года судебная палата (суд второй инстанции) подтвердила решение гражданского суда. Ида одерживала одну победу в суде за другой, но денег у нее не прибавлялось.

Ида Дюма — мэтру Лакану, Флоренция, 9 сентября 1848 года:

«Все наши усилия могут оказаться бесполезными и ни к чему не приведут благодаря уверткам господина Дюма, с помощью которых он обходит закон. Но что бы ни произошло и каковы бы ни были результаты процесса, моя благодарность Вам остается неизменной... Если бы не Ваша энергичная помощь, если бы не доброта и преданность моих друзей во Флоренции, я не нашла бы в себе сил дождаться исхода моего дела. Моя мать говорит, что пройдет еще немало времени, прежде чем станет ясно, сможем ли мы получить что-нибудь от продажи «Монте-Кристо». Она не в состоянии добиться даже выплаты пенсии и живет на одолженные деньги, ожидая, пока решится моя судьба.

Моя падчерица живет, увы, с отцом, и то роковое влияние на эту столь юную голову и сердце, которого я так опасалась, уже дало себя знать. Я предвижу, что все усилится, которые я прилагала, чтобы спасти ее от этой ужасной участи, обречены на провал. Но, как я Вам уже говорила, сударь, я не перестаю уповать на Вас и на божественный промысел... Моя мать (а она немного разбирается в этих вещах) пыталась мне объяснить, как обстоят наши дела. Она говорит о «необходимой отсрочке в три года», после которой мы сможем вчинить новый иск против этого господина Дуайена. Но на каком основании? Вот этого я совсем не понимаю... Я очень опасаясь, как бы оттождествление [sic!] имущества господина Дюма не разрушило ту последнюю надежду, которая у нас еще осталась. Да будь мы тысячу раз правы в глазах закона, если господин Дюма не будет владеть никаким осязаемым имуществом, мы никогда не сдвинемся с мертвой точки...»

Дюма, который и впрямь не обладал более никаким осязаемым имуществом, обладал даром проматывать неосозаемое. Кредиторы понапрасну преследовали его. Сапожник, которому он был должен заставить пятьдесят франков, приехал в Сен-Жермен, надеясь заставить Дюма заплатить по счету. Обедневший владелец «замка» принял его крайне любезно:

— Ах, это ты, мой друг, как хорошо, что ты приехал: мне нужны лакированные башмаки и сапоги для охоты.

— Господин Дюма, я приехал вами небольшой счетец.

— Конечно, конечно... Мы займемся им после обеда... Но сначала ты должен у меня отобедать...

¹ Дюма — стрелок, Маке — муравей. Дам расточитель. Дюма продавал с молотка, а Маке приобрел себе выху в Буживале. Он умер бокачи в своем собственном залке в Сен-Меме, неподалеку от Дурлана.

После обильной трапезы оробевший спаложник снова предъявил счет.

— Сейчас не время говорить о делах... Пищеварение прежде всего... Я прикажу заложить карету, чтобы тебя отвезли на вокзал... Держи, вот двадцать франков на билет.

Эта сцена, как будто взятая из комедии Мольера, повторялась каждую неделю. В конце концов спаложник перебрал у Дюма около шестисот франков и не меньше тридцати раз обедал за его счет. Потом приходил садовник Мишель.

— Должен вам сообщить, сударь, что у нас вышло все вино для прислуги; необходимо сделать новые запасы, в погребе остались только иоганнесбергер и шампанское.

— У меня нет денег. Пусть для разнообразия пьют шампанское.

Вскоре судебные исполнители перешли в наступление. Из «замка» увезли мебель, картины, кареты, книги и даже зверей! Один из исполнителей оставил такую записку: «Получен один гриф. Оценен в пятнадцать франков». Это был знаменитый Югурта-Диоген.

Но вот настал день, когда Дюма пришлось наконец покинуть свой «замок»; на прощание он протянул приятелю тарелочку, на которой лежали две сливы. Приятель взял одну из них и съел.

— Ты только что съел сто тысяч франков, — сказал Дюма.

— Сто тысяч франков?

— Ну конечно, эти две сливы — все, что у меня осталось от «Монте-Кристо»... А ведь он обошелся мне в двести тысяч франков...

Бальзак — Еве Ганской:

«Я прочел в газетах, что в воскресенье все движимое имущество «Монте-Кристо» пойдет с торгов; сам дом продан или будет продан в ближайшем будущем. Эта новость повергла меня в ужас, и я решил работать дено и ношно, чтобы избежать подобной участи. Впрочем, во всех случаях я не допускаю такого: лучше уеду в Соединенные Штаты и буду довольствоваться сельскими радостями, как господин Бокарме».

Одна из прекрасных черт характера Дюма заключалась в том, что даже в крайней бедности он оставался для всех, за исключением своей супруги и кредиторов, самым щедрым из людей. Он, как мог, поддерживал великих актеров романтического театра, которые приближались к печальной старости. Мадемуазель Жорж, чья толщина приобрела угрожающие размеры, играла в Батиньоле¹ и была так бедна, что у нее часто не хватало двадцати пяти су на фикар. Божак, став директором Одеона, с головой ушел в интриги и административные дела. Только Фредерик Леметр не сдался и, подобно Кину, шокировал публику, обращаясь к ней с подростком:

— Граждане, сейчас, как никогда, время провозгласить: «Да здравствует республика!»

— Говори свой текст, филляр! — обрывал его Миуссе.

Леметр играл в пьесе Огюста Вагнера «Tragaldabas»¹ — последней романтической драме чистых кровей. Увы, «рапсодия часто оборачивается пародией». Трех десятилетий, за которые драма проделала путь от «Христины» и «Эрнани» до «Tragaldabas», было достаточно, чтобы забыть жанр. Еще не оправившись после смерти своего горячо любимого внука Жоржа, бедная Мари Дорваль была вынуждена снова зарабатывать себе на хлеб тяжким ремеслом бродачей актрисы. Но в Канне она слезла, не в силах продолжать дальнейшую борьбу. У нее нашли болезнь печени. Когда умирающая Мари привезли домой, она послала за Жюлем Сандо, своим бывшим возлюбленным (остепеневшийся Сандо струсил и отказался прийти) и за своим «славным псом» Дюма, который тут же примчался. «Та, которая

в «Антони» столько раз шептала: «Но я погибла, погибла», — чувствовала, что обречена. Родственники ее были слишком бедны, чтобы купить место на кладбище, и она очень боялась, что ее тело бросят в общую могилу. Дюма поклялся, что не допустит такого позора... Он достанет деньги.

Когда Дорваль умерла, Дюма отправился к графу Фаллу, министру народного просвещения, и обратился к нему за помощью: фонда, предназначенного для вспомоществования драматическим артистам, не существовало, и он дал сто франков от своего имени. Однако Дюма во что бы то ни стало хотел сдержать обещание, данное умирающей, и, «так как его душевная доброта могла сравниться только с его беснечностью в денежных делах, он кинулся в ломбард, заложил свои награды и добыл таким образом двести франков на похороны». Жертва истинне героическая, потому что добродушный великан обожал свои усыпанные драгоценными камнями кресты и ордена. Затем он написал брошюру «Последний год Мари Дорваль», которую продавали «по пятьдесят сантимов, с тем чтобы собрать деньги на надгробие», и открыл подписку, чтобы выкупить из заклада драгоценности актрисы и передать их ее внукам. «Артистическая подписка» дала 190 франков 50 сантимов, 20 франков добавил от себя Понсар.

Несчастья не умерели предприимчивости Дюма. И он вместе с Арсеном Уссэ, тогдашним директором Комеди Франсез, затеял любопытный эксперимент. Он решил, что до сих пор никто еще не писал комедии о закулисных нравах времени Мольера, и взялся за эту тему. Инженно, разучивающие роли, маркизы, дающие им советы, кокетки, флиртующие под прикрытием вееров, ламповщик, отпускающий шутки, — из всего этого можно было сделать очаровательный спектакль и сыграть его 15 января — на мольеровские торжества. Дюма предложил сочинить «Три антракта к «Любови-целительнице» и побился об заклад, что напишет их за одну ночь.

Он выиграл пари, и «Антракты» оказались более длинны, чем сама комедия. К сожалению, он никак намного хуже ее и настолько запутанны, что публика в них ничего не поняла. Услышав слово «антракт», публика решила: «Пора прогуляться в фойе». Поэтому после первого акта настоящей «Любови-целительнице» все зрители покинули зал, говоря друг другу: «Недурную комедию написал Дюма, но он явно подражает Мольеру...» Когда поднялся занавес и начался первый акт «Антрактов» Дюма, все, за исключением нескольких самых сообразительных, решило, что это продолжение предыдущей пьесы. Однако между обоими актами не было никакой связи: уж не превратилась ли Комеди Франсез в вавилонскую башню? Некоторое время публика недоумевала, чья же это пьеса — Дюма или Мольера. Принц-президент, присутствовавший на спектакле, послал за администратором. Луи Наполеон Бонапарт понял не больше, чем простые смертные. Лишь актеры и критики знали, в чем дело, и немало потешались; но и они возмущались Дюма: «Посягнуть на Мольера! Какая профанация! Какое святотатство!» Зрители овсвелили второй акт «Любови-целительнице», как будто Мольер был начинающим автором. Они считали, что осмивают Дюма.

Мадам Арсен Уссэ дала обед, чтобы «вознаградить за все неприятности этого славного Александра Дюма, которого я люблю всем сердцем. Он так старался и был так остроумен... Мадемуазель Рашель была на обеде». Это происходило накануне возобновления «Мадемуазель де Бель-Иль» с участием Рашели. Неистовая Гермиона¹ хотела доказать, что под оболочкой трагической актрисы в ней живет женщина. Она превзошла свои самые дерзкие надежды.

«По окончании пьесы Дюма заключил мадемуазель Рашель в объятия, поднял ее, поцеловал и сказал:

¹ «Обжора» (исп.). (Примеч. пер.)

— Вы женщина всех веков, вам по плечу любые шедевры. Вы смогли бы играть всех моих героинь как в драмах, так и в комедиях.

— Нет, не все, — возразила, смеясь, Рашель. — Мне бы вовсе не хотелось, чтобы меня убил Антони.

— Но Антони никогда не стал бы вас убивать!

— Однако какое самоубийство! — сказала Рашель. — Антони — это вы, значит, вы думаете, я не устояла бы перед Антони?

— Никогда, — сказал Дюма, — если бы сейчас бы эти 1831 год... Но эти прекрасные дни миновали...»

Прекрасные дни и в самом деле миновали. Старый певец Бержане морализировал: «Мой сын Дюма так же расстачал свой талант, как некоторые женщины — свою красоту, и я очень опасался, как бы господину Дюма, подобно этим легкомысленным созданным, не пришлось кончить свои дни в нищете». Бержане, скрывавший свою натуру под личиной смирения и сердечности, был опасным другом, не упускавшим случая позлословить о своих близких. Он очень легко сносил чужие несчастья.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Дама с жемчугами

В мужчинах, известных своими победами, есть нечто волнующее и привлекающее женщин.

Бальзак

В 1850 году Дюма-отец, за которым гнался по пятам свора кредиторов, жил довольно скромно. Он продолжал издавать газету «Le Муа», в которой нападал на крайности демагогов и на гонения со стороны правительства. Он представил на рассмотрение правительства грандиозный проект объединения под его руководством трех «пришедших в упадок театров»: Порт-Сен-Мартэн, Амбигю и Исторического театра. Дюма хотел, чтоб его назначили суперинтендантом всех драматических театров: у этих театров будут общие декорации, одна труппа и одна администрация, что, по его мнению, должно было дать большую экономию. Он обязывался следить за тем, чтобы «все театры придерживались одного направления во всем, что касается истории, морали и религии, целиком соответствующего пожеланиям правительства». Однако эта программа коллективного конформизма не осуществилась.

Дюма-сын развлекся с отцом. Они любили друг друга, часто сорились и быстро мирились. Сын осуждал отца за то, что он берет себе в любовницы все более и более молодых женщин. Последней фавориткой Дюма была двадцатилетняя актриса Изабелла Констан, хрупкая, бледная и белокожая девица — приемная дочь парикмахера, чью фамилию она взяла своим сценическим псевдонимом. С незабвенных времен Мелани Вальдер Дюма ни разу не впадал в такую сентиментальность.

Дюма-отец — Изабелле Констан:

«Любовь моя... Ты заставляешь меня вновь переживать самые сладостные дни моей юности. И пусть тебя не удивляет, что мое перо так помолодело — ведь моему сердцу сейчас двадцать пять лет. Я люблю тебя, мой ангел. За свою жизнь человек, увы, переживает лишь две настоящие любви: первую, которая умирает своей смертью, и вторую, от которой он умирает. К несчастью, я люблю тебя последней любовью... Ты ревнуешь меня, мое дорогое дитя [sic!], — человека, который в три раза старше тебя. Посуди сама, как тогда

должен ревновать я, по целым дням не видая тебя. Вот, например, вчера я чуть было не сошел с ума, не мог работать и бесцельно ходил из угла в угол... Нет, мой драгоценный ангел, так я не могу любить — я не могу обладать тобой лишь наполювну. Я не говорю о физическом обладании, в моем чувстве к тебе сочетается страсть любовника и привязанность отца. Но именно поэтому я не могу обойтись без тебя... Еще раз повторяю тебе, задумайся над этим, потому что сейчас решается наше будущее, задумайся, если ты хоть немного хочешь связать свою судьбу со мной. Мне необходимо быть рядом с тобой, чтобы принадлежать тебе, даже если ты не можешь принадлежать мне.

Есть и еще одна вещь, которую ты, мой ангел, в своей чистоте и целомудрии не можешь понять: в Париже сотни красивых молодых женщин, которые ради своей карьеры ждут не того, чтобы я пришел к ним, а чтобы я позволил прийти ко мне. Итак, мой ангел, я отдаю себя в твои руки. Охраняй меня. Прости над мной твои белые крылья. Огради меня своим присутствием от тех ошибок, которые я могу совершить и неоднократно совершал в минуты безумия или отчаяния и которые отравляют жизнь человека на долгие годы.

Если ты не можешь уступить моим мольбам из любви, склонись на них хотя бы из честности. Ты любишь свое искусство, люби его сильнее меня, это единственный соперник, с которым я готов мириться. И никогда еще честностью ни одной королевы не было удовлетворено так полно, как будет твоё. Ни одна женщина — даже мадемуазель де Марс — не имела таких ролей, какие я дам тебе в ближайшем три года...»

Влияние старости (о приближении которой свидетельствовала лишь седоющая шевелюра), странное сочетание отцовской нежности с любовным пылом, хрупкое здоровье молодой девушки объясняют этот удивительный стиль письма. «Жеронт при новой Изабелле», Дюма с удовольствием играл в семейную жизнь, приходил к ней стряпать обеды, водил ее как супругу в гости к друзьям, что, впрочем, отнюдь не мешало ему иметь в то же самое время еще десяток интрижек с молодыми дамами, более пылкими и доступными.

Сын метил гораздо выше. Успех «Дамы с камелиями» способствовал его престижу. Его светло-голубые глаза производили неотразимое впечатление на женщин. В те времена любой художник казался светским женщинам невероятно привлекательным и вместе с тем демонически страшным. Иногда они пытались привязать художника к себе, ничего ему не позволяя, как, например, поступила маркиза де Кастри с Бальзаком. Дюма-сын, тогда еще молодой годами и сердцем, смотрел на «знатных дам» с наивным восхищением. Его по-прежнему печалила и волновала судьба Мари Дюплесси.

«Заблудшие создания, которых я так хорошо знал, которые одним продавали наслаждение, а другим дарили его и которые готовили себе лишь верное бесчестье, неизбежный позор и маловероятное богатство, в глубине души вызвали у меня желание плакать, а не смеяться, и я начал задаваться вопросом, почему возможны подобные вещи».

Как-то после обеда у одной особы легкого поведения граф Ги де Лур дю Пэн сказал ему:

— Дружеское расположение к вам и мой возраст — я лет на пятнадцать старше вас — позволяют мне дать вам один совет... Мы только что отобедали у этой прелестной и остроумной девицы. У нее бывают самые разные люди, вы можете изучать тут нравы. Изучайте, но, когда вам исполнится двадцать пять лет, постарайтесь, чтобы вас больше не встречали в этом доме...

В 1849 году ему исполнилось двадцать пять лет, и он решил последовать этому совету. Возлюбленной его в ту пору была дама по фамилии Давэн (или Дальвэн), особа с

весьма неблагоприятным прошлым, однако он вращался в обществе если не в более нравственном, то, во всяком случае, более блестящем.

Русская аристократия представляла тогда в Париже нечто вроде неофициального посольства красавиц. Молодые женщины — Мария Калергис, ее родственница графиня Лидия Нессельроде, их подруга княгиня Надежда Нарышкина — собирали в своих салонах государственных деятелей, писателей и артистов. В России царь, мудрая, семьи обязывали их соблюдать определенную осторожность. В Париже они вели себя, словно сорвались с цепи.

В 1850 году в доме Марии Калергис Дюма познакомился с Лидией Закревской, которая уже три года была замужем за графом Дмитрием Нессельроде. Эта очаровательная женщина, очень остроумная, очень богатая, не любила своего мужа, который был на семнадцать лет старше ее. Отец Дмитрия — канцлер граф Карл Нессельроде, министр иностранных дел, благодаря уму и ловкости сумел продвигаться на своем посту при трех российских императорах. В январе 1847 года Дмитрия отозвали из Константинополя, где он служил секретарем посольства, чтобы женить его на юной наследнице с приданым в триста тысяч рублей, отец которой, граф Закревский, был генерал-губернатором Москвы и пользовался всеобщим уважением. Большой дипломат и многоопытный человек, Дмитрий считал, что ему легко удастся подчинить себе девочку-жену, которую два мужественных семейства бросили в его постель.

Но брак этот оказался весьма неудачным со всех точек зрения. Молодая графиня начала ездить на воды, лечить слабые нервы. Ее видели в Бадене, в Эмсе, в Спа, в Брайтоне и, наконец, в Париже, который стал для нее самым действенным и в то же время самым опасным из всех лекарств. Муж не смог увезти ее из этого города соблазнами и был вынужден отбыть в Россию один. Мария Калергис давно рассталась со своим мужем-греком и отдала дочь на воспитание в католический монастырь, благодаря чему могла, не нарушая приличий, поселиться в доме № 8 по улице Анжу. Она обещала Дмитрию неуспешно следить за Лидией. Вместе с Надеждой Нарышкиной они образовали ослепительное трио славянских красавиц. Лидия то и дело ездила из Парижа в Берлин, Дрезден, Санкт-Петербург, но тут же возвращалась обратно. Графиню Нессельроде тревожила семейная жизнь ее сына.

17 июня 1847 года:

«Дмитрий писал мне из Берлина всего один раз, — он, как всегда, не балует меня письмами. С тех пор я от него ничего не получала. Он очень меня беспокоит. Сможет ли он вести себя с достаточным тактом во время этого длительного пребывания вдвоем?.. Ведь их взгляды и понятия несхожи. Ему выпала нелегкая задача, а он полагал, что все будет очень просто. Он не ушел, сколько понадобится терпения, чтобы удерживать в равновесии эту хорошенькую, но сумасбродную головку. Если он не будет смягчать свои отказы, если устанет доказывать и убеждать, это приведет к охлаждению, чего я весьма опасаясь. Повторяю, их отношения очень беспокоят меня. Я пишу ему об этом, но это все равно что бросать слова на ветер.»

Прозорливостью, столь естественной у сверкови, не были оделены и золовки Лидии, но они относились к ней еще более враждебно. Елена Хрептович и Мария фон Зеебах, урожденная Нессельроде, ненавидели Марию Калергис и обвиняли ее (не без оснований) в том, что она играет по отношению к канцлеру, которого она называла не иначе как «обожаемым дяденькой», ту же роль, что герцогиня Дино, другая заблудшая племянница, играла при престарелом Талейране. Мария Калергис, эта «снежная фея»,

слишком живо интересовалась поэтами и пианистами; кузины ее относились к ней подозрительно и предостерегали Дмитрия против ее пагубного влияния.

В феврале 1850 года Лидия, к великой радости могущественных семейств, родила сына Анатolia, которого звали Толли. Но Франция обладала недоимодимой притягательной силой для прелестной и сумасбродной графини, и она вновь уехала в Париж. Она оказалась чудовищной мотовкой. Лишь на цветы для одного бала, данного ею в ее парижском особняке, она потратила восемьдесят тысяч франков. Она шила только у Пальмиры, каждое платье обходилось ей в полторы тысячи франков, и, отправляясь к портнихе, она заказывала всякий раз не меньше дюжины. Она приобрела превосходные жемчуга длиной в семь метров. К красному платью она носила убрaнство из рубинов (диадему, ожерелье, браслеты, серьги), к туалету из голубого бархата — убрaнство из сапфиров. Это, конечно, приводило к несметным долгам.

Сначала Лидия Нессельроде взбрело в голову в голову познакомиться с автором «Дамы с камелиями», потом стать его любовницей. Дюма-сын, не столько завоеватель, сколь завоеванный, потерял голову. Да и кто был устоял?

Двадцатилетняя красавица, невестка премьер-министра России, беспощадная кокетка, женщина тонкая и образованная, кидается на шею бедному начинающему писателю. Моги Александр сомневается, что встретил истинную любовь?

Дюма-отец рассказывает о своих «Беседах» о том, как сын привел его «в один из тех эфемерных парижских особняков, которые сдают вместе с мебелью иностранцам», и представил молодой женщине, «в пеньюаре из вышитого муслина, в чулках розового шелка и казанских домашних туфлях». Ее распущенные роскошные черные волосы ниспадали до колен. Она «раскинулась на кушетке, крытой бледно-желтым дамаском. По ее гибким движениям было ясно, что ее стан не стаял корсетом... Ее шею обвивали три ряда жемчугов. Жемчуга мерцали на запыляемых и в волосах...»

— Знаешь, как я ее называю? — спросил Александр.

— Нет. Как?

— Дама с жемчугами.

Графиня попросила сына прочитать отцу стихи, которые он написал для нее накануне.

— Я не люблю читать стихи в присутствии отца, я стесняюсь.

— Ваш отец пьет чай и не будет на вас смотреть.

Александр начал слегка дрожащим голосом:

Мы ехали вчера в карете и сжимали
В объятиях пламенных друг друга: словно мгла
Нас разлучит могла. Печальны были дали.
Но вчерашняя весна, весна любви цела.

Затем в поэме описывалась прогулка в парке Сен-Клу, молодая женщина, придерживающая шелковое платье, длинные алли, мраморные Богини, лебеди, мия и дата, начертанные на пьедестале одной из статуи:

Раскроются цветы — и в сад приду я снова,
Я в летний сад приду взглянуть на пьедестал:
Начертано на нем магическое слово —
То имя нежное, чьим пленником я стал.
Скиталица моя, где будете тогда вы?

Покинете меня? Вновь разлучимся мы?
О, неужели вы хотите для забавы
Среди лета погрузить меня в кошмар зимы?
Зима — не только снег, не только мрак и стужа,

Зима — когда в душе свет радости погас,
И в сердце песни нет, и мысль бесцельно кружит,
Зима — когда со мной не будет рядом вас.

Дюма, снисходительный отец, заключил: «Я покинул этих прелестных и беспечных детей в два часа ночи, моля бога влюбленных позаботиться о них». Надо сказать, что бог влюбленных плохо заботился о своих подопечных. Вьель-Кастель 29 марта 1851 года записал в своем дневнике следующую сплетню, которую, как он говорил, передают под большим секретом: три знатные иностранки, среди них Мария Калергис и графиня Нессельроде, будто бы «основали общество по разврату на паях» и вербовали для этой цели «героев-любовников из числа самых бесстыдных литераторов. Нессельроде взяла себе в наставники Дюма-сына, Калергис поступила под опеку Альфреда де Моссе. Дюма-сын обрел в Нессельроде самую послушную ученицу. Но приказ из Петербурга, призывающий графиню вернуться на родину, положил этому конец...»

Вьель-Кастель охотно раздувал слухи о скандалах, но требование мужа и приказание царя действительно имели место. В марте 1851 года Дмитрий Нессельроде «похитил» свою жену и увез ее из Парижа, чтобы положить конец ее безрассудствам. И все же marito не хотел повторить, что однажды свершилось. Он защищал Лидию, «это неопытное и очаровательное дитя», от клеветы «Один наглый французско осмелился компрометировать ее своими ухаживаниями, но его призвали к порядку».

В лагере Дюма эту историю представляли, естественно, в ином свете. Дюма-отец рассказывает, как мартовским утром сын пришел к нему и спросил:

— У тебя есть деньги?

— Должно быть триста или четыреста франков; открой ящик и сам посмотри.

Молодой Александр открыл шкаф.

— Триста двадцать франков... С тем, что есть у меня, это составит шестьсот франков. Этого с лихвой хватит на отъезд. Ты не можешь дать мне заемное письмо в Германию?

— Если хочешь, тысячу франков на Брюссель, на Мелина и Кана. Они мои друзья и не оставят тебя в нужде.

— Хорошо. Да и потом, если понадобится, ты перелешь мне деньги в Германию. Я тебе напишу оттуда, как только прибуду на место.

— Итак, ты едешь...

— Я расскажу тебе все по возвращении.

Александр Дюма пробыл в отъезде почти год. Он проехал через всю Бельгию и Германию, следя по пятам за своей избранницей. Из Брюсселя он написал своей приятельнице Элизе Ботте, которая была родом из Корси (местечко неподалеку от Вилле-Коттре) и именovala себя Элизой де Корси. Тайная полиция перехватила письмо.

Александр Дюма — Элизе Ботте де Корси, 21 марта 1851 года:

«Дорогой друг, мы прибыли в Брюссель. Бог знает куда она полвечет меня теперь. Сегодня вечером я три или четыре раза видел ее, она казалась бледной и печальной, глаза у нее были заплаканные. Вы огорчились бы, увидев ее. Словом, я влюблен — и этим все сказано!..»

После Бельгии погоня привела его в Германию. Из Дрездена и из Бреслау он вновь и вновь обращался к отцу и наперснику с просьбами о деньгах; отец, сочувствовавший любой авантуре, посылал ему все, что мог:

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Мой дорогой друг, Вьейо обращался ко всем, кого ты указывал, но никто не захотел дать ни одного су. Так что рассчитывай только на меня, но рассчитывай твердо. Ты правильно сделал, что остался. Раз дело зашло так далеко, надо довести его до конца. Берегись русской полиции, которая дьявольски жестока и может, несмотря на покровительство наших прекрасных полек, а может быть, и благодаря ему, живо домчать тебя до границы... Вчера я отправил двадцать франков твоей матери. Будь осторожен. Я посылаю тебе все, что могу; через две недели вышло пятьсот франков, которые ты пресел. Обнимаю тебя... Ты вырос на сто голов в глазах Изабеллы.»

От станции к станции, от гостиницы к гостинице гнался Дюма за четой Нессельроде, но, прибыв на границу с русской Польшей, в Мысловице, обнаружил, что граница для него «Закрята, да еще на засов». Тамуженники получили инструкцию не пропускать Александра Дюма в Россию. Отец и сын Нессельроде отдали приказ отказываться в проезде «наглому французшишке». Дюма-сын в мае 1851 года провел две недели на деревенском постоялом дворе, за пятьсот лье от своей родины. Единственным развлечением его было чтение в подлиннике писем Жорж Санд к Фредерику Шопену.

Дюма-сын — Дюма-отцу:

«В то время, дорогой отец, как ты обедал с мадам Санд, я тоже занимался ею... Представь себе, что у меня здесь оказалась в руках вся ее десятилетия переписка с Шопеном. К несчастью, эти письма мне дали только на время. Вы спросите, откуда здесь, в Мысловице, в глуши Силезии, переписка, родившаяся в центре Берри? Объясняется это очень просто: Шопен, как тебе известно, а может быть, и неизвестно, был поляк. Его сестра после смерти нашла в его бумагах эти письма, бережно хранившиеся в конвертах с отметкой о дне получения, что свидетельствует о самой почтительной и беззаветной любви. Она взяла их себе, но перед тем, как ехать в Польшу, где полиция бесцеремонно прочла бы все, что она везет с собой, оставила их у друзей, живущих в Мысловице. И все же профанация свершилась, так как и я приобщился к тайне... Нет ничего более грустного и более трогательного, чем эти письма с выцветшими чернилами, которых касался и которые с такой радостью получал человек, ныне мертвый!.. На какой-то миг я даже пожелал смерти хранителю писем, между прочим, моему приятелю, чтобы стать обладателем этого сокровища и иметь возможность преподнести его госпоже Санд, которая, возможно, будет рада снова пережить эти давно ушедшие дни. Но презренный (мой приятель), увы, пользуется завидным здоровьем, и, полагаю, что уеду отсюда 15-го, я верну ему переписку, которую у него не удалось даже любопытства прочесть. Чтобы тебе стало понятно подобное безразличие, следует сообщить, что он младший компаньон в одной экспортной фирме».

Дюма-сын — Жорж Санд, Мысловице, 3 июня 1851 года:
«Сударыня, я все еще нахожусь в Силезии и счастлив этим: ибо смогу быть хоть в какой-то мере полезным Вам. Через несколько дней я буду во Франции и привезу Вам лично, разрешит ли мне госпожа Едржеевич или нет, те письма, которые Вы хотите получить. Бываю поступки столь неспориимо справедливые, что на них не должно и спрашивать ничего разрешения. Счастливым результатом всех этих недельных поступков будет то, что Вы получите Ваши письма. Но поверьте мне, сударыня, что в этом не было профанации: сердце, которое из такого далека, презрев скромность, стало поверенным Вашего сердца, уже давно принадлежит Вам, и восхищение, которое я к Вам питаю, по силе и давности ничем не уступает чувствам, порожденным самыми старыми привязанностями. Постарайтесь поверить мне и простить...»*

¹ Муж (итал.). (Примеч. пер.)

Так Жорж Санд получила свои любовные письма к Шопену и сожгла их. Так завязалась дружба Дюма-сына с владетельницей Ноана, которая началась с переписки и продолжалась всю жизнь.

Однажды в июне в кабинет Дюма-отца вошел бородастый молодой человек и сказал:

— Как, ты меня не узнаешь?.. Я так скучал в Мысловице, что решил для развлечения отпустить усы и бороду. Здравствуй, папа!

30 декабря он совершил паломничество в парк Сен-Клу и, вернувшись оттуда, протнул отцу лист бумаги:

— Держи! Вот продолжение стихов, которые я читал тебе год назад.

Дюма-отец прочел:

Год миновал с тех пор, как в ясный день с тобою
гуляли мы в лесу и были там одни.
Увы! Предвидел я, что решено судьбою
нам болью отплатить за радостные дни.
Расцветает летнего любовь не увидала:
едва зажегся луч, согрешив нам сердца,
как разлучили нас. Печально и устало
мы будем врозь идти, быть может, до конца.

В далекой стороне, весну встречая снова,
лишен я был друзей, надежды, красота,
и устремляя я взор на горизонт суровый,
и ждал, что ты придешь, как обещала ты.

Но уходили дни дорогами глухими.
Ни слова от тебя. Ни звука. Все мертво.
Закрылся горизонт, чтоб дорогое имя
не смело донестись до слуха моего.

Один бумажный лист — не так уж это много.
Две-три строки на нем — не очень тяжкий труд.
Не можешь написать? Так выйди на дорогу:
идет она в поля, и там цветы растут.

Один цветок сорвать нетрудно. И в конверте
отправить лепестки нетрудно. А тому,
кто жил в изгнании, такой привет, поверьте,
покажется лучом, вдруг озарившим тьму.

Уж целый год прошел, и время возвратило
тот месяц и число, что ровно год назад
встречали вместе мы, и ты мне говорила
об истинной любви, которой нет преград.

Александр хотел написать свое «Горе Олимпио». Он не обладал талантом Виктора Гюго, но чувство его было сильным и искренним. В его любви к прекрасной иностранке сочетались страсть и гордыня: в двадцать пять лет такая любовь может захватить человека целиком. Можно понять, как он был поражен и обеспокоен тем, что Лидия не подаст никаких признаков жизни: ну, пусть прислала хотя бы записку без подписи, несколько засушенных лепестков или жемчужину!

Каким бы опытным и развращенным он ни казался, в глубине души он был сентиментален и не представлял, сколько холодного цинизма может таиться в двадцатилетней кокетке. Пока он предавался отчаянию в Польше, в семье Нессельроде происходили странные события. Дмитрию, раненному в руку при таинственных обстоятельствах (дуэль? попытка к самоубийству?), грозила ампута-

ция, которой он чудом избежал. Лидия бросила мужа и уехала в Москву, гденисходительные родители укрыли взбалмошную и бессердечную беглянку.

Канцлер Нессельроде — своей дочери Елене Хрептович, 1 июня 1851 года:

«Дмитрия лечили четыре лучших хирурга города, трое из них настаивал на ампутации, четвертый был против, и благодаря ему твой брат сохранил руку... Он был готов к худшему и попросил отсрочку на 48 часов, чтобы причаститься и написать заветание... Он вел себя необычайно мужественно... В разгар этих ужасных испытаний здесь появились Лидия и ее мать, чем я был пренеприятно удивлен: они прибыли сюда, как только прослышали о несчастном случае, разыграли драму и пытались достигнуть примирения. Но все их старания были напрасны, и они отбыли, так и не увидав старого брата... Но я не считал возможным отказать им в удовольствии видеть ребенка и посылал его к ним каждый день...»

Канцлер, «фатальный, наделенный неистощимой терпимостью», ни словом не обмолвился о скандале. Он терпеть не мог семейных сцен. Да и потом, государственному деятелю, находящемуся у кормила власти, не пристало ссориться с несметно богатым губернатором Москвы, тем более что его собственный внук являлся наследником этого губернатора. И он посоветовал сыну достигнуть соглашения, но не идти на примирение, потому что прекрасная Лидия только и делала, что меняла возлюбленных: за Воронцовым последовал Барятинский, за Барятинским — Рыбкин, за ним Друцкой-Соколинский. Дюма-сын никогда больше ее не видел. Узнав, что Лидия порвала с мужем и путешествует по Саксонии, он посылал в Дрезден, потратив на это много денег, Элизу де Корси, но все было напрасно.

Дюма-сын — Элиза де Корси, Брюссель, 12 декабря 1851 года:

«Дорогая Элиза, пишу Вам из Брюсселя, где живу вместе с отцом.

Он проиграл процесс, и ему придется, возможно, выложить из своего кармана двести тысяч франков, так что, пока это дело не уладится, ему лучше находиться подальше от Парижа... Я только что отвалил письмо графине. Я сообщал ей, что нахожусь в Бельгии... Напоминаю о Вашем обещании писать мне правду, всю правду... Красный воск — для Ваших, воск другого цвета — для ее писем».

26 декабря 1851 года:

«Постарайтесь увидеть графиню, это самое главное...»

Но связаться с графиней оказалось невозможно. Для нее роман с ним был давно забытым приключением. Дюма, наверное, долго и горестно размышлял об испорченности и лживости этого юного существа, которое когда-то казалось ему столь нежным. Эта встреча имела влияние на всю его жизнь. Вся жизнь ему будут нравиться жестокие кокетки и никогда — искренне любящие женщины, на чувств которых он мог бы положиться. На всю жизнь он сохранил отвращение к адольтеру и его последствиям. И лишь в 1852 году другая славянская красавица, княгиня Надежда Нарышкина, наперсница и соучастница Лидии Нессельроде, на словах передает ему весть о разрыве. Как вестница заняла место той, которая ее послала, мы узнаем в свое время.

Связь с Мари Дюплесси смягчила сердце Дюма-сына; связь с Лидией Нессельроде иссушила его. Неосторожное слово — и ребенок взрослеет, обманута любовь — и человек ожесточается.

ОТЕЦ И СЫН

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Блестящий изгнанник

Той старой набережной я не позабыл,
Теснее круг друзей, но не иссяк их пыл

Виктор Гюго,
Александру Дюма

Тысяча восемьсот пятьдесят первый год принес Дюма-отцу, да и Дюма-сыну, много огорчений. Служители правосудия ополчились на добродушного великана. Обычная жизнерадостность ему изменила. Государственный переворот подосел очень кстати; он дал Дюма возможность ускользнуть от кредиторов и от суда, не уронив своего достоинства. Он эмигрировал в Бельгию, подобно Виктору Гюго; однако, как говорили тогда, Гюго бежал от произвола и притеснений тирана, Дюма же — от поветок и предписаний судебных исполнителей. Суждение слишком поверхностное. Хотя покинуть Париж Дюма вынуждали прежде всего личные интересы, отношения его с новым властителем оставляли желать лучшего. Поначалу, когда принц Бонапарт стал президентом, Дюма, как Виктор Гюго, как Жорж Санд, возлагали известные надежды на бывшего карбонария. Позднее он решительно осудил государственный переворот. В Брюсселе он до конца оставался самоотверженным другом изгнанников. Не принадлежа к их числу, он мог, когда ему заблагорассудится, наезжать из Брюсселя в Париж, где он оставил свою новую юную подопечную — Изабеллу Констан, по прозвищу Зирзабулю. Но всякий раз он оставался во Франции ненадолго, чтобы кредиторы не успели его настичь.

5 января 1852 года обстановка квартиры, которую Дюма занимал в Париже (и которую тщетно пытался перевести на имя своей дочери Мари, тогда еще несовершеннолетней), была продана по «иску владельца, в возмещение задержанной квартирной платы». Выручка от аукциона превысила сумму долга всего на 1870 франков 75 сантимов. Это был в то время весь наличный капитал семейства Дюма.

20 января 1852 года «Александр Дюма, писатель, которому постановлением апелляционного суда города Парижа от 11 декабря 1851 года присвоено звание коммерсанта», представил *in absentia*¹ через своего поверенного господина Шерами список долгов. Он был объявлен несостоятельным должником.

Документы, относящиеся к этой драме в духе Бальзака, по сей день хранятся в архиве округа Сены. В списке долгов не значатся ни кредиторы Исторического театра, ни издатель-заимодавцы. Многие старые долги помечены так лишь «для памяти», без указания суммы, как например, «долг, взимаемый госпожой Крельсамер, улица Клиши, 42-бис»². Хотя банкротство Исторического театра — лица юридического — и несостоятельность Александра Дюма — лица физического — были зарегистрированы порознь, объявленный пассив достигал 107 215 франков, а рубрика, обозначенная словами «Общий актив, помеченный здесь для памяти», так и осталась

пустой. временный посредник не смог проставить в ней ни единой цифры. Этот посредник просит гражданский суд «считать недееспособной якобы произведенную Александром Дюма в 1847 году продажу с правом обратного выкупа его сочинений и авторских прав». Посредник рассматривает этот акт как скрытую форму залога и добавляет: «Поскольку не были соблюдены формальности, предусмотренные законом для такого рода сделок, залог нельзя считать действительным. Следовательно, гонорары, на которые предъявляют претензии преемники г-на Александра Дюма, должны входить в имущество должника». Эксперт отмечает, что эти гонорары составляют «значительные элементы актива, ибо общеизвестно, что г-н Александр Дюма — автор большого числа пьес; кроме того, он заключил множество договоров с книгоиздателями и газетами на публикацию его литературных произведений...» Это было неоспоримо.

Процедура так называемого «предъявления долговых обязательств», начатая 12 июня 1852 года, была закончена лишь 18 апреля 1853 года актом о «принятии долговых обязательств». Нет ничего удивительного в том, что тщательная проверка долговых документов длилась десять месяцев, ибо «физическому лицу» по имени Дюма вчинили иск пятьдесят три кредитора. Список этих Эриний позволяет понять, куда утекли гонорары за «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо»:

Адз, красильщик; Газовое управление; Бако, цветочник; Буссэн, столяр; Буррелье, стекольщик; Беше, мастер по укладке изразцов; Бондилье, скульптор; Брюно, жестянщик; Байони, плотник; госпожа Шазель, торговка кашемировыми шальями; Шаррон, кровельщик; Куаппе, угольник; Катели, медник; Клоар, обойщик в Париже; Дюме, виноторговец; Делольн, сапожник; Дюбьеф, торговец модными товарами; Дютайи, торговец скобяным товаром; Дагоннэ, продавец семян; Девисле, оружейный мастер; Деми-Дуано, владелец фабрики ковров; Дюфлок, поставщик дров; Денье, портной; Фенью и Леруа, часовщики; Гандилью, дорожные товары; Жильбер, поставщик дров; Гуэз, шорник; госпожа Гиришер, бакалейщица; Гобетта, печник; Эртье, торговец обоями; Амон, булочник; Лоран, разносчик с рынка; Лемассон и Шевэ, съестные припасы; Лоран, портной; Левефор, виноторговец; Леви, белошвейная мастерская; Лион, цветочник; Марле, ювелир; Мишель, сапожник; Муанзар, каретник; Марион и Бургиньон, ювелиры; Мареско, обойщик в Париже; Пуассо, садовник; Потаж-Иворэ, мяслоторговец; Пети, маляр; Пьер и Водо, шитье ливрей; Плантэ, антрепренер; Руссо, слесарь; Санрефю, обойщик в Сен-Жермен; Сук, прачечная; Той, торговец фарфоровыми изделиями; Труйль, слесарь; мадемуазель Вероника, портниха; Вассаль, обойщик в Париже; госпожа Вайан, торговка цветами, и т. д. и т. п.

Французские изгнанники в Брюсселе — Гюго, Этцель, Дешанель, полковник Шарра, Араго, Шелькер — образовали в начале 1852 года группу востонно настроенных людей, гордившихся своими лишениями и mistrствами. Гюго, которому жена недавно прислала триста тысяч франков во французских процентных бумагах, спал на убогой койке и столовался в харчевне. Дюма, у которого не было ни процентных бумаг, ни капитала, нанял два дома на бульваре Ватерлоо, № 73, велел пробить разделяющую их

¹ Зачно (латин.). (Примеч. пер.)

² Эта госпожа Крельсамер — мать Мари Дюма.

стену, снести внутренние перегородки и создал необыкновенно красивый особняк с аркой и балконом. Пушистые ковры покрывали ступени лестницы; ванная комната была облицована мрамором; на темно-синем потолке большой гостиной горели золотые звезды, а занавеси были шиты из кашемировых шалей. Все в кредит. «В Брюсселе, — говорил Шарль Гюго, — Дюма пока что удерживается в колеснице Фортуны, которая его так часто выбрасывала».

Он взял в секретари стойкого республиканца, изгнанного из Франции, — Нозля Парфэ. «Ни одного человека еще не называли так удачно: имя, данное при крещении, означает веселье, фамилия — благонадеян»¹. Этот славный малый с жидкой бородкой, всегда одетый в черное, но оттого вовсе не казавшийся мрачным, приехал в Брюссель с женой и двумя детьми. Дюма предложил гостеприимство всему семейству. В благодарность Парфэ принял на себя заботу о его делах и с утра до ночи переписывал романы, мемуары, комедии, которые их автор производил на свет куда быстрее, чем успевали воспроизводить переписчики-профессионалы.

Одиннадцать опусов, то есть тридцать два тома, в четырех экземплярах — для Брюсселя, Германии, Англии и Америки. Никто на свете, кроме Дюма, не мог бы столько написать; никто, кроме Парфэ, — переписать. Экономия времени, Дюма никогда не ставил знаков препинания. Парфэ расставлял запятыя и проверял даты. Кроме того, он играл роль министра финансов и силится в доме расточителя свести концы с концами. Нозля Парфэ требовал своевременной выплаты авторских гонораров, добился возобновления на сцене «Нельской башни», опубликовал все, что осталось от «Путевых впечатлений», и сберег последние луидоры за «Монте-Кристо» С преданной скупостью защищал он деньги Дюма от самого Дюма. Монте-Кристо искал у себя в ящике деньги, но никогда не находил их. Дела его пошли несколько лучше. Однако он чувствовал себя под контролем, а значит — стесненно. Он воскипал со своей добродушной, сердечной улыбкой: «Удивительное дело! С тех пор как в моем доме поселился безупречно честный человек, я чувствую себя как нельзя хуже!»

Несмотря на такого сурового управителя (и благодаря ему), Дюма жил в Брюсселе на широкую ногу. Многие изгнанники — среди них Виктор Гюго — у него обеды. Он охотно принимал бы их как гостей, но они, дабы не уронить своего достоинства, предложили ему ту же плату, что в харчевне, — 1 франк 15 сантимов. Дело решил Парфэ: 1 франк 50 сантимов. Однако еда была чересчур обильной, и чрезмерное хлебосольство принесло дефицит в сорок тысяч франков. Дюма устраивал у себя празднества в духе Монте-Кристо; одному из них он сам дал название: «Сон из Тысячи и одной ночи». Сешан, декоратор театра Ла Монна, соорудил сцену. В зимнем саду был устроен роскошный буфет. Пьетро Камера поставил испанские танцы. После спектакля Дюма раздал гостям индийские кашемировые шали, которые служили занавесом. Гюго не пришел (уважающий себя изгнанник не мог плясать на карнавале у Дюма), но в его честь был провозглашен тост.

Весь этот тарарам не мешал радушному хозяину с утра до ночи работать за столом из некрашеного дерева на верхнем этаже особняка. Любовные приключения — бесчисленные и одновременные — закружили его в водовороте интриг. Если к этому прибавить, что, неизменно отважный и готовый к услугам, он предоставил себя в распоряжение сво-

их политических друзей, что он взял на себя труд отвозить письма Виктора Гюго к его жене, оставшейся в Париже, и доставлять ему ответы Адели, то нельзя не восхищаться тем, что этот загнанный, переуготмленный человек вынашивал более обширные творческие планы, чем когда бы то ни было. Чтобы удовлетворить его аппетит под стать Фаргантю, понадобился бы история целой планеты. Вот какое удивительное письмо написал он издателю Маршану:

«Что сказали бы Вы о грандиозном романе, который начинается с Рождества Христова и кончается гибелью последнего человека на земле, распадаясь на пять отдельных романов: один разгравивается при Пероне, другой при Карле Великом, третий при Карле IX, четвертый при Наполеоне и пятый в будущем?.. Главные герои таковы: Вечный Жид, Иисус Христос, Клеопатра, Парки, Прометей, Нерон, Поппей, Нарцисс, Октавиан, Карл Великий, Роланд, Видухинд, Велледа, папа Григорий VII, король Карл IX, Екатерина Медичи, кардинал Лотарингский, Наполеон, Мария-Луиза, Талейран, Мессия и Ангел Чаши.

Это покажется Вам безумным, но спросите Александра, который знает эту вещь от начала до конца, каково его мнение о ней...»

Неизвестно, каково было мнение сына, но отец был уверен в себе. Разве не мечтал он с ранних лет написать полную историю Средиземноморья? И почему эти сверхчеловеческие планы должны вызывать улыбку? Другой гигант, Балзак, тоже любил носиться с титаническими замыслами. «Я мерял будущее, заполняя его своими сочинениями, — говорил Балзак и прибавлял: — Оседлав свою мысль, я скакал по свету, и все было мне подвластно». Дюма даже в зрелые годы сохранил этот божественный огонь. Разница состоит в том, что у Балзака не было потребности превращать свои мечты в действительность. Он грезит о любовницах, но в глубине души счастлив, когда они, подобно Эвелине Ганской, его «Полярной звезде», остаются на другом конце Европы. Дюма хочет, чтобы они были рядом с ним, во плоти. Балзак мечтает о грандиозных спекуляциях; Дюма спекулирует, строит, обольщает. Отсюда — нагромождение обязательств. Поистине приходится выбирать что-нибудь одно. Нельзя жить сразу в двух мирах — действительном и воображаемом. Кто хочет и того и другого, терпит фиаско.

Во время пребывания в Брюсселе Портоус еще выдерживает, не гибаясь, огромную тяжесть, которая обрушилась на него. Кредиторы загнали его в глубь пещеры, глыба долгов вот-вот сломает ему хребет; женщины грозными виснут у него на шее. Выполнить обязательства, которые он принял на себя по отношению к издателю, не под силу не то что одному — десяти, ста человекам, а у этого неустрашимого великана есть только одно желание: затевать все новые и новые дела. Он готовит «Мемуары», пишет пьесы для театра, задумывает основать газету, покоряет новых женщин, не оставляя прежних. Дюма брюссельского периода словно говорит: «Я обременен долгами, связан договорами, и вот — я творю». Есть что-то благородное и подкупающее в силе этой уверенности, в облик этого стареющего человека, сохранявшего иллюзии и безрассудство молодости. Монте-Кристо уже давно бы сдался, а его двойник Дюма ушел в партизаны. Он продолжал героически сражаться.

Он взял с собой в Бельгию свою дочь Мари (двадцати одного года), намереваясь сделать ее поверенной в своих любовных связях, бесчисленных и одновременных. Когда он инкогнито наезжал в Париж, то в промежутке между двумя поездками писал дочери в Брюссель, возлагая на нее странные поручения:

Дюма-отец — Мари Дюма:

¹ Слово «нозля» (noël) означает по-французски праздник Рождества; возгласом «нозля» в старину французы приветствовали всякое радостное событие; слово «парфэ» (parfait) означает — безупречно. (Примеч. пер.)

«Я возвращаюсь с г-жой Гиди. Если портрет Изабеллы снова в моей комнате, прикажи его убрать».

Правда, он говорил ей и другое: «Я люблю тебя больше всего на свете, больше самой любви». Но девушка очень плохо относилась к отцовским фавориткам и, притворяясь нелюбой, ухитрилась вызвать целые сражения между дамами. Это было нетрудно. Анне Бауэр Мари говорила, что отец у госпожи Гиди, госпоже Гиди — что в Париже, в отеле Лувуа, Дюма один; на самом деле там жила с ним больная Изабелла Констан. Нередко Мари Дюма совершала ошибки умышленно. Отсюда вспышки ярости у отца, столь же бурные, сколь мимолетные. Впрочем, примирение наступало очень быстро. Дюма-отец — своей дочери Мари:

«Дорогая моя, любимая! С первого дня, что я здесь, я был сиделкой и работником; обе эти обязанности я выполнял так добросовестно, что не находил времени написать тебе, не желая делать это второпях и кратко.

Я уехал от тебя, родная, в немного расстроенных чувствах... Несколько дней кряду у меня не клеилась работа, и я не представлял себе, где раздобыть денег. Но все обернулось к лучшему; и я даже надеюсь, что смогу завтра выслать вам тысячу франков и столько же привезти с собой, не сказав никому ни слова об этом. Из тех денег, что я пошлю тебе завтра, надо немного отдать столяру и слесарю (столяру — чтобы иметь право заказать ему шкаф для маленькой зеркальной гостиной; слесарю — чтобы взять у него железную кровать такой ширины, как матрац, который находится в сарае)...

Я надеюсь возвратиться в ночь с субботы на воскресенье. Наши дела идут чудесно. С г-жой Дюма и г-жой Ферран покончено. Теперь мы можем рассчитывать на соглашение. У нас будут деньги, может быть, много денег, и тогда мое дорогое дитя в первую очередь получит все, что только пожелает. Тебе привезут мое пальто — не удивляйся! Дело в том, что сегодня вечером я сделал вид, будто уезжаю, и Изабелла (она не выходит) послала мне вдогонку пальто, которое я забыл у нее. Его передали одному человеку, который отправлялся в тот вечер, и человек этот (он тщательно искал меня по всем вагонам) вручит тебе сей предмет...»

В Париже связи налаживал Дюма-сын, возвратившийся из собственного «сентиментального путешествия».

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Изабелла благодарит тебя миллион раз; она говорит, что ты был с нею очень мил. Она мне действительно необходима — иногда. Я не хочу здесь ничем обзаводиться... Завтра я выезжаю в дом. Он обставлен — и не единого су долга. Все квитанции на твоё имя. Равно как и договор...»

Когда отец наезжал в Париж, они обедали у принца Наполеона (который слегка фрондировал против своего кузена-императора) в обществе Рашели, Биксио и Мориса Сандеа. Однажды вечером они отправились все вместе в Онеон смотреть пьесу их марсельского друга Мери «Дон Гусман Отважный». Спектакль успеха не имел, и в антракте Александр спросил: «Мы дождемся похорон?» — что привело в восторг Александра Первого, который всегда гордился остроумия своего мальчишка.

Он писал Мари: «Александр — голодранец, всегда без гроша в кармане», но был счастлив, что может воспользоваться помощью сына — этого надежного и ловкого друга, чтобы избавиться от прежней фаворитки Беатрисы Пьерсон и освободить место для Изабеллы.

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«М-ль Пьерсон не будет играть в «Асканио»... Само собой разумеется, что я не хочу давать ролей людям, которые довели меня до банкротства... Изабелла будет играть Коломб — эта роль словно создана для нее. Если ее не хо-

тят ангажировать на год, пусть ангажируют на одну роль; мне это больше по душе. Пятнадцать франков в день ей не повредят. Прошу тебя ничего не менять в условиях, а также уговорить Мериса, чтобы он поставил на афише только свое имя. Пусть получит мою долю гонорара вместе со своей и отдаст деньги прямо тебе, без расписки...»

Отказываясь подписать пьесу и получая гонорар тайком из рук своего соавтора Поля Мериса, Дюма избегал необходимости делиться с кредиторами. Все имеет свои границы, даже честность.

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Дорогой мой мальчик, Изабелла с каждым днем все больше восхищается тобою. При сем прилагаю письмо для г-жи Порше. Можно поручить ей продать билеты на «Асканио» при условии, что все деньги сверх тысячи двухсот франков, которые она должна послать мне, будут перечислены на наш счет. Я видел г-жу Прадье. Посылаю тебе окончание «Светиса». Условлено, что Антенор передаст тебе пятьсот франков. Что касается остальной тысячи, то: 200 франков — Мари, 300 франков — Шерами, 300 франков — г-же Гиди и две сотни оставшихся по возможности мне...»

14 марта 1852 года:

«Дорогой мой, раз уж мы перешли на язык цифр, считай: Комната — 6 франков.
Алексис — 4 франка.
Лампы и уголь — 3 франка.
Завтрак — 3 франка.
Услуги — 1 франк.
Письма — 2 франка.

— 19 франков в день (sic!).

Считай, все 20 франков с непредвиденными расходами. Ты уехал 9 января. Значит, 9 марта было два месяца... Двадцать франков в день составят шестьсот франков в месяц, то есть тысячу двести франков за два месяца. Привавь сюда расходы на две поездки г-жи Гиди (гостиница), две поездки Шерами и две поездки Изабеллы, и ты получишь ровным счетом тысячу семьсот франков. Но теперь особняк уже готов, и я не должен за него ни единого су...»

«Асканио», сыгранный 1 апреля 1852 года в театре Порт-Сен-Мартен, в ходе репетиций был переименован и превратился в «Бенвенуто Челлини». Это была драма, написанная Дюма и Риссом по роману, который Дюма издал в 1843 году. Главную роль играла Изабелла Констан; она служила моделью для статуи Гебы, над которой Меллинг — исполнителем роли Бенвенуто Челлини — почти весь вечер трудился на сцене. Этой актрисе, официальной возлюбленной своего отца, Дюма-сын всячески предлагал более чем скромные субсидии.

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Прежде всего прилагаю при сем письма к Морни. За тем: дал ли ты и можешь ли дать сто франков Изабелле? Она ждет не дожидается этих несчастных ста франков! Сразу же, как получишь это письмо, постарайся передать Изабелле сто франков. Потрудишься отправить мне вазы, скульптурную группу и две картины... Изабелла должна приехать ко мне сюда. Навести ее в утро отъезда, помоги ей — она неопытна в путешествиях... Если она поведет во вторник, как я надеюсь, ты сможешь проследить, чтобы вазы были отправлены в ее багаже. Сделай надпись: «Обращаться с осторожностью: стекло».

Как на сей раз встретит незваную гостью Мари Дюма, ненавидящая Изабеллу Констан? Неисправный донжуан подумывал об этом не без тревоги. В своем особняке на бульваре Ватерлоу он написал письмо дочери, спавшей в том же доме этажом выше, и ночью подслунал под дверь ее комнаты.

Дюма-отец — своей дочери Мари:

«Моя любимая детка, я так боюсь огорчить тебя, что решил письменно сообщить тебе то, чего не посмел сказать: несмотря на все мои старания помешать приезду Изабеллы, она все же завтра приезжает!

Что делать, дитя мое? Это печалит меня несколько дней, ибо я уже давно понял, что, как только ей станет немного лучше, она примчится сюда. Ни за что на свете я не хотел бы, чтобы ты на меня сердилась, как в последний ее приезд. Я так люблю тебя, мое дорогое дитя, что в выражении твоего лица черпаю все: и радость и печаль. Так наберись же мужества и не огорчай меня в течение трех-четырех дней, что она проведет здесь. Только вот как мы устроимся с завтраками и обедами?»

Если тебя не будет со мной за столом, как обычно, это меня глубоко опечалит. Нельзя ли нам есть в твоей мастерской, чтобы надежнее спрятать от возможных гостей?

Во всяком случае, на время трапез мы будем запереть двери... Наконец, если тебе это больше по душе, я воспользуюсь тем предлогом, что она больна, и велю подавать нам с ней в гостиную Александра.

Поступай как хочешь, только постарайся причинить мне как можно меньше огорчений. Я люблю тебя больше и сильнее, чем самого себя, но и это еще далеко не выражает того, что мне хотелось бы сказать».

Дюма-сыну приходилось выколачивать из редакций газет суммы, которые причитались его отцу, подталкивать театральных директоров и время от времени усыплять подозрения Изабеллы, которая ревновала к госпоже Гиди, к Анне Бауэр, к Берте, к Эмме, к госпоже Галатри, к актрисам, выступавшим в Брюсселе, и ко всем женщинам Брабанта. Иногда он восстанавливал против отцовских «комбинаций» или же против требований госпожи Гиди. «Послушай, дружок, — отвечал отец, — у меня было много любимых. Ты знал их всех. Со всеми ты поначалу был хорош. Со всеми ты в конце концов сорвался. У меня сохранилось письмо, где ты мне пишешь, что г-жа Гиди — очаровательная женщина!..»

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Изабелла собирается завтра прийти к тебе, и я намерен составить ей компанию. В каком часу? Этого я пока не знаю... Ни слова Изабелле о моей позавчерашней поездке. Предупреди своих друзей, чтобы они невзначай не обмолвились об этом...»

Мари Дюма, строптивая наперсница, была в курсе другой, более тщательно законспирированной связи. В 1850-1851 годах Дюма-отец признался ей, что молодая замужняя женщина, Анна Бауэр, ждет от него ребенка. Мари заняла в этом деле позицию, которая пришлась не по душе ее отцу.

Дюма-отец — своей дочери Мари:

«Дорогая Мари... В ответ на твое письмо я хочу поделиться с тобой кое-какими мыслями. Я совершенно не разделяю твоих взглядов на этот вопрос. Ты рассматриваешь его с точки зрения чувства. Я буду рассматривать его с точки зрения социальной и главным образом человеческой.

Каждый прежде всего сам отвечает за свои ошибки, даже за свои недуги, и не имеет никакого права заставлять других страдать из-за них. Если какой-то несчастливый случай или физический недостаток сделал того или иного мужчину бессильным, то он должен нести все последствия этого физического недостатка и мужественно встретить все события, могущие отсюда проистечь.

Если женщина повинна в ошибке, если она забыла о том, что почитала своим долгом, то ей самой надлежит искупить свою слабость проявлением силы, как искупает преступление раскаянием. Но женщина, совершившая

ошибку, равно как мужчина, страдающий слабостью, не вправе возлагать на третьего человека бремя своей личной вины или своего несчастья.

Я высказывал эти соображения еще до того, как был зачат ребенок. Они были взвешены и подтождены следующими словами: «Ради того, чтобы иметь ребенка, я найду в себе силы все сказать и все устроить к лучшему». Именно благодаря этой решимости и было зачато существо, которое пока еще не появилось на свет и которое наперед осуждается обществом.

Ничего не могло быть легче, чем не дать родиться ребенку, которого уже теперь, когда он существует, но еще не явился на свет, лишаю места в обществе. Дети, родившиеся от адюльтера, не могут быть узаконены ни отцом, ни матерью. Этот ребенок родится от двойного адюльтера.

Как же сложится его жизнь, когда у матери такое состояние здоровья — она и сама считает, что может вот-вот умереть, — а отец уже настолько стар, что, исправив себе еще пятнадцать лет жизни, делает, пожалуй, слишком высокий запрос?

В четырнадцать лет этот ребенок, скорее всего, очутится на улице без всяких средств, во враждебном мире.

Если это окажется девушка, к тому же красивая, у нее будет возможность получить номер в полиции и стать дешевой проституткой. Если это будет юноша, ему придется играть роль Антонио до тех пор, пока он, быть может, не станет Ласенером*.

В таком случае лучше уничтожить эту жизнь, но еще лучше было бы не создавать ее вовсе. Я был бы крайне огорчен, если бы под этим ханжески-сентиментальным предлогом было принято подобное решение. Оно опрокинуло бы все мои представления о справедливости и несправедливости. Оно лишило бы тебя значительной доли моего уважения, и я очень опасаясь, что вместе с уважением испарилась бы и вся моя любовь.

Муж — бессилён, тем хуже для него. Жена проявила слабость — тем хуже для нее. Но никто не посмеет сказать: «Тем хуже для того, кто обязан своим рождением этому бессилию и этой слабости». Каждый из нас шел в этом деле на известный риск. Г-жа Х. готова была развлекаться с мужем и так твердо на это решилась, что собиравшая прислать мне копию своего брачного контракта — правда, этого она не сделала. А мне грозил удар шпагой или пистолетный выстрел, и я по-прежнему готов принять любой вызов».

Дело не получило трагической развязки. Анри Бауэр родился в 1851 году. Ему суждено было всю жизнь носить имя мужа своей матери, но черты его лица и величущие характера поразительно и неоспоримо свидетельствовали об отцовстве Дюма.

Когда Дюма начал в Бельгии писать свои «Мемуары», он стал собирать документы. Все могло пригодиться, даже угасшая любовь.

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Дорогой! Если ты еще помнишь стихи, которые я посвятил в свое время малютке Вальдор, пришли их мне. Я вставлю их в свои «Мемуары». Если ты можешь раздобыть ее «Эпитафию», я хотел бы получить и ее...»

Читатель помнит, что романтически настроенная Мелани в момент разрыва сочинила свою собственную эпитафию, но все-таки не пожелала умереть. Вопль скорби стал достоянием литературы.

В короткие часы досуга Дюма по-прежнему встречался с изгнанниками. В доме бельгийца Коллара он виделся с Гюго, Дешанелем, Кинэ, Араго. Зачастую он сживал с ними на террасе кафе «Тысяча колонн». Прохожие узнавали Гюго,

Дюма и почтительно приветствовали их. Изгнанники колебались: ходить ли им в кафе «Орел», название которого напоминало об империи? Тогда Араго сказал: «Орел — эмблема всех великих людей». Гюго, с детства чтивший орлов, согласился с этим. Кафе «Орел» тоже стало местом встреч великих изгнанников.

Позднее эта маленькая группа распалась. В июле 1852 года Гюго уехал на острова Джерсей. В Антверпене Дюма-отец посадил его на пароход. Сам он тосковал по Парижу. «Что останется от нашего века? — спрашивал он. — Почти ничего. Лучшие люди — в изгнании. Тит Ливий — в Брюсселе, а Тацит — на Джерсее». Он торопился оформить соглашение с кредиторами, чтобы Тит Ливий мог вернуться взрослым с высоко поднятой головой. Дюма предложил кредиторам половину гонора за свои произведения, как настоящие, так и будущие. Бывший секретарь Исторического театра Гишлер, опытный и преданный Дюма бухгалтер, добился для него несколько более выгодных условий: 55 процентов ему, 45 процентов — кредиторам. Посредник писал в своем заключении: «Г-н Александр Дюма проявляет максимальную готовность и максимальные старания к выполнению своих обязательств». Это почти соответствовало действительности.

В начале 1853 года соглашение было подписано, и Дюма дал своим брюссельским друзьям превосходный прощальный обед. Так как дом на бульваре Ватерлоу был снят до 1855 года, Дюма предложил его Нозюлю Парфэ. Министр финансов потребовал счет; его монарх бросил все квитанции в кухонную печь. Должник Монте-Кристо не утратил чувства долга.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Новая редакция «Дамы с камелиями»

Вернувшись в Париж, Дюма застал своего сына в ореоле новоиспеченной славы. В 1851 году Александр все еще вливал жалкое существование. И не потому, что последние несколько лет он мало работал. Он издал томик стихов («Греки молодости»). «Это не плохие и не хорошие стихи — это юношеские стихи», — говорил он впоследствии. Нет, почти все стихи были явно плохими. Публика равнодушно встретила и другие его вещи: длинный рассказ, по замыслу — юмористический («Приключения четырех женщин и одного попугана»); исторический роман «Тристан Рыжий»; вычурную повесть «Учитель Мюстель». Успех имела только «Дама с камелиями». Но пришлось ждать до февраля 1852 года, пока пьеса, написанная автором по его собственному роману, удостоится постановки.

Читатель помнит, что Дюма-отец принял пьесу в Исторический театр. Директор его, Остан, возражал. «Это та же «Жизнь богемы» минус остроумие», — говорил он. В 1849 году Исторический театр прекратил свое существование. Юный Александр предлагал рукопись во все театры: в Геза, Амбюго, Водевиль, Жимназ. Всюду он потерпел фиаско. «Не сценично», — говорили столпы театра. «Аморально», — говорили столпы общества.

Он пытался увлечь достоинствами роли знаменитую актрису Виржини Дежазе — остроумную гриметку, обожаемую публикой. Однако Дежазе уже перевалило за пятьдесят, и она была полна здравого смысла. Она заявила, что роль превосходна, но она могла бы играть ее только в трех случаях: будь она на двадцать лет моложе, будь в пьесе куплеты и счастливая развязка. Она предсказала драме успех, однако для этого, по ее словам, требовались три условия: «чтобы произошла революция, которая уничтожит

цензуру; чтобы Фехтер играл роль Армана и чтобы я не играла роль Маргариты, в которой буду смешна».

Шарль Фехтер, молодой обаятельный актер, с лицом melancholicным и нежным, покориł Дежазе в один прекрасный вечер, когда играл капитана Феба де Шатопер в «Соборе Парижской Богоматери». Вплоть до падения занавеса он не отрываясь смотрел на стареющую актрису; она пришла и на следующий вечер; она ходила всю неделю. Вспыхнул роман. Фехтер совсем недавно женился; Дежазе была вдвое старше него. Но она была все еще привлекательна и в театре пользовалась неограниченной властью, а юного Фехтера снесло честолюбие.

Виржини Дежазе — Шарлю Фехтеру:

«Ты собрал в Дьеппе всего девяносто шесть франков! Но ведь это ужасно, хоть я и знаю, что Дьепп — скверный городишко. Тамшние женщины предпочитают театру гостиные... При всем том 96 франков — это ничтожно мало! Так зачем же нам разбазаривать вдвоем? Ты увеличиваешь тем самым свои расходы и лишавешь себя поэтического ореола. Публика не любит парочек... Надо быть одиноким, надо быть свободным, чтобы воздействовать на ее иссякшее романтическое воображение. Это ужасно, но это правда...»

Дежазе дала Дюма хороший совет — взять Фехтера на роль Армана Дювала. Но этого было мало — требовались еще и театр. В 1850 году Александр не удалось его найти, и, поскольку отец теперь не мог ему помогать, он чувствовал себя все более и более стесненным в деньгах. Он стал очень мрачен. Иногда он проводил вечера в «Балах Мабий». Под звуки шумливого оркестра молодые девушки танцевали с приказчиками. Он жожирал глазами эти двадцатилетние создания, «источавшие сладострастие из всех пор», и предавался горьким размышлениям. «Как сделать, чтобы они перестали быть такими, перестали волновать всех этих самцов? Какие страсти они возбуждают! Сколько крови льется по их следам!.. Какую гнусную заднюю мысль таила природа, создавая красоту, молодость и любовь?»

Дело кончилось тем, что он с грустью сунул свою рукопись в ящик. Однако 1 января 1850 года он вновь перечитал ее. Рано утром он отправился на могилу Мари Дюплесс. Будущее его тонуло в тумане, он растрачивал силы своего ума и своей души на посредственные произведения и начинания. Покоясь в могиле, несчастная девушка приняла его исповедь. Вернувшись домой, он закрыл жалюзи, зажгел свечи и снова взялся за пьесу. Позже, когда к нему зашел его приятель Миро, он прочел ему «Даму с камелиями». Оба плакали. Пьеса удалась. Но кто сумеет разглядеть ее достоинство и кто осмелится похвалить?

Немного времени спустя, весной 1850 года, проходя по Итальянскому бульвару, мимо кафе «Кардинал», Дюма заметил за одним из столиков актера Ипполита Вормса и толстяка Буффе, Лулулла богемы, одного из тех театралных директоров, которые никого не удивляют, став вдруг миллионерами или разоряющимися дотла. Буффе подозвал к себе молодого Дюма и пригласил его за стол.

— Вормс сказал мне, что из вашей «Дамы с камелиями» вы сделали превосходную пьесу. Вскорости я стану директором Водевилья; поддержите для меня с полгода вашу пьесу — обещаю вам ее сыграть.

Шло время. 1851 год был отмечен связью с графиней Нессельерде и поездкой в Германию. Когда Александр вернулся, Буффе, как он и предсказывал, был уже директором Водевилья. Он начал репетировать «Даму с камелиями». Фехтер согласился играть Армана, роль Маргариты Готьё была поручена Анаис Фаргей. Актриса была в должной мере красива, но раздражала Дюма своей глупостью.

— Ах, скажите, — спрашивала она, — неужели эта девчонка все пять актов будет выплывать свои легки?

— Простите, мадемуазель, но ведь это происходит с ней только в пятом акте — когда она при смерти.

— Пусть так. Но коль скоро вы вращались в этом кругу, сделайте милость, расскажите мне о нравах этих девиц — я о них ничего не знаю.

— Честное слово, мадемуазель, если вы не узнали их до сих пор, пока вы молоды, то не узнаете уже никогда.

Она стала до того невнимосима, что автор и директор единодушно порешили искать другую Маргариту. Фехтер предложил госпоже Дош.

— Вот это мысль! — сказал Буффе. — Дош крайне сообразительна. Это как раз то, что нужно. Но где, черт возьми, ее отыскать? Я не знаю, куда она девалась.

— А я знаю, — заявил Фехтер. — Она в Англии. Я поеду за ней.

Карьера госпожи Дош была весьма необычна. Урожденная Мари-Шарлотта-Эжени Планкет, она происходила из знатной ирландской семьи, обосновавшейся в Бельгии. Там она и родилась. Когда ей было четырнадцать лет, умер ее отец, и она решила «податься в театр». Ее приняли. В возрасте семнадцати лет она вышла замуж за композитора Александра Доша¹, главного дирижера Водевилья, сорокалетнего вдовца, но этот брак окончился катастрофой. Два года спустя Дош эмигрировала в Россию, бросив жену-подростка, которая обманывала его с поистине изумительной ловкостью. Публика продолжала рукоплескать «малютке Дош», ее лебединой шее и осиной талии. Эта актриса-аристократка воспитательно одевалась, составила себе прекрасную библиотеку, покупала картины мастеров и помогала своим бедствующим товарищам-актерам.

Разочаровавшись в ролях, которые ей предлагали в Париже, она уехала в Лондон, по слухам, приняв решение больше не появляться на подмостках. Фехтер отправился к ней и рассказал о «Даме с камелиями». «Все актрисы Парижа отказались от этой роли. Не хочешь ли ты попытаться счастья?» Она послушала пьесу, аплодировала, плакала, немедля уложила чемоданы и на следующий же день по приезде в Париж начала репетировать. «Все у нее было в избытке, — говорил позднее Дюма-сын, — молодость, красота, обаяние и талант... Когда она играла эту роль, казалось, будто она написала ее сама». Директор театра Буффе не очень-то обнаддеживал.

— Да что там! — говорил он госпоже Дош. — Вы будете играть «Даму» в очередь с «Уистиги», то есть через два дня на третий, а быть может, и всего только раз двенадцать-тринадцать.

Остальные исполнители не скрывали тревоги. Смелый сюжет казался им неприемлемым. И цензура — увь! — разделяла это мнение. Суровый и надменный Леон Фоше, занимавший в 1851 году пост министра полиции, запретил пьесу. Это произошло до государственного переворота, и Дюма-отец был еще в довольно хороших отношениях с нынешним-президентом. Сын, придя в отчаяние, послал на переговоры отца. Однако цензор господин де Бофор заявил, что не может допустить такого скандала, хотя бы ради репутации обоих Александров Дюма.

— Если мы разрешим представить подобную пьесу, то публика еще до конца второго акта начнет швырять на сцену скамейки.

— В один прекрасный день, — заявил Дюма-сын, — появится министр, достаточно умный для того, чтобы разрешить мою пьесу. Приглашаю вас на спектакль, он будет иметь грандиозный успех.

— Я желаю вам этого, сударь, но не могу в это поверить. Госпожа Дош близко познакомилась в Лондоне с Луи Наполеоном и его министром внутренних дел Персины. Она принялась хлопотать за свою пьесу.

— Пусть этой девочке вернут ее роль, — заявил Персины. На одну из репетиций явился Морни. Он был не робкого десятка, но потребовал «на всякий случай» свидетельство о морали за подписью трех видных писателей. Дюма-сын отправился к Жюлю Жанену, Леону Гозлану и Эмилю Ожье; они прочитали пьесу и рекомендовали ее к постановке. Несмотря на тройное поручительство, Леон Фоше оставался непоколебим. Наступило 2 декабря. Луи Наполеон провозгласил себя пожизненным президентом, затем — императором. Морни занял место Фоше. Три дня спустя после своего назначения сводный брат императора снял запрет с пьесы.

Успех ее был поразителен; автора наперебой вызывали, забрасывая его мокрыми от слез букетиками, «которые женщины», — говорит Теофиль Готье, — срывали со своей груди».

«Мари Дюпlessи удостоилась наконец памятник, которого мы для нее добивались. Поэт заменил скульптора, только вместо тела мы получили душу, и госпожа Дош дала ей очаровательное воплощение... Наивысшую честь поэту делает то, что во всех пяти актах его пьесы нет ни малейшей интриги, ни малейшей неожиданности, ни малейшего усложнения... Что касается идеи, то она такая же древняя, как сама любовь, и такая же вечно юная. По правде говоря, это не идея, а чувство. Должно быть, драмателю крайне изумлены успехом этой пьесы, которого они не могут себе объяснить и который опровергает все их теории. Бессмертная история влюбленной куртизанки, ты всегда будешь искушать поэтов!.. Понадобилось немалое искусство, чтобы в наше время — время засилья англо-женевского ханжества — представить на театре сцены современной жизни так, как они происходят в действительности, не сглаживая их никакими увертками... Диалог усезя свежими островами, которые поражают своей неожиданностью, полон словесных стычек, реплики звенят и мечут искры, как скрепленные клинки. Во всем чувствуется молодой, ясный ум, который не маринует свои остроты по три года в записной книжке, дожидаясь возможности пустить их в ход».

Госпожа Дош на самом деле потеряла сознание, а Фехтер в неистовстве отчаяния порвал ей кружев на шесть тысяч франков. У выхода Александра ждали друзья, чтобы вместе с ним отпраздновать успех. Но он попросил извинить его. «Я ужиная с одной женщиной», — сказал он им. Эта женщина была его мать — Катрина Лабе. «В тот вечер мы пировали по-венетски! Чудесная еда — ломтик ветчины, чевичевица с прованским маслом, швейцарский сыр и чернослив. В жизни своей так вкусно не ужинал!» Отцу, который не хотел покидать Брюсселя, пока не будет подписано его соглашение с кредиторами, он телеграфировал: «Большой, большой успех! Такой большой, что мне казалось, будто я присутствую на премьере одного из твоих произведений!» Дюма-отец ответил: «Мое лучшее произведение — это ты, мой дорогой сын!»

Некоторое время спустя Дежазе, находившаяся в Брюсселе, присутствовала там на премьере «Дамы с камелиями» и встретила в театре старшего Дюма. Он сиял от радости.

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Дорогой друг! Весь вчерашний вечер я провел в общении с госпожой Паска. Мы только и говорили что о тебе, о тво-

¹ Александр-Пьер-Жозеф Дош (1799-1849). Его жена, которая ухитрилась всю жизнь уменьшать свой возраст на два года, родилась в Брюсселе в 1821 году; умерла она в Париже в 1900 году.

ем успехе, о твоих венках, о вызовах публики, о таланте госпожи Дош, о гении Фехтера. Все это великолепно. Г-жа Паска сказала мне, что ты дважды виделся с Морни. Постарайся все же получить крест! — он тебе не помешает. Еще одно преимущество, какое я вижу во всем этом, — у тебя заводятся деньги, и ты сможешь немного развязать себе руки. Если ты упорядочишь свой бюджет, отнеси сто франков, что я однажды прислал тебе (с улицы Энглен) на улицу Лаваль...»

Готье был не единственным критиком, восхвалявшим «Даму с камелиями». Жюль Жанен говорил «о живости тона, о безупречной правдивости, благодаря которым эта пьеса о легких связях стала событием в литературе». Господин Прюдом* был шокирован и нападал на автора за то, что он возвеличил куртизанку. В том же самом Водевилье в следующем сезоне была поставлена пьеса-антитезис «Мраморные девы» Теодора Барьера и Ламбера-Тибу, где девиц легкого поведения ставили на место: «Черт побери! Этому пора положить конец. Ну-ка, барышни, отойдите в сторонку, откатите свои экипажи! Дорогу порядочным женщинам, которые ходят пешком!»

В действительности, когда Дюма-сын писал «Даму с камелиями», он не собирался ни нападать на куртизанок, ни защищать их. В то время он был глубоко уручен смертью объективного и беззащитного создания, которое он любил. Он живописал жизнь и собственное сердце. Разве эта смерть была аморальна? Или эта попытка искупления достойна порицания? Почему? «Автор здесь не становится ни адвокатом, ни публичным проповедником; он всего только художник, и тем лучше...» Он трепещет от сочувствия к своей героине. Он не судит ее: он полон дружеских чувств и жалости. Лишь много лет спустя пьеса переродится в сознании автора, и романтический юноша, постарев, станет беспощадным моралистом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ «Мушкетер»

Творение твое, блестяще, необъятно,
Играет красками, исполнено огня.

Виктор Гюго

Случается, что исторические потрясения производят глубокие трещины в обществе. Тем, у которых хватает сил, удастся через них перебраться, но зачастую им приходится нелегко на другой стороне. Революция 1848 года обозначила четкий рубеж в жизни Франции. *Смена декораций*: небесный машинист спрятал в колосники двор Луи Филиппа. Смена актеров: правят новые люди. Меняются вкусы публики. Виктор Гюго оказался на высоте: уйдя в изгнание, он обновил свое творчество, исполненное пафоса политической борьбы. Балзак избежал новых треволнений, скончавшись в пятьдесят один год. Что касается Дюма-отца, то он вернулся из Брюсселя все тот же — полный надежд и планов.

Ему не терпится вновь увидеть друзей, бульвары, милую его сердцу сутолку. Но на что жить? Первой его мыслью было основать ежедневную вечернюю газету «Мушкетер». Подписная цена — 36 франков для Парижа, 40 — для провинции. Редакция в «Золотом доме», улица Лаффит, № 1. «Золотой дом» был знаменитый ресторан, в прилегающей к нему четырехугольной башне помещалась редакция, а этажом выше — квартира Александра Дюма. Название для газеты было выбрано удачно. Публика тотчас же вспомнила Дюма-отца и самый знаменитый из его рома-

нов. Над заголовком был нарисован сидящий мушкетер. Первый номер возвещал, что в ближайшее время выйдут в свет пятьдесят томов «Мемуаров» Александра Дюма. «Пятьдесят томов! — воскликнул Мери. — Это значит, что он выплеснет на публику двадцать пять бутылок воды...»

Не приходилось сомневаться, что в «Мемуарах» окажется «вода» и крепкое вино авторского темперамента будет разбавлено; однако публика любила «воду» Дюма, а кроме того, список остальных сотрудников редакции был блистателен: Александр Дюма-сын, Жерер де Нерваль, Октав Фейе, Роже де Бовуар, Морис Санд, Анри Рощфор, Альфред Асслин, Орельен Шолль и Теодор де Баниль. С первых же дней успех газеты стал очевиден.

— В наши дни основывать газету? Невозможно, — изрекали авгуры.

— Если бы это было возможно, разве я бы за это взялся? — отвечал Дюма.

На первом этаже «Золотого дома» на двери красовалась белая картонная табличка, надписанная рукою патрона:

«МУШКЕТЕР».

Пожалуйста, поверните ручку.

Поворачивали ручку и попадали в небольшую прихожую, где помещался стол из некрашеного дерева, а за ним — двое-трое служащих. За так называемой кассой на соломенном табурете восседал Мишель, бывший садовник из замка «Монте-Кристо». Почему именно Мишель? Требовался бухгалтер — на его место посадили садовника. «Я нашел то, что мне нужно, — заявил Дюма. — Мишель не умеет считать. Я сделаю его кассиром «Мушкетера».

В самом деле, умение считать было здесь ни к чему: касса неизменно пустовала. Дюма основал «Мушкетера», имея капитал в три тысячи франков: ни один человек в редакции не получал жалованья.

И все же «Мушкетер» выходил ежедневно и неукопительно. Каким чудом? Денег в редакции не видели, однако ни в бумаге, ни в перьях недостатка не было. Сотрудники, не получавшие ни гроша, добросовестно сидели на своих местах. Дюма довольствовался тем, что сулил им всем славу, был с ними на «ты», — и все работали. Поначалу администратор Мартине в растерянности время от времени забегал к Дюма, чтобы сообщить ему:

— Мсье Дюма, у меня нет денег.

— Как? — восклицал Дюма. — А подписка? А розничная продажа?

— Дорогой мэтр, десять минут назад вы забрали у меня триста франков — все утреннее поступление.

— Конечно! Я отдал вчера тысячу франков за переписку.

В самом деле, Дюма, живший на третьем этаже, деньденской просиживал за еловым столом, одетый лишь в панталоны со штрипками и розовую рубашку, и без устали строчил километры своих «Мемуаров». Он получал удовольствие, возрождая к жизни своего отца, свою мать, Вилле-Коттре, свое детство в лесной глуши, браконьеров, свои первые шаги в театре. Мимходом он набрасывал портреты: портрет Левена, портрет Уадра, портрет Луи Филиппа, портрет Мари Дорваль. Он делал пространственные отступления, рассказывая со всеми подробностями жизнь Байрона, юность Виктора Гюго. Все это было весьма бессистемно, но живо, красочно, увлекательно, а некоторые страницы (например, те, что посвящены Дорвалю) просто превосходны. Одновременно с воспоминаниями он опубликовал романы «Могикане Парижа» (совместно с Божажем), «Братья Иегу», серию очерков «Великие люди в домашнем халате», для которой с блоком в руках отправился интервьюировать Делакруа. Тот стонал: «Этот ужасный Дюма, который не выпускает из

¹ Дюма-сын был награжден орденом только 14 августа 1857 года.

рук свою добычу, явился ко мне в полночь с расспросами, размакивая блоком. Бог его знает, как он восползуется подробностями, которые я по глупости ему сообщил! Я очень его люблю, но сам сделал из другого теста...»

Его читатели сохраняли ему верность, и тираж «Мушкетера» достиг десяти тысяч экземпляров. По тем тяжелым временам это было много. Самые серьезные люди интересовались газетой. Ламартин писал Дюма: «Вы спрашиваете мое мнение о Вашей газете. У меня есть мнение о вещах, посильнее человеку, у меня его нет о чудесах. Вы совершили нечто сверхчеловеческое. Мое мнение — это восхлительный знак! Люди искали вечный двигатель, Вы нашли нечто лучшее — искусство вечно изумлять! Прощайте. Живите, то есть пишите. Вы всегда найдете во мне восторженного читателя...» Виктор Гюго прислал ему с острова Джерсей свое высочайшее благословение: «Дорогой Дюма, читаю Вашу газету. Вы вернули нам Вольтера. Это огромное утешение для униженной и загубленной Франции. Vale et me ama!»

Поначалу дела с газетой шли так хорошо, что влиятельные газетные директора Мильо, Вильмессан предложили Дюма купить у него «Мушкетера», сохранив за ним место сотрудника с очень высоким окладом. Это была неожиданная улыбка фортуны, надежная гарантия из его собственных сумасбродств. Он отказал не без высокомерия. «Мой дорогой собрат, — писал он Вильмессану. — То, что предлагаешь мне ты и что предлагает Мильо — этот превосходный человек с поистине золотым сердцем, — великолепно... Однако я всю жизнь мечтал иметь свою газету, собственную газету, наконец-то она у меня есть, и самое меньшее, что она может мне принести, — это миллион франков в год. Я еще не взял ни одного су из гонораров за мои статьи; если считать по сорoku су за строку, то со дня основания «Мушкетера» я заработал двести тысяч франков; я преспокойно оставляю эту сумму в кассе, чтобы через месяц взять оттуда сразу пятьсот тысяч. При этих обстоятельствах я не нуждаюсь ни в деньгах, ни в директорах; «Мушкетер» — это золотое дно, и я намерен разрабатывать его сам...»

Чудеса не могут длиться вечно — тогда бы они перестали быть чудесами. Самым преданным сотрудником надоело дружеское «тыканье» вместо жалованья. Они исчезали один за другим. Подписчики — тоже. Их потчевали одним только Дюма-отцом. При всей их любви к нему они не ждали до-вольствоваться его стряпней в качестве единственной ду-ховной пищи. В конце концов сотрудники и рассыльные об-ратились в массовое бегство. Дюма горько сетовал на их «неблагодарность». В 1857 году «Мушкетер» пошел ко дну.

В поисках утешения Дюма часто выезжал в свет, обе-дал в обществе, упивался собственным красноречием. Он «проговаривал» статьи, которые ему больше негде было печатать. Его можно было встретить у принцессы Матиль-ды; будучи двоюродной сестрой Наполеона III, она тем не менее разрешала у себя в доме фрондировать против Второй империи. Дюма рядился там в топу политического деятеля: он заявлял, что благодаря своей популярности столь же могуществен, как император. «Зовите меня про-сто Дюма, — говорил он принцессе Матильде, — вот уже двадцать лет, как я тружусь ради этого».

Он сочинял политические эпиграммы:

На родственников этих глядя,
Мы видим разницу одну:
Захватывал столицы дядя,
Племянник захватил казну.

¹ *Будьте добрыми и любите меня (латин.). (Примеч. пер.)*

Это не нравилось ни принцессе, ни высокомерному Вьель-Кастелю, который злобно отмечал в своем «Дневнике»: «Большая ошибка — принимать Дюма и разрешать ему такой заносчивый тон». Но в глазах принцессы и в глазах толпы он оставался великим Дюма. Он с презрением отыгивал о Наполеоне III. «Гюго, — говорил он, — опубликовал великолепные вещи о Наполеоне; я посвящая ему еще более сильные строки в своих мемуарах... Этот комедиянт оказался попросту малодушным: будучи претендентом, он глупейшим образом позво-лил себя арестовать. Ему надо было поступить по-моему — вооружиться пистолетом. В 1830 году я один взял герцога Суас-сон, пригрозив коменданту, что пристрелю его...»

В конце концов он и сам в это поверил.

Он поносил императора за то, что тот недостаточно почи-тает художников. После одного из таких страстных выпадов против режима кто-то спросил у принцессы Матильды, не по-ссорилась ли она с Дюма. Она ответила с улыбкой: «Думаю, что посорилась насмерть... Сегодня он у меня обедает». На-чиная с 1857 года она стала принимать у себя Дюма-сына. Она хотела представить его императору, чтобы тот наградил его орденом. Дюма-сын отказался, ссылаясь на свою гордость, на свою робость. И все же 14 августа 1857 года он был награ-жден; в качестве поручителя он избрал своего отца.

Дюма-отец — Дюма-сыну:

«Дорогой мой сын! Три дня назад я получил твой крест и разрешение произвести тебя в кавалеры. Когда ты вер-нешься, я обниму тебя нежнее обычного, если только это возможно, и церемония будет совершена».

У Дюма-отца поводов для гордости было хоть отбавляй. Когда во Францию прибыла английская королева и ее по-просили назвать пьесу, которую можно было бы предста-вить в ее честь в Сен-Клу, Виктория выбрала «Воспитаниц Сен-Сирского дома». Эту комедию сыграли на официаль-ном приеме в замке, и монархиня изваяла свой восторг: «Я знаю, — говорил Дюма (которого император не удостоил приглашением), — я знаю, что было бы королеве еще прият-нее, чем увидеть мою пьесу, — увидеть меня самого, и, по правде говоря, мне это было бы тоже приятно. Женщина столь замечательная, которая, быть может, станет самой знаменитой женщиной нашего века, должна была встре-титься с величайшим человеком Франции. Досадно, что она уезжает, не увидев лучшего, что есть в нашей стране».

Для Дюма-отца не было тайной, что Дюма-сын час-тенко навещал Катрину Лабе. Бывшая белошвейка с Итальянской площади, уйдя на покой, достойно встретила старость. Большой успех «Дамы с камелиями» позволил молодому драматургу поселить мать в Нейи, Орлеанская улица, № 1. У нее было залитая солнцем комната-фонарь, выходящая в Булонский лес. В течение некоторого вре-мени она держала небольшую читальню на улице де ля Мишюдьер. Добродетельный Александр — примерный сын — оставался также преданным и почетным дру-гом Мелани Вальдор, которая публиковала книгу за кни-гой: ее романы и пьесы приносили ей славу и почести. Франсуа-Жозеф Вальдор, обреченный старинными своей жены пребывать в дальних гарнизонах, завершил свою во-енную карьеру в качестве коменданта острова Экс.

Публикация нашушевших «Мемуаров» Александр Дюма Первого глубоко оскорбила двух женщин, которые только и любили его по-настоящему. Автор «Мемуаров» совер-шенно опустил Катрину Лабе. Чтобы ввести в повествова-ние своего сына, он упомянул обняком: «29 июля, когда в Пале-Рояле явился на свет герцог де Монпансье, у меня на Итальянской площади, родился герцог Шартрский*». Мать он не назвал. Что касается Мелани Вальдор, то на прочла

о себе следующие уничижительные строки: «Когда я создавал «Антони», я был влюблен в женщину далеко не красивую, но ужасно ее ревновал... так как она находилась в положении Адели и ее муж-офицер был в армии...»

Автор словно забавлялся, оскорбительно смеющаяся дух своих возлюбленных 1830-1831 годов. Читатель помнит, что Бель Кремушамер приняла в театре псевдоним Мелани Серре. В «Мемуарах» Александр Дюма мать его внебрачной дочери неизменно называется Мелани С***. «Моя дорожная спутница намеревалась взять подяра на девять месяцев бедняжка Мелани, быть может, это и не было ошибкой!..» Когда появился этот текст, госпожа Вальдор, почтенная бабушка, была на пороге шестидесятилетия, она только что потеряла единственную дочь и воспитывала внучку. Она негодовала.

Что касается его законной супруги Иды, то после долгой тяжки с «господином Дюма Александром» она продолжала жить в Италии на средства ничего для нее не жалевшего князя де Виллафранка, более влюбленного и более щедрого, чем когда бы то ни было. Читатель помнит, что в начале своей связи с Идой Ферье Дюма привез ее в Ноан, где молодая актриса сумела понравиться Жорж Санд. Когда в марте 1855 года знаменитая романтистка, путешествуя по Италии со своим сыном (Морисом Сандом) и своим личным секретарем (Александром Мансо), приехала в Рим, она застала там свою «дорогую Иду», которая встретила ее с цветами. «Записная книжка» Жорж Санд за 1855 год сообщает нам, что в пятницу 30 марта писательница была в гостях у своей подруги. Женщины бросились друг другу на шею и целый час сплословили о своих муках (Дюма и Дюдеване), затем отправились обежать к Фраскати в сопровождении Мориса, Мансо и князя де Виллафранка. 19 апреля Жорж обедала в «обществе», у госпожи Дюма, и охарактеризовала этот вечер четырьмя словами: «Поэтические истории. Музыка. Автографы».

Дневник Мансо, 22 апреля 1855 года:
«Вечер у госпожи Дюма. Музыка Алессандро. Были барон де Гассио, принц дон Пьетро, какой-то скульптор и два священника, один из них — страстный гимнаст. Макароны в огромном количестве... Распростались в одиннадцать часов, унося с собой охорок и пирожные. Прелестный вечер!»

В понедельник 23 апреля Жорж Санд покинула Рим. Она пометила в своей записной книжке: «Прощание отняло много времени. Пришли Ида, князь и барон. Душили друг друга в объятиях. Они очаровательны...»

В 1857 году князь де Виллафранка, которому хотелось провести несколько месяцев в Париже, снял там красивый особняк с колоннами (он существует и по сей день) на авеню Габриэль, № 38. Ида была больна, и вначале ее болезнь принимали за водянку; на самом деле это был рак матки, от которого ей вскоре суждено было умереть. Ее «очаровательный князь» (по выражению Жорж Санд) преданно ухаживал за ней и показывал ее самым знаменитым врачам. В течение этого последнего пребывания Иды во Франции ее отношения с Дюма были отношениями «кредитора и должника». Она возвратилась в Италию, где ее болезнь стала прогрессировать угрожающим образом. В Генуе (дом Пикассо, улица Аква Сола, приход Церкви Утешения) она приняла последнее причастие и отдала Богу душу. Это случилось 11 марта 1859 года.

Жорж Санд — князю де Виллафранка, 14 марта 1859 года.
«Мой дорогой несчастный друг, мы безутешны... Боже мой, какой удар для Вас и какое горе, какая огромная скорбь для всех тех, кто ее знал! Такое великое сердце, такая глубокий ум! Какую Вы понесли утрату... Что Вы намерены делать? Вы не можете оставаться там, где все, действительно все каждую секунду будет Вам напоминать ее.

Надо вернуться во Францию, в Париж... Здесь Вы сможете говорить о ней с нами, как ни с кем другим... Если бы мы могли пожать Вашу руку, это было бы утешением в смертельной скорби, которую испытываем мы все...»

Одновременно Дюма-отец некоторое время ничего не знал о своем вдовстве, так как в те дни он гостил у своей дочери в Шатору. 4 мая 1856 года Мари Дюма вышла замуж за беррийца Пьера Олинда Петель, и свидетелями ее бракосочетания были Ламартин и (через поверенного) Виктор Гюго.

Дюма-отец — Виктору Гюго:

«Мой самый дорогой и самый великий друг!.. 28-го числа сего месяца моя дочь выходит замуж. Она просит Вас в письме, дорогой Виктор, чтобы Вы через поверенного были ее свидетелем вместе с Ламартином. Мы часто видимся с ним, и не было случая, чтобы мы не говорили о Вас. В конце концов, Вы, мой дорогой Виктор, — частица моей души. И я, Ваш старый друг, говорю о Вас, как нескромный юный любовник о своей любовнице. Одно из великих и прекрасных таинств природы, одно из самых трогательных проявлений милосердия Божьего заключается в том, что разлука бессильна расторгнуть духовные узы.

Как я говорил, как я писал, как буду говорить и писать без конца, мой великий и дорогой друг, тело мое — в Париже, душа — в Брюсселе и Гернсе, там, где Вы были, где Вы сейчас. Я хотел бы, мой дорогой великан, чтобы Вы переписали на большой лист бумаги те прекрасные стихи, которые Вы посвятили мне. Я заключил бы их в рамку и повесил между двумя Вашими портретами, и тогда Ваш образ был бы всегда у меня перед глазами.

До свидания, мой друг. Мари ждет от Вас письма, в котором Вы сообщите ей, что согласны через посредство Буланже быть ее свидетелем. Это будет ее дворянской грамотой... Передайте госпоже Гюго, что я — у нее ног. Ее письмо — это письмо поэта, супруги и матери в одно и то же время. Я хрюно его, но не для того, чтобы заключить в рамку, а чтобы перечитать, подобно влюбленному, прижимая его к сердцу... До свидания, мой добрый Виктор. Да соединит нас Бог — во Франции ли, в изгнании или на небесах...»

О смерти Иды Александр Дюма узнал от Альфонса Карра, поселившегося в Ницце, городе, расположенном по близости от Генуи.

Дюма — Карру:

«Мой добрый друг! Когда пришло твое письмо, я находился в Шатору. Я нашел письмо по возвращении... Спасибо! Госпожа Дюма приезжала сюда год назад и заставила заплатить ей долг — 120 тысяч франков! У меня есть ее расписка. Я уезжаю в Грено, потом в Турцию, Малую Азию, Сирию и Египет...»

Дюма, женившийся когда-то по принуждению и уже так давно расставшийся с женой, испытывал некоторое облегчение оттого, что стал совершенно свободным человеком. А князь де Виллафранка — безутешный влюбленный — горько оплакивал умершую, похороненную на кладбище в Стальено. Неисповедимы пути Господни! Князь написал Жорж Санд, прося ее составить эпитафию, которая будет высечена на памятнике его погибшей подруги.

Жорж Санд — князю де Виллафранка:

«Дорогой друг, самые лучшие слова — всегда самые короткие, и того, что Вы мне написали о Ней — достаточно. Если Вы хотите добавить к этому еще несколько слов, подводящих итог ее жизни, не пишете: «Здесь похитис» или «Здесь нашла упокоение». — ибо души не находят упокоения в земле, а напишите: «В память о...» — и после всех имен: «чей высокий ум и благородная душа оставила глубокий след в жизни тех, кто ее знал. Большая артистка и

великодушная женщина, она ушла от нас молодой и прекрасной, обаятельной и самоотверженной... В этой гробнице похоронено сердце мужчины».

Добрый Тео, так восхищавшийся двадцать лет назад белокурой пышнотелой Идой, тоже горевал о ней: «После смерти г-жи Эмиль Жирарден и г-жи Дюма в этом мире не осталось ни одной умной женщины...»

Слова, свидетельствующие лишь о том, что Теофиль Готье постарел.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ «Диана де Лис»

- Ты не страдаешь желудком?
- Нет.
- Напишешь еще несколько пьес, тогда посмотришь, что с тобой будет.

Лябли

«**Д**ама с камелиями», несмотря на весь ее успех, не обогатила Дюма-сына, у которого хватило порядочности (глупости, как сказал бы его отец) воспользоваться этой улыбкой фортуны, чтобы расплатиться со всеми своими долгами. В 1853 году, снова оставшись без денег, он поселился на Сен-Жерменской дороге на вилле «Монте-Кристо», которую все еще оспаривали друг у друга кредиторы. Дом пустовал. Дюма-сын оставил его кое-какой мебелью, взятой напрокат, и устроился там вместе с тремя друзьями, одним из которых был художник Маршаль. «Расходы мы делили между собой; столовые приборы у нас были из простого металла; страпал для нас садовник. Там-то я и написал «Диану де Лис».

Сын не обладал ни легкомыслием, ни жизнерадостностью отца. Творческий труд всегда вызывал у него настоящую физическую усталость, доводившую до головокружения и спазм в желудке. Раннее знакомство с куртизанками, а вслед за тем мучительный роман с госпожой Нессельроде превратил его в человека разочарованного. Не отличаясь могучим воображением, которое позволяло отцу оставаться лучезарным в мрачном мире, он взирал на людей с печальной суровостью. У него был тот же идеал, что у его матери, — честность и прямота. Ему хотелось основать семью, которая была бы противоположностью его собственной.

Дюма-сын стремился найти в каждой женщине Прекрасную Даму рыцарских романов. Но живая женщина — не Дама, так же как живой мужчина — не Рыцарь. Самая лучшая по-своему сумасбродна. Шекспир и Миюссе это сумасбродство вдыхалию на стихи; Шатобриан восхищается «смешением слабости и лент». Дюма-сын был не столь мудр и не столь терпим. Вступив в связь с графиней Нессельроде, он узнал человеческую самку в ее самом соблазнительном и самом ужасном виде. Он прошел школу аморализма. Он наблюдал мир Второй империи, населенный бесстыдными распутниками вроде герцога де Морни, ограниченными и тупыми мужьями, ловкими и развратными женщинами. Светский человек глуп, празден, безразличен, в молодости он делает детей портижам, а женившись, обманывает жену. «Женщина, несчастливая в браке, и соблазненная девушка; соблазненная девушка и женщина, несчастливая в браке, — из этого круга Дюма не выйти!»¹

¹ Заметки к лекции «Театр Александра Дюма-сына», которую Бек должен был читать в Марселе 27 ноября 1895 года. Лекция была отменена, так как Дюма находился при смерти. Он умер на следующий день.

Кем хотел стать он сам? Честным человеком, счастливым отцом семейства. Этого не случилось, и он стал Вершителем Правосудия, Другом женщин, но также их Судьей. Его персонажи, подобно мускетерам, готовы были служить тому, что он считал подлинной справедливостью. Удары они будут наносить словами, подчас жестокими. Какова их цель? Спасти наивных молодых людей от опасных связей, белешвеек — от развратней жизни, простодушных молодых девушек — от развратных отцов семейства. В нем появится что-то от полководца и укротителя. Дюма-сын будет с хлыстом в руках входить в клетку со львицами. Но прежде чем взять на себя эту видную и неприятную роль, он должен был окончательно изжить эпизод с графиней Нессельроде — расчитаться с ним в своих произведениях.

В первый раз он сделал это в 1852 году в романе «Дама с жемчугами», где он повествовал о своем приключении, почти ничего в нем не изменив. Героиня — иностранная герцогиня, в восемнадцатилетном возрасте вышла замуж за человека, который, как и Дмитрий Нессельроде, носил знатное имя и занимал в своей стране видное положение. Там было все: ненавистная золовка, «очаровательно-неразборчивый» почерк Лидии, наперсница влюбленных Элизабет де Норси, в жизни — Элиза де Корси. Автор книги явно стремился к тому, чтобы его узнали в героине — Жаке де Фейле, так как герцогиня говорила последнему: «Если вы когда-нибудь опишете мою историю, вы назовете ее «Дама с жемчугами»; эта книга будет парой к той, которую вы написали раньше и героиня которой — куртизанка...» Разница только в одном: развязка романа более лестна для Дюма, чем действительный конец его связи, ибо в книге герцогиня Аннет, разлученная с любимым, умирает от горя, тогда как настоящая графиня Лидия преспокойно жила и успела забрать его.

«Диана де Лис» — поначалу короткая новелла, затем драма в пяти действиях. Это снова история несчастной патрицианки, влюбленной в художника Поля Обри. Покинутая мужем, Диана де Лис пускается в разгул. Поль Обри — еще один автопортрет — с благородной деликатностью удерживает ее от «позорных похажений». Тогда в дело вмешивается муж. Он не любит свою жену, но это не важно. Он муж, у него есть права. Он намерен увести Диану подальше от Поля (с помощью всех тех средств, какие предоставляет в его распоряжение закон), совершенно так же, как увез свою жену Нессельроде. Когда Поль и Диана пытаются бежать, чтобы обрести свободу, граф де Лис холодно дает им юридическую консультацию.

«Граф! Сударь, возможно, что общество устроено плохо, что вам хотелось бы исправить его ошибки, что мне и градине не следовало вступать в брак. Все это возможно, но в действительности я — муж этой женщины, она останется со мной, и ничто не может этому помешать, ибо она — моя жена... Даю вам честное слово, что, если еще когда-нибудь я застану вас с госпожой де Лис, как застал сейчас, — даю вам слово, что я воспользуюсь правом, которое дает мне закон, и убью вас».

Как закончить пьесу? Выстрелом из пистолета без комментариев? Такая концовка искусшла Дюма-сына отчасти потому, что она была бы симметрична развязке «Антони». В «Антони» любовник убивал жену; в «Диане де Лис» муж убьет любовника. Отчасти же потому, что моралист при всем своем отвращении к невинному мужу в душе отбавывал его. Но публика, без сомнения, предпочла, чтобы победа оказалась на стороне симпатичных влюбленных.

Автор долго колебался. После триумфа «Дамы с камелиями» директора театров охотно звали бы у него вторую пьесу. Но цензура снова поставила рогатки. Не потому, что сюжет

был аморален: Персиньи, когда-то покровительствовавший молодому Дюма, не мог простить ему, что тот отказался написать для Оперы слова к верноподданнической кантате, приуроченной к какому-то случаю. Причины, которые выставил Дюма-сын, были основательны. Во Франции жили тогда великие поэты: Ламартин, Вийн, Гюго, Мюссе. Если они отказывались или если к ним не обращались, не подошло начинающему, к тому же очень слабому поэту, который дорожил своей независимостью, лезть на их место. Директор Оперы Нестор Роклан настаивал: «В конце концов, будете вы писать, да или нет?» — «Нет». — «Что же, — ответил он, смеясь, — вы правы».

За «Диану де Лис» вступился Монтиньи, директор театра Жимназ. Это был добрейший из людей, силч с квадратным лицом, с короткими волосами, бакенбардами и усами щеткой. Он походил на сторожевого пса. Его театр назывался Жимназ, ибо когда-то, на заре своего существования, должен был в силу дарованной ему привилегии стать театром-школой, где могли бы практиковаться учащиеся консерватории. Позднее там начали играть водевили с куллетами. С 1844 года Монтиньи боролся за то, чтобы привлечь туда публику, которой надоело видеть на сцене полковников, крестьянок и опереточных канонисс. В 1847 году он женился на очаровательнейшей актрисе Мари-Розе Сизо; родители ее тоже были актеры; совсем еще юная, она выступала под псевдонимом Розы Шери. Скриб — автор, которого много играли в театре Жимназ, взялся сделать ей предложение от имени Монтиньи.

— Я принес вам, — сказал Скриб юной Розе, — очаровательную и оригинальную роль.

— Драматическую?

— Надеюсь, что нет.

— Пьеса кончается свадьбой?

— Наоборот, со свадьбы она только начинается.

Директор и актриса составили образцовую чету. Мягкая и сдержанная, Роза Шери оказалась примерной матерью семейства. Ее неподдельный талант, благородный и отточенный, нравился публике Жимназ. Она преобразила театр. Присутствие за кулисами жены директора заставляло всех вести себя пристойно, хотя беспорядок, царивший в театре, поощряя свободу нравов. Артистическое фойе походило на неприбранную контору омнибусов с одним-единственным стулом для хозяйки. В кабинете директора всевозможные рукописи загромождали бархатный диван, стол и все углы. Монтиньи увидел в Диане идеальную роль для своей жены, потребовал снятия запрета и добился его.

За время репетиций между Монтиньи, Розой Шери и Дюма-сыном завязались прочные узы дружбы. Автор нашел обоих супругов столь умными, надежными, справедливыми и добрыми, что Жимназ стал его «собственным» театром. Он способствовал созданию легенды, превратившей Розу Шери в святую покровительницу корпорации актеров. Монтиньи молил Дюма дать «Диане де Лис» счастливую развязку. Однако автор упрямо держался за выстрел из пистолета и сохранил его. Публика и критика были сбиты с толку; успех пьесы, хотя и значительный, не шел в сравнение с триумфом «Дамы с камелиями». Граф де Лис мог сколько угодно говорить: «Этот человек был любовником моей жены; я отомстил за себя; я убил его», — столь свирепое правосудие ошеломляло.

Автор защищался от обвинений в том, будто он доказывал определенный тезис. «Разве искусство, в особенности театр, призвано очищать нравы трудящихся классов?.. Волнение, вызываемое зрелищем подлинной страсти, каков бы ни был ее характер, если только эта страсть говорит прекрасным языком, если она выражается пластическим движением, — такое волнение стоит больше, чем любые тирады... и оно совершенно по-другому воздействует на человека, заставляя

его заглянуть в собственную душу, глубоко затрагивая самые глубины его существа...» До сих пор, в своих первых двух пьесах, он воспроизводил события собственной жизни. В пьесе «Полусвет», которая последовала за «Дианой де Лис», он описал среду, которую пристально наблюдал.

Это среда, в которой вращаются женщины, занимающие промежуточное положение между светскими дамами и куртизанками. Полусвет, по определению Дюма-сына, — это «не скопище куртизанок, а класс деклассированных». Когда позднее «дамами полусвета» стали называть женщин, сделавших любовь профессией, это слово потеряло смысл. Полусвет у Дюма — еще до некоторой степени свет. Там встречаются любовницы, которые не предьявляют счетов к немедленной уплате, ибо любовь здесь — добровольная. Но бесплатная ли? В основном — да, однако женщины, отвергнутые за неверность, молодые девушки «с пылью», составляющие полусвет, должны на что-то жить. Они ищут мужа-спасителя или же, если это необходимо, постоянного покровителя. «Этот свет начинается там, где кончается законный брак; он кончается там, где начинается продажная любовь. От порядочных женщин он отделен публичным скандалом, от куртизанок — деньгами...»

По отношению к несчастным созданиям, образующим полусвет и отделенным от так называемых светских женщин всего только барьером случая, Дюма-сын проявляет такую жестокость, которая вызывает возмущение. По его мнению, первейший долг — помешать порядочному человеку жениться на авантюристе. Долг столь настоятельный, что для исполнения его Вершитель Правосудия готов пойти на подлость. Чтобы вырвать своего друга Раймона де Нанжак, доверчивого и наивного влюбленного, из сетей баронессы д'Анж, Оливье де Жален (который здесь олицетворяет автора) не пожалеет никаких средств. Он считает такую женщину ядовитой гадюкой, ее надо безжалостно раздвинуть.

Оливье де Жален открывает собой блестящую плеяду резонеров в пьесах Дюма-сына. Это ясновидище, прозревшие тайны сердца, воинствующие моралисты, раздражающие своим самодовольством, уверенностью в своей непогрешимости и присвоенным себе правом руководить совестью. На первый взгляд они кажутся скептиками и нигилистами; на самом же деле они защищают общепринятую мораль. Некоторые их черты есть уже у Поля Обри, однако Поль Обри еще сам участвует в игре. Оливье де Жален хочет быть вне игры и управляет ею.

В первой редакции пьесы он был еще более невыносим и догматичен. «Есть многое такое, чего человек моего возраста чаще всего не знает, но что я уже познал и оценил по достоинству. И, повторяю вам, это прежде всего любовь, как ее понимают в мире, где мы живем. Я признаюсь, что такую любовь — любовь, которую женщина ищет в браке, жажда которой заставляет ее опускаться до адюльтера, которая обрекает ее на повседневную ложь... признаюсь, что я не способен почувствовать такую любовь даже к вам, менее всего к вам... Видя вас такой чистой, верной, доверчивой, я понял, сколько зла может эта любовь причинить женщине...» Таким был в тридцать лет сам Дюма-сын, пресыщенный легкой любовью, измученный любовью трудной, всецело занятый женщинами, старающийся, чтобы его поведение по отношению к ним соответствовало его идеалу, и изборажающий на театре героя, каким бы ему хотелось быть: д'Артаньяна, для которого любовь авантюристка — Миледи.

«Полусвет» ужаснул Монтиньи своей «дерзостью», но вдохновил Розу Шери. Она увидела в баронессе д'Анж выигрышную роль, весьма отличную от тех, которые она привыкла играть. В течение нескольких недель министр

Ашиль Фуль пытался вырвать у Дюма его пьесу для Французского театра, который он мечтал омолодить. Дюма, желая сохранить верность Жимназ, прибегнул к маленькой хитрости: он передал Фулю рукопись, вставив туда несколько крепких слов, сами по себе вполне безобидные, слова эти в то время считались неприемлемыми для сцены. Император и императрица приказали прочесть им пьесу; они вскрикивали от ужаса. Жимназ был спасен.

Во время репетиций Дюма восхищался чудесной интуицией, с какой добропорядочная Роза Шери, с лицом наивного и шаловливого ребенка, угадывала и выражала чувства, казалось, ей совершенно неизвестные: Оливье де Жален, несомненно, сказал бы, что в каждой добродетельной женщине дремлет авантюристка. Что касается Монтиньи, то он был не способен отделить «госпожу Монтиньи» от персонажа, который она воплощала и который, по его мнению, бросал на нее тень. Дюма требовал от актрисы ярких красок, Монтиньи сдерживал ее. За спиною мужа Роза делала Дюма знами, чтобы тот не уступал. С обоюдного согласия автор и актриса прибегали для премьеры некоторые смелые эффекты, которые на репетициях могли бы испугать мужа. «Она заранее наслаждалась ими, как школьница — какой-нибудь шалостью, и говорила: «Только бы патрон ни о чем не догадался!» Успех был ошеломляющий. Неожиданная развязка обеспечила триумф. Даже Дюма-отец был в восторге. Он только что вернулся в Париж и с приятной гордостью наслаждался успехом сына.

Моралист предполагает, случай и страсть располагают. В то время как Дюма-сын в своих пьесах присуждал адюльтер к смертной казни, сам он вступил в связь с замужней женщиной и оторвал ее от мужа. Это снова оказалась русская, на сей раз — княгиня, уроженка Прибалтики, дочь статского советника. Красавице Надежде Кнорринг, «сирене с зелеными глазами», было двадцать шесть лет, когда Дюма влюбился в нее. Проведя годы юности в глуши, она почти девочкой была выдана замуж за старого князя Александра Нарышкина. Этот неравный брак превратил ее в существо неудовлетворенное и необузданное. Она была подругой, наперсницей и соучастницей Лидии Нессельроде. Так как она скучала под сенью икон, то без колебаний бросила все, чтобы открыто жить во Франции с молодым Александром Дюма. Однако, бежав из Москвы, она не забыла взять с собой ни свою дочь, Ольгу Нарышкину, ни фамильные драгоценности.

«Больше всего я люблю в ней то, — писал Дюма-сын Жорж Санд, — что она целиком и полностью женщина, от кончиков ногтей до глубины души... Это существо физически очень обольстительное — она пленяет меня изяществом линий и совершенством форм. Все нравится мне в ней: ее душистая кожа, тигриные когти, длинные ржавые волосы и глаза цвета морской волны...» Было что-то опьяняющее в том, что в его власти оказалась эта «великоросская дама», готовая пожертвовать всем ради того, чтобы принадлежать ему. Если браком с Эвелиной Ганской Балзак брал реванш у надменной маркизы де Кастро, то Надежда Нарышкина должна была искупить измену ветреной графини Нессельроде. Чтобы прочнее утвердить свою победу над русской знатью, Дюма-сын демонстрировал крайнее презрение к аристократии, владевшей необозримыми степями и потерявшей счет золотым рублям. Это не уменьшало его нежной привязанности к «Великороссии» (Надежде) и «Малороссии» (Ольге) — так он называл их в письмах к Жорж Санд. «Мне доставляет удовольствие, — писал он владелице Ноана, — пересылать вам это прекрасное создание, испорченное своей страной, своим воспитанием, своим окружением, своим кокетством и даже праздностью...» Пигмалион полагал, что изваял себе и любовницу; позднее статуя отомстила скульптору.

«Я знаю ее не со вчерашнего дня, и борьба (ибо между двумя такими натурами, как я и она, это именно борьба) началась еще семь или восемь лет тому назад, но мне только два года назад удалось одолеть ее... Я изрядно вывалялся в пыли, но я уже на ногах и полагаю, что она окончательно повержена навзничь. Последнее путешествие dokonало ее...»

Поездки в Россию были для княгини неизбежны. Чтобы взять денег из своих личных доходов и получить новое разрешение на пребывание за границей, Надежда Нарышкина должна была раз в год ездить в Санкт-Петербург: Там один услужливый врач предписывал ей лечение в Пломбьере, объявляя русский климат «вредным для ее легких», и рекомендовал ей длительное пребывание на юге Франции. Дюма-сын хотел жениться на своей иностранке, чтобы привести свое поведение в соответствие с собственными принципами, однако князь Нарышкин отказался дать ей развод. Царь, враждебно относившийся к открытому разрыву супружеских уз, требовал, чтобы среди аристократии браки были нерасторжимыми, а воспротивиться самодержцу — значило немедленно подвергнуться репрессиям. Развезист, сказал Нарышкин, значит лишиться его дочь Ольгу части тех владений, коих она является единственной наследницей.

Замужняя любовница, мать семейства... Ничто не могло так противоречить идеям Дюма-сына, как его личная жизнь. Любовники страдали от сложившейся ситуации. Они скрывали свою любовь. В 1853 году мать княгини Ольга Беклешова, «проживающая в Москве, от имени своего мужа Ивана Кнорринга, российского статского советника», купила в Люшоно красивую виллу в английском георгианском стиле (ионические пилястры, треугольный фронтон). Этот дом, называвшийся тогда «Санта-Мария», известен по сей день под именем «виллы Нарышкиной». С 1853 по 1859 год можно было видеть, как на газоне и посыпанных песком дорожках перед домом играют в мяч красивый молодой человек, красавица девочка и женщина с глазами цвета морской волны.

ГЛАВА ПЯТАЯ Поездка в Россию

После того как эпизод с «Мушкетером» завершился и газета перестала существовать, Дюма охватила охота к перемене мест. Он всегда любил путешествия и умел возвращаться домой с объемами рукописаний. На сей раз его влекла к себе Россия.

Отношения Дюма-отца с Россией восходят ко времени его первых шагов в театре. С 1829 года в Петербурге с успехом шел «Генрих III и его двор». Великий актер Каратыгин играл роль герцога Гиза, его жена — герцогиня Екатерины. Затем, после того как Каратыгин перевел на русский язык «Антони», «Ричарда Дарлингтона», «Терезу» и «Кина», драматургия Дюма произвела в России настоящую литературную революцию. Чтобы увидеть пьесы Дюма, в театры повалила знать. Позднее Гоголь — по соображениям эстетическим — и официальная критика — по соображениям политическим — холодно отзывались о Дюма. Все эти недовольные (Антони, Кин), объявлявшие войну обществу, противники брака, тревожившие официальные круги. Однако демократы — Белинский, Герцен — приняли Дюма всерьез и восторженно хвалили его.

В 1839 году Дюма прислал в голову мысль преподнести Николаю I, императору сына Руси, рукопись одной из своих пьес, «Алхимик», в нарядном переплете. И вот почему: художник Орас Вернз нездало до этого совершил триумфальное путешествие по России и получил от царя орден Станислава второй степени. Дюма, страстный собиратель

регалий, всей душой жаждал этого ордена. Некий тайный агент русского правительства в Париже сообщил о желании Дюма министру, графу Уварову, добавив, что, по его мнению, было бы весьма кстати удовлетворить это желание, ибо в этом случае Дюма, самый популярный писатель во Франции, мог бы оказать известное воздействие на общественное мнение этой страны, в то момент неблагоприятное для России по причине симпатии французов к Польше. «Орден, пожалованный его величеством, — писал агент, — будет куда виднее на груди Дюма, чем на груди любого другого французского писателя». Эти слова свидетельствуют о том, что агент хорошо знал Дюма и его широкую грядь.

Министр дал благоприятный ответ, и рукопись, украшенная виньетками и ленточками, была отправлена в Санкт-Петербург в сопровождении письма за подписью: «Александр Дюма, кавалер бельгийского ордена Льва, ордена Почетного легиона и ордена Изабеллы Католической». Это было недвусмысленный намек. Но требовалось еще соизволение императора. Министр просил его: «Если бы Вашему Величеству угодно было, милостиво приняв этот знак благоговения иноземного писателя к августейшему Лицу Вашего Величества, поощрить в этом случае направление, принимаемое к лучшему знанию России и ее государя, то я со своей стороны полагаю бы вознаградить Александра Дюма пожалованием ордена св. Станислава 3-й степени...» На полях докладной император Николай написал карандашом: «Довольно будет перстня с вензелем!».

Довольно будет? Кому? Уж никак не Дюма. Но дело было в том, что царь питал инстинктивное отвращение к романтической драме. Как-то раз он сказал актеру Каратыгину: «Я бы чаще ездил тебя смотреть, если бы не играли вы таких чудовищных мелодрам. Например, сколько раз зарезал ты в нынешнем году или удушил жену твою на сцене?» Дюма был уведомлен о пожаловании ему алмазного перстня с вензелем его императорского величества. Так как перстень долго не высылали, Дюма затребовал его и в конце концов получил. Он поблагодарил очень холодно, посвятил «Алхимика» не царю, а Иде Ферье (тогда еще фаворитке) и вскоре напечатал в «Реvue де Пари» роман «Записки учителя фехтования», который не мог не возмутить царя, ибо это была история двух декабристов — гвардейского офицера Анненкова и его жены*, юной французской модистки, последовавшей за мужем в сибирскую ссылку. (В романе они введены под вымышленными именами.) Рассказ велся от лица учителя фехтования Гризе, чьим учеником был Анненков. Роман был запрещен в России, где, разумеется, все, что только мог его раздобыть, читали его тайком, в том числе и сама императрица.

Таким образом, при жизни Николая I Дюма был в России persona non grata¹. Он не отдавал себе в этом отчета, и, когда в 1845 году его друзья Каратыгины приехали в Париж, он снова выразил желание увидеть Россию и быть представленным императору. Каратыгины поспешили отговорить его, и в течение нескольких лет он больше об этом не думал. Позднее, в 1851 году, любовные связи его сына, влюбившегося подряд в двух русских знатных дам — графиню Нессельерде и княгиню Нарышкину, снова напомнили ему о России.

Эти связи усилили искреннюю и глубокую симпатию Дюма к русским. Они были ему по душе. Мужчины-великаны пили горькую, женщины слыли самыми красивыми в Европе. История страны изобиловала борьбой страстей и кровавыми драмами, мало известными во Франции (где только Проспер Мериме, у которого был небольшой круг читате-

лей, познакомил публику с некоторыми из них). Сочетание, заманчивое для Дюма как человека и как писателя.

И когда в 1858 году случай свел его в гостинице «Три императора» на Луврской площади с графом Кушелевым-Безбородко и его семьей, которые путешествовали по Европе, имея на два миллиона вкеселей на все бакинские дома Ротшильда в Вене, Неаполе и Париже, он увязался за ними следом. Кушелевы-Безбородко уже насчитывали в своей свите одного *illustrissime*² итальянского маэстро и одного шведского спирита — Дэниела Денгласа Юма (того самого медиума, которого любила Элизабет Баррет Броунинг), с детства обладавшего даром ясновидения и способностью заклиная духов. Они поспешили присоединить к этой свите такого знаменитого и занятого французю, как Дюма.

— Мсье Дюма, — заявила графиня, — вы поедете с нами в Санкт-Петербург.

— Но это невозможно, мадам... Тем более что если бы я и поехал в Россию, то не только туда, чтобы увидеть Санкт-Петербург. Я хотел бы также побывать в Москве, Нижнем Новгороде, Астрахани, Севастополе и возвратиться домой по Дону.

— Какое чудесное совпадение! — заявила графиня. — У меня есть имение под Москвой, у графа — земли под Нижним, степи под Казанью, рыбные тони на Каспийском море и загородный дом в Изаче...

Это способно было вскружить голову путешественнику, который всегда держался в Париже только на волоске, да и то на женском. Поскольку Николая I сменил Александр II, стало легче получить визу. Дюма-отец согласился. Через несколько дней поезд увез его в Кельн, Берлин и Штеттин, а оттуда на пароходе он поплыл в Санкт-Петербург. В дороге, читая книги и слушая рассказы своих спутников, он познакомился с историей Романовых, настолько трагической и скандальной, что лучшего нельзя было и желать.

Наконец пароход вошел в устье Невы. Дюма высиделся на берег. Его привели в восхищение дрожжи, кучера в длинных кафтанах, их шапки, напоминавшие «паштет из гусиной печенки», и ромбовидные медные бляхи, висевшие у них на спине. Он познакомился с мостовой Санкт-Петербурга, которая в те времена за три года выводила из строя самые прочные экипажи. Вместе с графом и графиней он присутствовал в большой гостиной их дома на «молебствии по случаю благополучного возвращения», которое служил домашний поп. Хозяева Дюма были более Монте-Кристо, чем он сам. Их парк имел в окружности три мили. У них было две тысячи крепостных.

Из Санкт-Петербурга он отправился в Москву, где его принял у себя граф Нарышкин, у которого была подруга французка Жени Фалькон, «грациозная фея», сестра знаменитой певицы Корнелии Фалькон. Дюма настойчиво ухаживал за своей хозяйкой. «Я целую вам только руку, за видя тому, что целует все-то, чего не целую я». Пятьдесят лет спустя Жени Фалькон, которой было тогда уже восемьдесят, проговорила, что не устояла перед пылкими домогательствами Мюшкетера.

Дюма пообещали, что его свозят на Нижегородскую ярмарку. Общение было выполнено. В излучине Волги Дюма увидел, как река внезапно исчезла, — на ее месте вырос лес расцветенных флагами мачт. На пристани стоял опустительный гомон духовот тысяч голосов. «Единственное, что может дать представление о человеческом муравейнике, кишущем на берегах реки, — это вид улицы Риволи в день фейерверка, когда хорошие парижские буржуа возвращаются восвояси...»

Александр Дюма сразу стал нижегородским львом. Генерал-губернатор Александр Муравьев представил его графу и графине Анненковым, которых Дюма, никогда не

¹ Нежеланное лицо (латин.). (Примеч. пер.)

² Знаменитейшего (итал.). (Примеч. пер.)

видев в глаза, сделал героями своего романа «Записки учителя фехтования», опубликованного в 1840 году. Супруги Анненковы были помоловцами Александру II; они с распространением объятиями приняли человека, превратившего его в персонажей романа.

Самое большое счастье за время этого путешествия доставило Диома открытие, что образованные русские знают Ламартина, Виктора Гюго, Бальзака, Мюссе, Жорж Санд и его самого так же хорошо, как и парижане. В Финляндии он встретил игуменью, которая зачитывалась как «Графом Монте-Кристо». Всюду и везде именные князья, губернаторы провинций, предводители дворянства и помещики оказывали ему теплый прием. Чиновники величали его генералом, так как на шею у него всегда болтался по меньшей мере один орден. Он давал русским — и в свою очередь получал от них — уроки кулинарии, учился приготавливать стерлядь и осетрину, варить варенье из роз с медом и с корицей. Он оценил шашлык (ломтики баранины на вертеле, поджаренные на углях, после того как их сутки вымачивали в уксусе, с мелко нарезанным луком), но водка ему не понравилась.

Диома-отец — Диома-сын:

«Дорогой мой сын! Твое письмо догнало меня в Астрахани. Локруа сказал: «Из Астрахани не возвращаются». Был момент, когда я подумал, что Локруа — пророк из пророков. Момент, когда мне показалось, что я заперт здесь на всю зиму. Но успокоился, завтра я отправляюсь в путь.

Хочешь ли ты получить представление о путешествии, которое я совершил? Возьми карту России — не пожалейшь. Тебе известен мой маршрут до Москвы, и я постараюсь больше о нем не говорить. На пути из Москвы в Бородино ты увидишь две скрещенные сабли. Так знай же, здесь произошла знаменитая битва 1812 года. Из Бородина — в Москву, из Москвы — в Троицу. Ты найдешь Троицу, поднявшись на север. Возле озера, изобилующего сельдью. Ты ведь знаешь, что я люблю сельдьку, и потому не удивляйся, что я ездил в Переславль, чтобы полакомиться ею. Из Переславля — в Апатину (не ищи — не найдешь). Это имение в тридцать тысяч арпанов, не стоящее того, чтобы быть обозначенным на карте России. Из Апатина — в Калязин (ты найдешь Калязин на «матушке-Волге», как говорят русские, они еще не настолько хорошо говорят по-французски, чтобы знать, что по-нашему Волга — мужского рода). Из Калязина в Кострому (смотреть «Лжедмитрия» Мериме; до самой Костромы — по Волге). Из Костромы — в Нижний Новгород: здесь ярмарка из ярмарок, целый город, состоящий из шести тысяч ларьков, к тому же публичный дом на четыре тысячи девиц. Как видишь, все на широкую ногу.

Из Нижнего, где я встретил Анненкова и Лиузу — двух героев «Учителя фехтования», возвратившихся в Россию после тридцатилетнего пребывания в Сибири... в Казань, неизменно вниз по «матушке» или по «батюшке» Волге. Затем — в Камышине. В Камышине — внимание! — я отправляюсь к киргизам... Найди на карте озеро, вернее — три озера; первое из них — озеро Эльтон. Там я ночевал в палатке посреди степи и пировал с очаровательным человеком, господином Беклемишевым, атаманом астраханских казаков. Из Астрахани привезли солончатого барана, в сравнении с которыми нормандские бараны ничто не стоят... Хаост нам подали отдельно — он весил четырнадцать фунтов. За десертом Беклемишев подарил мне свою шапку, которая в Париже сошла бы за элегантную муфту. Ты ее увидишь.

От озера Эльтон следуй за мной на озеро Баскунчак. Это очень красивое озеро, имеющее две мили в окружности. Когда мы объехали вокруг этого озера, меня спросили, не хочу ли я увидеть еще одно озеро, третье по счету.

Но в тот момент я был по горло сыт водой и степью. Я снова поплыл по Воле и прибыл в Царицын. Ты найдешь Царицын на том месте, где Волга близко сходится с Доном. Там я сел на судно, которое доставило меня в Астрахань.

Прибыв в Астрахань, я немного поохотился на берегах Каспия, где в таком же изобилии водятся дикие гуси, утки, перелканы и толены, как на Сене — лягушки и камени. Возвратясь, я нашел у себя приглашение от князя Томена. Это в некотором роде калмыцкий царь; у него пятьдесят тысяч лошадей, тридцать тысяч верблюдов и десять тысяч баранов, а сверху того очаровательная восемнадцатилетняя жена с раскосыми глазами и жемчужными зубами; говорит она только по-калмыцки. Она принесла в приданое мужу полторы тысячи шатров — у него их было десять тысяч — со всеми их обитателями. Этот милый князь, у которого кроме пятидесяти тысяч лошадей, тридцати тысяч верблюдов, десяти тысяч баранов и одиннадцатидесяти тысяч шатров имеется двести семидесяти священников, из коих одни играют на цимбалах, другие — на кларнетах, третьи — на морских раковинах, четвертые — на трубах длиной в двенадцать футов, — прежде всего устроил нам в своей пагоде *Te Deum!*, огромное достоинство которого заключалось в его краткости. Еще пять минут — и я вернулся бы к тебе, лишенный одного из своих пяти чувств.

После *Te Deum* он дал, ей-Богу, отличнейший завтрак; главным блюдом была лошадиная ляжка. Если увидишь Сент-Илера, передай ему, что я присоединюсь к его мнению, будто в сравнении с кониной говядина — та же телятина. Я говорю — телятина, ибо я полагаю, что из всех сортов мяса ты более всего презираешь телятину. После завтрака для нас устроили скачки, в которых участвовало сто пятьдесят лошадей с юными калмыками обоюбого пола в качестве наездников... В этих скачках приняли участие четыре придворные дамы княгини... Приз, состоявший из молодого коня и коломаньковского халата, получил тринадцатилетний мальчишка...

После этого нам показали скачки шестидесяти верблюдов, на которых без седла сидели калмычки в возрасте от двадцати до двадцати пяти лет — один безобразнее другого. Если бы приз присуждался не за скачки, а за уродство, князю пришлось бы наградить их всех.

После этого мы переправились на другой берег Волги, которая перед дворцом князя Томена имеет не более полумили в ширину, и увидели табун диких лошадей в четыре тысячи голов... Князь извинился, что не может показать мне больше: его только накануне предупредили о моем приезде, и это все, что удалось согнать за ночь.

Тут началось изумительное зрелище: ловля диких лошадей с помощью лассо. Неоседланные кони с всадниками-калмыками мчались прямо в Волгу. Десять, двадцать, пятьдесят лошадей бросались в воду, катились по песку, лягались, кусались, ржали; целый шквал всадников; кто его не видел, не может даже представить себе этой картины.

Мы снова переплыли Волгу и приняли участие в соколиной охоте на лебедей. Все это — охота, костюмы князя, княгини и ее придворных дам — производило какое-то средневековое впечатление и привело бы тебя в совершеннейший восторг, хоть ты и поклонник современности. Потом сели за стол. Начали с куриного бульона, который живое напомнил мне наши ужины в Сент-Ассисе; будь он сварен из ворона, сходство было бы полное. Остальные блюда, за исключением лошадиной головы, наченной черепашками, были заимствованы из европейской кухни. Одновременно с нами триста калмыков поедали во дворе мелко нарезанную сырую конину с луком, мясо двух коров и десять жареных баранов.

¹ Тебя, Бог, слышит (латин.). (Примеч. пер.)

Мне не довелось видеть свадебного пира Гамачо, но теперь, побывав на празднестве у князя Тюмена, я не жалею об этом.

Поверишь ли ты, что я ел сырую конину с зеленым луком и нашел ее необыкновенно вкусной? Не скажу этого о кумысе. Фу!!! Легли поздно вечером пили чай в шатре у княгини. У меня в саду мы будем пить чай в совершенно таком же шатре. Поскольку я был героем праздника, меня обрядили в шубу из черного каракуля. Два калмыка изо всех сил затянули на мне серебряный пояс, и талия у меня сделалась, как у Анны. Наконец мне вложили в руки хлыст, которым князь Тюмен одним махом убивает волка, хватив его по носу. Ты увидишь все это. Я одолжу тебе хлыст, чтобы прикончить Рускони, если он еще не помер.

Легли спать (о, это не такое простое дело!). Знаешь ли, с тех пор как я нахожусь в России, я в глаза не видел матраса. Кровать здесь — совершенно неизвестный предмет обстановки, и я видел кровати только в те дни, вернее — ночи, которые проводил с французками. Но имеются спальни с прекрасным паркетом, и со временем начинаешь понимать, что на паркете иногда не так уж плохо спится. Я предпочитаю всем другим сосновым, несмотря на то, что он вызывает не слишком веселые мысли.

На другое утро каждому из нас принесли прямо в постель большую чашу верблюжьего молока. Я проглотил его, вручив себя Будде. Скажу тебе по секрету, что Будда — ненадежный Бог, и, если бы его алтарь находился на открытом воздухе, я воздал бы ему должное. Наконец после завтрака я распрощался с князем Тюменом, потереившись своим носом о его нос, что означает по-калмыцки: «Твой навсегда», распрощался также и с княгиней, прочитав ей следующий экспромт:

Для царства каждого Бог начертал границы;
Там высится гора, а здесь река струится;
Но был Всевышний к вам исполнен доброты:
Степь он бескрайнюю вам дал, где в изобилие
И трав и воздуха. Вы царство получили,
Достойное и вас, и вашей красоты.

Сам понимаешь, что, когда эти стихи были переведены на калмыцкий, сестра княгини, Груша (по-нашему — Агриппина), захотела в свою очередь получить мадригал. Я тотчас же отчеканил ей следующее:

Распоряжается Господь судьбою каждый;
В глуши вы родились, мир одарив однажды
Улыбкой неземной и взором колдовским.
Так стали обладать пески счастливой Волги
Одной жемчужиной, а степь — цветком одним.

Все это вознаграждалось улыбками, которые ничуть не стали хуже оттого, что сияли не в Париже. Однако, как сказал своим собакам король Дагобер*, и с самой лучшей компанией рано или поздно приходится расстаться. Пришлося расстаться и с калмыцким князем, сестрой-колымачкой, с калмыцкими придворными дамами... Я было попытался потереться носом о нос княгини, но меня предупредили, что эта форма вежливости принята только между мужчинами.

Как я сожалел об этом!..»

Дюма никогда не отличался точностью, однако его рассказы по возвращении из России превзошли приключения Монте-Кристо. Хорошо выдумывать тому, кто прибыл издалека. Впрочем, какое это имеет значение? Слушатели были зачарованы. Он так увлекательно рассказывал, с таким пылом и такой убежденностью, что все верили, и прежде других — сам рассказчик.

Радость возвращения очень скоро остыла. Париж разочаровал Дюма. Новостившаяся в эти дни Селеста Могодар, бывшая танцовщица из «Балов Мабий», а в прошлом — наездница в цирке Франкони, ставшая благодаря капризу одного знатного сына графини де Шабрийян, застала его печальным. «Денежные затруднения мэтра, — пишет она, — угадывались по разбитым стеклам на картинах, по высоким и запыленным растениям, по грустно расквашившимся насестам, где уже не было разноцветных птиц...»

— Это ты, неверная? — спросил Дюма.

Она протянула ему руку. Он обнял ее.

— Я пожимаю руку только мужчинам, — заявил он.

У него был как раз Александр Дюма-сын. Он совсем не понравился гостье — она нашла его язвительным, ей показалось, что он твердо намерен удержать отца от всякой новой привязанности. Однако ловой Селесте удалось впоследствии стать подругой обоих Дюма. Она предпринимала отца, которого находила более «добрым и порывистым». Дюма-отец учил ее, как обеспечить себе душевный покой: лучше быть снисходительным и великодушным, говоря себе: «Я болван», чем бить себя в грудь, выкрикивая. «Mea culpa!» и твердя: «Я негодяй, подлец!» Она пришла показать ему свой роман «Эмигранты и ссыльные» и спросить, не согласится ли он отредактировать рукопись, поставить свое имя и разделить с нею гонорар.

— Нет, — ответил он, — я продлеваю это только с новичками. Кроме того, ты поступила бы лучше, взявшись за драму. В романах приходится делать отступления, это необходимо, но очень скучно... Гораздо легче сочинять для театра... Не надо рисовать пейзажи и портреты, не надо описывать наряды... Для этого существуют декораторы...

Тут же он предложил записать ее в качестве стажера в Ассоциацию драматических писателей, он даже согласился сам представить ее. Это было с его стороны большой любезностью: он терпеть не мог выезжать с официальными визитами и повязывать шею широким галстуком из черного шелка. Спускаясь вместе с ним по Амстердамской улице (Дюма нанял там небольшой особняк, который существует по сей день под № 77), Селеста отметила, что многие прохожие узнают седую курчавую гриву и почтительно приветствуют папашу Дюма.

— Как все эти люди рады вас видеть! — сказала она.

— Они приветствуют меня, — галантно ответил Дюма, — но восхищаются тобою.

На углу улицы Сен-Лазар он хотел нанять фиакр. Кучер оглядел пузатого великана, мысленно прикинул его вес и отказался «погрузить», опасаясь сломать рессоры своей колымаги. В это время мимо проходил один из друзей Дюма, он остановился и воскликнул:

— О, это вы, Дюма! А я как раз шел к вам!

Услыхав знаменитое имя, кучер просяял:

— А! Вы господин Дюма? Господин Александр Дюма? Садитесь! Я отвезу вас, куда вы пожелаете.

Селеста Могодар подметила, что великий человек небезразличен к таким маленьким изъявлениям народной любви. Они его глубоко трогали и заглушали его внутреннюю тревогу. Светское общество Второй империи относилось к нему не столь благосклонно, как общество времен Луи Филиппа. Принцесса Матильда заявляла теперь, «что он стал совершенно невыносим», что она всегда приглашала его к себе только как шута». Герцог Орлеанский и герцог Монпансье были более деликатны в своих речах и чувствах.

* Моя виа (латин.). (Примеч. пер.)

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Отец своего отца

Я знаю драматурга, чьи недостатки и достоинства почти в точности повторяет Дюма-сын, — это Дюма-отец.

Леон Блюм

К 1859 году оба Дюма — отец и сын — были одинаково знамениты. Они походили друг на друга чертами лица, шириной плеч, тщеславием. Но во всем остальном они были очень несхожи и подчас даже осуждали друг друга. «Я черпаю свои сюжеты в мечтах, — говорил Дюма-отец, — а мой сын находит их в действительности. Я работаю с закрытыми глазами — он с открытыми. Я рисую — он фотографирует. — И он прибавляет: — Александр не сочиняет свои пьесы, а разыгрывает их словно по нотам: перед глазами и luego слышанные нотные линейки». Отец создал великолепные образы Вершителей Правосудия, но его совсем не трогало то, что сам он отнюдь не праведник; сын даже в жизни играл роль великодушного Атоса.

Они нередко сорились. Сын упрекал отца, то тот плохо воспитал его: «Самой собой разумеется, я делал то же, что на моих глазах делал ты; я жил так, как ты научил меня жить». Он порицал отца — человека более чем зрелого — за долги и бесчисленные любовные связи. Иногда Александр Второй адресовал Александру Первому поистине отцовские упреки. В таких случаях седеющий старый сатирик сокрушенно опускал голову, а вечером отец являлся к сыну с дарами — с роскошными яблочками, подобно тому, как некогда являлся с дыней к Катрине Лабэ, чтобы вымолить у нее прощение.

Дюма-сын черпал в своих отношениях с Дюма-отцом сюжеты для пьес. Пьесы «Внебрачный сын» (1858) и «Блудный отец» (1859) автобиографичны в той мере, в какой это возможно для произведения искусства, то есть со значительными расхождениями. Дюма-отец аллодировал. Он знал, что сын любит его. Да сын и сам говорил об этом: «Ты стал Дюма-отцом для людей почтительных, папашей Дюма — для наглецов, и среди всевозможных выкриков ты порою мог расслышать слова: «Право же, сын куда талантливей, чем он сам». Как должен был ты смеяться!

Однако нет! Ты был горд, ты был счастлив, как всякий отец: ты хотел только одного — верить в то, что тебе говорили, и, быть может, верил. Дорогой великий человек, наивный и добрый, ты поделился со мной своей славой, та же, как делился деньгами, когда я был юн и ленив. Я счастлив, что наконец мне представился случай публично склониться перед тобой, воздать тебе почести на виду у всех и со всей сыновней любовью прижать тебя к груди перед лицом будущего...»

Забыв всю свою злость и все обиды, Дюма-сын видел в отце своего лучшего друга, своего учителя и даже ученика. Ибо старый писатель, живое чудо, переживал обновление. Подобно тому как сын глубоко изучил структуру отцовских драм, так и отец под влиянием сына все больше склонялся к реализму. Он отказался от своих королей и герцогинь ради буржуа и маленьких людей. «Мраморных дел мастер» — пьеса бытовая и простая; «Граф Ферманн» — это «Монте-Кристо» без мести, без тирад. У отца и сына была «семейная жилка», на которой держались их драмы и комедии. Оба — а в особенности сын — считали также, что писатель может и должен защищать определенные тезисы. Как раз это и возмущало Гюстава Флобера: «Заметьте, люди делают вид, будто путают меня с молодым Алексом. Моя «Бовари» стала «Дамой с камелиями». Вот те на!..» Гюго посвятил смерти Дюма-отца сравнил двух Дюма. «Отец был гений, — сказал

он, — и у него было даже больше гениальности, чем таланта. В его воображении рождалось множество событий, которые он вперемешку бросал в печь. Что вышло из отсюда — бронза или золото? Он никогда не задавался этим вопросом. Пыл его тропической природы не остывал оттого, что он расточал его на свои удивительные произведения; он испытывал потребность любить, отдавать себя, и успех его друзей был его успехом». «А Дюма-сын?» — спросил Гюго. «Тот совсем другой... Отец и сын находятся на разных полюсах. Дюма-сын — это талант, у него столько таланта, сколько его может быть у человека, но ничего, кроме таланта».

Такие же чувства примерно в 1859 году выразила графиня Даш. Вот что она сказала про Дюма-отца:

«На Дюма можно досадовать только издала. Являешься к нему в праведном гневе, в настроении самом враждебном; но, увидев его добрую и умную улыбку, его сверкающие глаза, его дружелюбно протянутую руку, сразу забываешь свои обиды; через некоторое время слыхиваешься, что их надо высказать; стараешься не поддаваться его обаянию, почти что боишься его — до такой степени оно смущает на тиранно. Идешь на компромисс с собой — решаешь выложить ему все, как только он кончит рассказывать.»

Он в одно и то же время искренен и скрытен. Он не фальшив, он лжет, подчас и не замечая этого. Он начинает с того, что лжет (как мы все) по необходимости, из лести, рассказывает какую-нибудь апокрифическую историю. Через неделю эта ложь, эта выдуманная история, становится для него правдой. Он уже не лжет, он верит тому, что говорит, он убедил себя в этом и убеждает других...

Чему никто не захочет поверить и что тем не менее истинная правда — это баснословное постоянство великого романиста в любви. Заметьте — я не говорю верность. Он установил коренное различие между этими двумя словами, которые, по его мнению, не более схожи между собой, чем определяемые ими понятия. Он никогда не способен был бросить женщину. Если бы женщины не оказывали ему услугу, бросая его сами, при нем и по сей день состояли бы все его привязанности, начиная с самой первой. Никто так не держится за свои привычки, как он... Он очень мягок, и им очень легко руководить, он нисколько не возражает против этого.

Дюма искренне восхищается другими. Когда заходит речь о Викторе Гюго, его физиономия оживляется, он счастлив, превозносил Гюго, он крепко сцепился с теми, кто стал бы ему перечить. И это не наиграно — это правда. Он и себя ставит в тот же первый ряд, но хочет, чтобы и Гюго непременно стоял бок о бок с ним. Он испытывает потребность разделить с Гюго финиш, воскуряемый им обним. Гюго и некоторые другие составляли часть его славы, без них она показалась бы ему неполной...»

А о Дюма-сыне та же писательница заметила:

«Дети кандитеров и пирожников не бывают лакомками. Сын Александра Дюма, банкира всех тех, кто никогда не отдавал долгов, не мог бросать на ветер ни своих эку, ни своей дружбы. Крайняя сдержанность Александра — следствие полученного им воспитания и тех примеров, которые он видел. Жизнь его отца для него — фонарь, горящий на краю пропасти.»

Дюма-сын прежде всего — человек долга. Он выполняет его во всем... Вы не найдете у него внезапного горячего порыва, свойственного Дюма-отцу. Он холоден внешне и, возможно, охладил душой с того времени, как в его сердце угас первый пыл страстей.

Его юность — я едва не сказала: его отрочество — была бурной... Он остепенился с того момента, как к нему пришел успех. Он стал зрелым человеком за одни сутки, в свете рам-

пы, под гром аплодисментов. Теперь это человек рассудительный и рассуждающий; подчас выявляющий свои ресурсы, ничего не делающий с налету, излучающий людей и вещи, остререгающий всяких неожиданностей и увлечений и опаской привычек, даже если они приятны и сладостны.

Он человек чести. Он выполняет свои обещания... Он серьезен, пологителен; он экономит, помещает деньги в банк, интересуется биржевыми курсами и подготавливает свое будущее. Его мечта — жить в деревне. Он уже теперь помышляет об отдыхе и покое...

Он недоверчив. Он весьма невысокого мнения о роде человеческом. Он доискивается до причин всего, что видит... Ирония его глубока; он не насмехается — он жалит. У него есть друзья, которые любят его сильнее, чем он любит их. Его профессия — разочарование, горький плод опыта...

Неизменный предмет его нападок — страсть, как ее понимали двадцать пять лет тому назад. Женщины непонятые и неистовые не вызывают у него никакого сочувствия. Он готов сказать им, когда они плачут: «Что вы этим хотите доказать?»

Отец и сын были блистательными собеседниками, но разного стиля. Дюма-отец, говоря, сочинял, как бы набрасывал главу из романа.

«Я слышал, — вспоминает доктор Меньер, — как Александр Дюма рассказывал о Ватерлоо генералам, которые были в сражении. Он говорил без умолку, объяснял, где и как стояли войска, и повторял произнесенные там героические слова. Одному из генералов удалось наконец перебить его:

— Но все это не так, дорогой мой, ведь мы там были, мы...
— Значит, мой генерал, вы там решительно ничего не видели...»

Дюма-сын, не столь многолюдный, достигал того же эффекта своими едкими, нередко блестящими остротами.

Дневник Гонкуров, 20 мая 1868 года:

«Сегодня вечером у принцессы мы впервые услышали остроты Дюма-сына. Остроумие у него грубое, но неискажаемое. Своими ответами он рубит направо и налево, не забывая о вежливости; его аллопм граничит с наглостью и обеспечивает его словам неизменный успех; и ко всему примешивается жестокая горечь... Однако бесспорно, что остроумие у него самообытно, жалкое, колочее, живое, на мой взгляд, оно выше сортом, чем то, которым насыщены его пьесы, благодаря краткости и отточности, отличающим его только что родившиеся остроты...»

Он защищал тезис, что у всех без исключения людей все чувства и впечатления зависят от состояния желудка — хорошего или плохого; в подтверждение он рассказал об одном из своих друзей, которого он привел к себе обедать в день смерти жены этого человека, горячо любимой жены. Он положил ему кусок мяса, но гость вдруг протянул свою тарелку и с нежной мольбой в голосе сказал:

— Дайте, пожалуйста, кусочек пожирнее!

— Что поделаешь, желудок! — добавляет Дюма. — У него был великолепный желудок; он не мог испытывать сильную скорбь... Вот и Маршал... Маршал при его желудке никогда не умел огорчаться...»

Частная жизнь Дюма с зеленоглазой киянкой была легкой. Но он по-прежнему восхищался «русскими дамами, которых Прометей, должно быть, сотворил из найденной им на Кавказе глыбы льда и солнечного луча, похищенного у Юпитера... женщинами, обладающими особой тонкостью и особой интуицией, которыми они обязаны своей двойственной природе — азиаток и европеек, своему космополитическому любопытству и своей привычке к лени... энциклопедическими существами, которые говорят на всех языках... охотятся на медведей, питаются одними

конфетами, смеются в лицо всякому мужчине, не умеющему подчинить их себе... самками с низким певучим голосом, суверенными и недоверчивыми, нежными и жестокими. Самоубийство почвы, которая их вырастила, неизгладима, она не поддается ни анализу, ни подражанию...»

Эпоха накладывает свою печать на характеры. Дюма-отец поднялся на подмошки в те дни, когда фортуна щедро раздавала дары. Скуачающий Париж 1828 года завоевать было легко. Только-только минули времена, когда солдат за четыре года становился генералом. Люди торопились все увидеть и всем овладеть. Всякая экстравагантность была по вкусу, ибо действительность превосходила самую смелую фантазию Дюма-отца, бесшабашная богема, сочетающий в себе патетику и юмор, невзначай стал драматургом. Сын лелеял другой честолюбивый замысел: он хотел заставить людей отказаться от укоренившегося мнения, что Дюма — это несерьезно, и убедить их, что драматург может быть порядочным человеком в классическом смысле этого слова. Он стал защитником того, чего ему более всего недоставало — семьи; безжалостным противником всего, что его оскорбляло, — прожитой жизни, куртизанок, адюльтера.

К тому же все больше страданий причиняли ему скандальные выходы отца. В 1858 году разыгрался тягостный процесс, в котором противниками выступали Дюма и его бывший соавтор Маке. За десять лет до того Маке дал Дюма нечто вроде дарственной на все прежние произведения, но лишь в виде аванса за будущее сотрудничество, которого Дюма не продолжал. Дюма-отец, содержащий целый гарем и кормивший десяток бывших и настоящих привязанностей, растратил вместе со своей долей авторского гонорара и то, что причиталось Маке — расчетливому буржуа, который довольствовался одной подругой (замужней женщиной, отбитой им у мужа), был ей верен и прятал ее в деревне, чтобы не скомпрометировать. Отчаявшись, он в конце концов начал процесс против Дюма, требуя, чтобы тот признал за ним авторство «Трех мушкетеров», «Графини де Монсоро», «Графа Монте-Кристо» и всех других романов.

Многие взяли его сторону. Бывший главный редактор газеты «Ле Сьекль» Шарль Матарель де Фьенн писал ему:

22 января 1858 года:

«Дорогой господин Маке! Пишу несколько строк, чтобы сообщить Вам, что я только что прочел отчет о Вашем процессе и что мое свидетельство может исправить одну ошибку. В 1848 году «Ле Сьекль» публиковал «Виконта де Бражелона». Как-то раз в шесть часов вечера мне сообщили, что фельетон (за ним ездили в Сен-Жермен, к Александру Дюма) утерян! Но «Сьекль» не мог выйти без фельетона... я знал обоих авторов: один жил в Сен-Жермене, другой в Париже; я отправился к тому, кто был прав. Вы как раз собирались сесть за стол. Вы были столь добры, что не стали обедать и устроились в кабинете дирекции. Я как сейчас вижу Вас за работой: Вы писали, отпивая попеременно то бульон из чашки, то бордо, которое редакция удепила Вам от своих щедрот. С семи часов до полудни ко мне непрерывно поступал лист за листом. Каждые четверть часа я передавал их наборщику. В час ночи вышла газета, где была глава из «Бражелона». На следующий день мне принесли сен-жерменскую рукопись — она была найдена на дороге. Разница между текстом Маке и текстом Дюма составила не более тридцати слов — на все пятьсот строк, которые насчитывал отрывок!»

Такова правда. Делайте с этим заявлением все, что Вам угодно. На тот случай, если мои воспоминания будут сочтены неточными, я просил заведующего редакцией, мастера наборного цеха и корректора засвидетельствовать факты...»

Заявление Фьенна сочли бездоказательным, и Маке проиграл процесс. Но переговоры между соавторами продолжались. Эти два человека нуждались друг в друге. Безупречный Ноэль Парфэ сделал попытку вмешаться.

Ноэль Парфэ — Дюма-отцу, 6 октября 1860 года:

«Я твердо, искренне верю в то, что, советуя тебе вновь сойтись с Маке, даю хороший совет — никто из людей, любящих тебя, не осудит меня за это... Скажи только слово — и дело будет сделано, я на это надеюсь. Кому, как не тебе, пристало уступить доброму побуждению? Я был бы несказанно удивлен — ведь я хорошо знаю тебя — тем, что ты ведешь процесс против Маке, если бы не подозревал причину в твоём дурном окружении. Вырвись наконец из когтей деловых людей, стань опять самим собой, то есть добрым, превосходным Дюма, готовым открыть свое сердце даже тому, кто, быть может, не сразу его распознал...»

Дюма-отец было согласился, но потом одумался:

Дюма-отец — Дюма-сыну, Неаполь, 29 декабря 1860 года:
«Маке — человек, с которым я больше не желаю иметь ничего общего.»

Маке по договоренности получал за меня гонорар и должен был его тут же мне передать, но, вместо того чтобы оставить себе третью часть денег за «Амлета»¹, в создании которого он никогда не участвовал, и две трети денег за «Мужкетеров», он присвоил все. В моих глазах он — вор.

Мои книги принадлежат мне, и мне они стоят довольно дорого. Это ваша собственность, твоя и твоей сестры, и, для того чтобы никто этого не оспаривал, я в один прекрасный день продам их тебе, за что нам придется уплатить лишь налоговые сбор. Но пока я жив, мой приятель Маке не будет иметь ничего общего ни со мной, ни с моими книгами».

Ноэль Парфэ Дюма написал как раз обратное:

«Покажи Маке твое письмо и скажи, пожав его руку, что ничто не могло доставить мне большего удовольствия, чем твое предложение...»

Все эти грязные тяжбы претили Дюма-сыну. Приданое, обещанное отцом его сестре (120 тысяч франков), так и не

было выплачено, и это ставило в очень трудное положение Мари, которая жила в Шатроу, у своей свекрови, госпожи Петель, — та с утра до вечера попрекала невестку бедностью. Поскольку Дюма-отец всегда пребывал в путешествиях или в нежном уединении с какой-нибудь юной дивичкой, Дюма-сыну приходилось вести за него процессы, унижать журналистов. Иногда он роптал. Санд успокаивала его.

Жорж Санд — Дюма-сыну, Ноан, 10 марта, 1862 год¹:

«Поверьте, что избыток таланта папаша Дюма обязан лишь той расточительности, с какою он его тратит. Да, у меня невинные склонности, но я создаю вещи простые, как дважды два. А его, человека, который носит в себе целый мир событий, героев, предателей, волшебников, приключений; человека, олицетворяющего собой драму, — не думаете ли Вы, что невинные склонности погубили бы его как писателя, погасили бы его фантазию? Ему необходимы излишества, чтобы непрестанно поддерживать огонь в очаге жизни. Право же, Вам не удастся изменить его, и на Вас ляжет бремя двойной славы — его и Вашей: Вашей — со всеми ее плодами, его — со всеми шипами. Что подумаете! Он передал Вам свое большое дарование и потому считает себя в расчете с Вами... Это жестоко, да и трудно — волей-неволей становиться иногда отцом своего отца...»

Как было не питать глубокой привязанности к этому великопленному человеку? С массивной золотой цепью на белом пикейном жилете, обтягивавшем огромный живот, он сидел в театре и рукоплескал «Блудному отцу»; когда публика вызывала автора, он стоя аплодировал сыну и своим радостным, гордым видом словно говорил всем: «Знаете, ведь эту пьесу написал мой мальчик!»

Мальчик в свою очередь восхищался отцом, обожал его: «Он такой, какой есть, не осознавая себя. По этому узнаете настоящего самобытного гения!». Того, что отец расточителен и беспутен — увы! — нельзя было отрицать. Но сын не сомневался в том, что это лучший из людей, а из писателей — самый великодушный в наиболее полном смысле этого прекрасного слова. И в хорошие дни его жизни это делало его счастливым.

Часть восьмая

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА

Всякая роскошь укорачивает жизнь.

Ален

ГЛАВА ПЕРВАЯ, в которой Дюма-отец завоевывает Эмилию в Италии

Начиная с 1860 года Дюма-отец снова лелеял мечту покинуть Париж и Францию. Из каждого своего путешествия он привозил огромный ворох «Впечатлений», который без труда заполняли от четырех до шести томов. Приключения развлекали и обогащали его. Двойная выгода. Сочинители эпилграмм высмеивали путешественника:

Дюма скитается по свету,
Чтоб путевые впечатления
Весьма подробно описать.
Народ — в восторге! И за это
Хотел бы он без промедленья
Подальше автора послать.

У расточительного Дюма был тогда — о чудо! — текущий счет. Он только что заключил с издателем Мишелем Леви договор на все свои произведения, согласно которому ему причитался аванс в сто двадцать тысяч франков золотом. Любой другой на его месте остался бы богачом до конца своих дней. Но для Дюма такая туго набитая мошна была соблазном. Как бы опустошить ее? Нет ничего проще. Почему бы и ему не совершить, подобно Ламартину и Шатобриану, путешествие на Восток? Это позволило бы ему удовлетворить давнишнее любопытство и увезти подальше от Парижа любимую женщину.

И на сей раз его избранницей была актриса — белокурая и хрупкая Эмилия Кордье. Ее отец мастерил деревянные бабки для водоносов. В детстве она часто хворала и, лежа в постели, зачитывалась книгами Виктора Гюго, Балзака, а в особенности Дюма-отца, которого обожала. Когда она не-

¹ Драма в 5 актах, 8 картинках, представленная в Историческом театре 15 декабря 1847 года.

много окрепла, родители отдали ее в ученье, сначала к белошвейке, а затем — на Центральный рынок. Но Эмилия страстно мечтала поступить в театр. В 1858 году приятельница ее матери привела Эмилию к Дюма в надежде, что он даст ей какую-нибудь маленькую роль. Путешественник уезжал тогда в Россию, но он не забыл красивую девушку и по возвращении, в 1859 году, написал ей, приглашая зайти к нему в его маленький особняк на Амстердамской улице, 77. Эмилия пришла и осталась. Ей было тогда девятнадцать лет, Дюма — пятьдесят семь. Вскоре она обнаружила пыл вакханки, и это привязало к ней Дюма — ненасытного любовника. К несчастью, ее артистический темперамент значительно уступал ее женскому темпераменту.

Дюма, как всегда, naïвно полагал, что его дочь (чей брак оказался неудачным) станет подругой его любимой; однако Мари Петель, верная своей методе, все путала, якобы по ошибке, посылала телеграммы туда, куда их нельзя было посылать, роняла в самых опасных местах наиболее компрометирующие письма и повсюду сеяла разлад. Надо было уезжать.

Весною 1860 года Дюма, построивший себе в Марселе небольшую шхуну «Эмма» (обыкновенную лодку с палубой), сел на нее в обществе Эдуарда Локруа, Ноэля Парффа и очень красивого создания в костюме опереточного матроса, которое на судне все звали Адмиралом. Это была Эмилия Кордье. Дюма выдал ее то за своего сына, то за племянника.

Путешествие началось очень весело. Единственная на шхуне каюта была такой низкой, что великан каждый день расшибал себе лоб. Дюма стряпал, болтал, наслаждался любовью. Зайдя в Геную, он узнал, что Гарибальди, борясь за независимость Италии, собирает отобрать у Бурбонов Сицилию и Неаполь, чтобы вернуть их Италии (которой, как он надеялся, удастся восстановить свою территориальную целостность). Дюма знал Гарибальди. Ему импонировали гордый взгляд, рыжая борода, *roposco*¹, привезенный из кампаний в Южной Америке. Он ездил к Гарибальди в Турин и собирался писать о нем книгу. От генерала Дюма он унаследовал справедливую ненависть к неаполитанским Бурбонам. Он решил поддержать благородное начинание Гарибальди. Что он искал в Италии? Ничего. Но, как говорит Шарль Гюго, Дюма никогда не упускал случая вмешаться в знаменательные события. Если где-нибудь ему встречалось временное правительство, он обращался к нему, не церемонясь, на правах старого друга. Он входил, раскрывая объятия, и восклицал: «Добрый день! О чем идет речь? Я к вашим услугам». Он считал себя настолько знаменитым, что надеялся везде быть желанным гостем.

«Революция — его профессия, — писал Шарль Гюго. — Борьба за национальное освобождение — его конек. В Париже, Риме, Варшаве, Афинах, Палермо он по мере сил помогал патриотам, когда они оказывались в отчаянном положении. Он дает советы мимоходом, с видом человека крайне занятого, и пусть люди спешат ими воспользоваться, ибо до конца недели он должен сдать еще двадцать пять томов. Таков Дюма в политике. С событиями он коротко, как знаменитость, и церемонная госпожа История в часы досуга дружески похлопывает его по плечу, говоря: «Милейший Дюма!»»

Немедленно были составлены планы кампании. Два корабля, а также «Эмма» перебросят войска на берега Сицилии. Англичане, которые держат там свои военные корабли, будут сохранять более чем благожелательный нейтралитет. Меньше чем через месяц после отплытия из Марселя Дюма оказывается уже в Палермо. Гарибальдийская тысяча встречает у сицилийцев восторженный прием. Вот что один из соратников Гарибальди рассказывает о прибытии Дюма:

«Возвращаясь во дворец Преторио, мы перебирались через баррикаду, как вдруг увидели шедшего нам навстречу очень красивого человека, который по-французски приветствовал генерала [Гарибальди]. Этот здоровак был одет во все белое, голову его покрывала большая соломенная шляпа, украшенная тремя перьями — синим, белым и красным.

— Угади, кто это? — спросил меня Гарибальди.
— Кто бы это мог быть? — ответил я. — Луи Блан? Лед-рю Роллен?

— Черт с два! — смеясь, возразил генерал. — Это Александр Дюма.

— Как? Автор «Графа Монте-Кристо» и «Трех мушкетеров»? — Он самый.

Великий Александр заключил Гарибальди в объятия, всячески выражая свою любовь к нему, затем вместе с ним вошел во дворец, громко разлагостывая и смеясь, словно он хотел наполнить здание раскатами своего голоса и смеха.

Объявили, что завтрак подан. Александр Дюма был в сопровождении щуплой гризетки, одетой в мужское платье, вернее — в костюме адмирала. Эта гризетка — сплошные гримасы и ужимки, настоящая жеманница, без всякого стеснения уселась по правую руку генерала, как будто иначе и быть не могло.

— За кого принимает нас этот знаменитый писатель? — спрашиваю я своих соседей по столу. Правда, поэтам дозволяются некоторые вольности, но то, что разрешил себе Дюма, посадив эту ничтожную дочь греха рядом с генералом, не может быть дозволено ни людям, ни богам.

Великий Александр ел как поэт и оказался столь речистым, что никому не удалось и рта раскрыть. Следует сказать, он говорил не хуже, чем писал, и я слушал его затаив дыхание...»

Адмирал ожидал ребенка. За несколько недель до изложенных событий Дюма написал своему другу Роблену: «Дорогой Роблен! Я обращаюсь к тебе как к человеку, который имел четырнадцать детей и, познав это несчастье, должен сочувствовать другим. Та крошка, которую ты видел у меня в доме, днем щеголявшая в костюме мальчика, ночью становилась женщиной. Однажды, в бытность ее женщиной, с ней произошел несчастный случай, который в следующем месяце дал себя знать. Г-н Эмиль исчез, а м-ль Эмилия беременна и, следовательно, вынуждена через два месяца покинуть меня, а я буду продолжать свое путешествие один. Между 15 и 20 июля она приедет в Париж. Не мог бы ты к этому времени подыскать ей небольшую мебелированную квартиру за городом, поблизости от тебя?.. Ответ, дорогой друг, пришли мне по почте на Мальту. Завтра или послезавтра мы отплываем в Палермо... Само собой разумеется, что м-ль Эмилия, как только она вновь станет г-ном Эмилем, сразу же вернется ко мне...»

Дюма хотел жить по принципу «продолжение в следующем номере». Одержав победу в Сицилии, Гарибальди намеревался переплыть мессинский пролив и выступить походом на Неаполь. У него не хватало оружия, боевых припасов и не было денег, чтобы купить все это. У Дюма пока еще оставалась его шхуна и пятьдесят тысяч франков; с обычной для него великодушием щедростью он предоставил все это в распоряжение «Italia Una»². Гарибальди принял предложение. 7 сентября 1860 года Дюма, без сюртука, в красной рубашке, вступил в Неаполь. Королевское семейство некогда заключило в тюрьму и подвергло пыткам его отца; он изгнал это семейство из столицы. Прекрасная, но запоздавшая месть в стиле Эдмона Дантеса.

¹ Накладка (исп.). (Примеч. пер.)

² Единая Италия (итал.). (Примеч. пер.)

В Неаполе Гарибальди назначил Дюма смотрителем античных памятников и предоставил ему в качестве «служебной квартиры» Кьятамоне — летнюю резиденцию короля Франциска II. Дюма торжествует. Он руководит раскопками Помпеи. Он основывает газету «L'Independente». Неаполитанцев забывает (поначалу) этот грузный человек, щедрый и веселый. Для него начинается новая жизнь, которая позволяет ему забыть о неблагодарности французоз.

24 декабря 1860 года Адмирал Эмиль произвела на свет в Париже маленькую девочку, «доймовочку», Микаэлу-Клелию-Жозефу-Элизабету. Селеста Могадор, графиня Шабрийна, была крестной матерью; Джузеппе Гарибальди, через поверенного, — крестным отцом.

Дюма-отец — Эмилии Кордые:

«Да пребудут с тобою радость и счастье, ненаглядная любовь моя!.. Ты знаешь, что я как раз хотел девочку. Скажу тебе почему: я больше люблю Александра, чем Мари, — ее я вижу едва ли раз в год, Александра же могу видеть сколько мне хочется. Всю ту любовь, какую я мог бы питать к Мари, я перенесу, таким образом, на мою дорогую крошку Микаэлу.»

В феврале 1861 года Эмилия уже была в состоянии приехать к Дюма в Неаполь, некоторое время спустя вслед за нею прибыла кормилица с ребенком. Эмилия взяла на себя роль хозяйки дворца.

Объем работы, которую Дюма выполнял в то время для своей газеты, поистине ошеломляет. Политические редевизи, заметки на различные темы, известия из Рима, длинные исторические статьи о легендарной Искии*, о Дандоло** и, разумеется, фельетон — все выходило из-под его пера. Большие листы голубоватой бумаги, которые он исписал тогда своим писарским почерком, могли бы составить пятнадцать-двадцать томов. Здесь можно найти воззвания, полемикку, подстрекательские статьи:

«Двести учащихся школы живописи пришли поблагодарить нас за то, что мы взяли их сторону против преподавателей, видимо забывших, к чему их призывает долг...»
«Пусть муниципалитет даст мне участок, и я, Дюма, найду сто тысяч дукатов, чтобы построить для вас театр...»

Одновременно Дюма собственноручно писал историю неаполитанских Бурбонов в одиннадцати томах, роман («Сан-Феличе»), «Воспоминания Гарибальди». Бенедетто Кроче очень похвально отзывался об одной брошюре Дюма, написанной по-итальянски; она датирована 1862 годом и поднимает вопрос «О происхождении разбоя, причинах его распространения и способах уничтожения». Из этой брошюры явствует, что человек, которого многие считали легкомысленным, лучше всяких экспертов проанализировал конкретные условия для проведения аграрной реформы в Южной Италии.

Плодотворность писателя была по-прежнему неиссякаема; непрерывающаяся битва человека с недоверием способна была привести в отчаяние. Даже Портос и тот нашел бы эту глбу слишком тяжелой.

Дюма-сын — Жорж Санд, 22 августа 1861 года:

«Я получил письмо от папаша Дюма; и он уже потерял мужество. Вот что он пишет: «Десять тысяч нежнейших приветов нашей приятельнице, она не стареет и все так же умело пользуется бумагой, пером и чернилами, а меня они убивают...» Если папаша Дюма примется сообщить мне свои черные мысли, это будет смешно. Напишите моему отцу и дайте ему все те советы, какие Вы вправе дать, а я — нет... Расскажите ему, какой образ жизни сохраняет Вам молодость и талант, и быть может, он ухватится за протянутую ему руку помощи. Он такой сильный, а первое побуждение всегда так благородно...»

Что пользы быть сильным, когда другие слабы? Кавур, верный слуга Савойского дома, почел своим безотлагательным долгом выступить против Гарибальди, который, так же как он, стремился к единству Италии, но опирался на республиканцев. Гарибальди был в нерешительности. Дюма, «более гарибальдиец, чем сам Гарибальди», был противником Кавура*. Французскому консулу в Ливорно он заявил (тог передал содержание этого разговора в депеше своему министру), что хотел бы изгнать из Неаполя не только Бурбонов, но и нового короля Виктора-Эммануила.

— *В драме, — сказал Дюма консулу, — когда какой-нибудь персона уже полностью использован, когда его роль исчерпана, закончена, от него ловко избавляются — его уничтожают. Как раз это мы и собираемся сделать...*

— *Но когда вы прогоните пьемонтцев, кто же сядет на их место?*

— *Мы, дорогой мой, мы!*

— *Кто это — мы?*

— *Гарибальди...*

— *Но что вы делаете с Италией?*

— *Мы, дорогой мой, организуем в Италии федеративную республику».*

Жорж Санд, чувствуя, что он несчастен, предложила ему приехать отдохнуть в Ноан; папаша Дюма прислал ей мрачное и пессимистическое письмо-отказ.

Дюма-сын — Жорж Санд, 12 сентября 1862 года:

«Право же, мой отец стал капризен. Что заставило его так измениться? Вы, дорогая матушка, сделали больше, чем могли, и, быть может, все сложилось к лучшему. Бог знает, что натворила бы эта дикая птица в Вашем воробьином гнезде. Оставьте его в покое. Он вернется к нам, когда ему подобиют крыло».

Что касается нашего друга Гарибальди, то в прошлом году я писал Дюдьде: «Я, право же, боюсь, как бы мой герой не пополнил». Я не ошибся. Между нами говоря, он не из того теста, из которого сделаны поистине великие люди. Люди, возрождающие общество с помощью шагаи, не столь речисты. «Бог толкает меня», — говорил Атилла и шел вперед. Этот же, едва добравшись до какого-нибудь балкона, сразу начинает произносить речи, а любой листок бумаги побуждает его написать прокламацию. Это поэма Дандо, оконченная Вьеннз*. Ради его [Гарибальди] доброго имени я хотел бы думать, что эта развязка была заранее обусловлена с Виктором-Эммануилом и что он сказал королю: «Я слышном много говорил. Я слышном много обещал. Я вынужден идти вперед. Арестуйте меня с оружием в руках, помешайте мне зайти еще дальше». Они дадут друг другу честное слово; Гарибальди получит какой-нибудь лен; из него сделают итальянского Аод-Эль-Кадера*, и все будет кончено. Бог не допустит, чтобы он кончил публикацией своих «Воспоминаний» с предисловием Жюльа Леконта! Впрочем, я за это не поручусь...»

Увы! Неблагодарность — распространянный порок. Народ Неаполя, забыв о щедрой помощи Александра Дюма, устроил демонстрацию перед его дворцом, выкрикивая: «Вон, чужеземец! Дюма — в море!» Добрый великан залился слезами: «От Италии я не ждал такой неблагодарности». Но пять минут спустя вновь принялся философствовать. «Требовать от человеческой природы благодарности, — заявил он, — все равно что пытаться заставить волка стать травоядным». После того как Гарибальди передал Неаполь и Сицилию Виктору-Эммануилу II, Дюма установил, что в окружении короля не видно ни одной красной рубашки. Те, чьими руками все было сделано, оказались не в чести. Так бывает всегда.

В октябре 1862 года Дюма начал соблазнять другой проект — грандиозный и иммерсией. Некий князь Скандерберг,

¹ Независимый (итал.). (Примеч. пер.)

президент Греко-Албанской хунты, написал ему из Лондона, прося его сделать для Афин и Константинополя то же, что он сделал для Палермо и Неаполя. Решать все-навсего о том, чтобы изгнать турок из Европы. Дюма предоставил в распоряжение «Девятого крестового похода» свою шхуну «Эмма» и те деньги, которые у него еще оставались. Взмахнул он был произведен в чин «суперинтенданта военных складов христианской армии Востока». Титул столь же лестный, сколь эфемерный, ибо князь Скандерберг оказался обыкновенным жуликом.

Максиме дю Кан, гостивший в то время у Дюма в палатце Кьятаме, восхищался наивным долготерпением этого поддески добродушного геркулеса, его неизменно улыбающимся лицом, его большой головой, увенчанной копной курчавых седеющих волос. Он продолжал раскопки в Помпее. «Вот увидите, — заверял он Максима дю Кана, — сколько мы там найдем. Ударом заступа мы извлечем из мрака всю античность». Но в конце концов и он устал. Гарибальди уехал из Неаполя; местные жители не простили Дюма его благодетельства. Он решил вернуться в Париж. Несмотря на все его фокусы, Франция вовсе не так уж плоха. Сойдя с поезда в десять часов вечера, после недельного путешествия, Дюма попросил сына ответить его в Нейи, к их другу поэту Теофилю Готье. — Но, папа, уже поздно, и ты ведь устал с дороги! — Кто, я? Я свеж, как роза.

Готье уже спал. Дюма принялся громко звать его. Добряк Тео показывал в окне и запротестовал.

— У нас уже все легли спать! — сказал он.

— Бездельники! — заявил Дюма. — Разве я когда-нибудь ложусь в это время?

Проболтали до четырех часов утра, затем Дюма-сыну, вконец измученному, удалось пешком увести отца к себе, на Елисейские поля. Все то время, что они шли по проспекту Нейи и проспекту Великой Армии, отец без умолку говорил. Они добрались до дому в шесть часов утра. Дюма сразу потребовал лампу.

— Лампу — для чего?

— Чтобы ее зажечь: я собираюсь сесть за работу.

На другой день он временно поселился на улице Ришелье, 112, и снова вошел в обычный для него ритм фантастической симфонии. Он заканчивал одновременно два романа: «Гарибальдийцы» и «Сан-Феличе». Эмилия Кордье выпала из его жизни. Она слишком настойчиво говорила о браке, а Дюма не испытывал никакого желания вновь повторять этот опыт. Он предложил узаконить крошечку Микаэлу, которую он называл Беба и которую нежно любил. В этом случае он уравнивал бы ее в правах с Александром Дюма-сыном и Мари Петель.

Эмилии нужен был брак — или ничего. Досаду на то, что на ней не женился ее «соблазнитель», которому, по ее словам, она «принесла в жертву цветок своей невинности», и опасаясь, что она потеряет права на ребенка, которого она зарегистрировала, она восстала против проекта Дюма, лишь бы, таким образом, бедняжку Микаэлу ее доли наследства. Ибо после смерти расточителя и оплаты наследниками его долгов гонорары Александра Дюма-отца! должны были составить значительные суммы до тех пор, пока действовало бы посмертное авторское право.

Поссорясь с «Адмиралом в отставке», Дюма несколько месяцев спустя узнал, что молодая женщина произвела на

свет близнецов, отцом которых был ее богатый покровитель из Гавра по фамилии Эдвардс.

Дюма-отец — Эмилии Кордье:

«Я тебя прощаю... В нашей жизни произошел несчастный случай, вот и все. Но этот случай не убил мою любовь. Я тебя люблю с прежней силой, но только так, как любят нечто утраченное, мертвое, некую тень...»

Он не перестал из-за этого уделять нежное внимание Микаэле, его «ненаглядной Беба», и задиривал ее кулаками, вступая с надписями, а впоследствии просто деньгами. Князьки в возраст деда, этот неверный возлюбленный стал прекрасным отцом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Дорогой сын — дорогая матушка

Великий блестящий сын...

Жорж Санд

Когда в 1851 году Дюма-сын отыскал в городке на польской границе письма Санд к Шопену и добыл их для нее, она сделала попытку завлечь его в Ноан. Быть может, она даже тайла надежду привязать к себе этого великолепного парня более интимными узами. Но поскольку жизнь Дюма-сына заполонила и заполнила тридцатилетняя княгиня Нарышкина, пятидесятилетняя Жорж Санд не оставалось ничего другого, как принять его в качестве бесконечно дорогого сына. В своих первых письмах он обращался к ней: «Госпожа» и «Дорогой изтр». После того как она написала ему: «Я принимаю Вас в число моих сыновей», — он ответил: «Дражайшая матушка...» Отныне роли были четко определены. Иногда она встречалась с ним в Париже. Но княгиня, очень дичившаяся людей, держалась вдали от света. В 1859 году она продала виллу в Люшоне и сняла недалеко от Клеры (Сена-и-Марна) замок Вильюра. Несмотря на то что это грандиозное сооружение насчитывало сорок четыре комнаты, Надежда жила в одной комнате с Ольгой — так она боялась, чтобы князь Нарышкин (приехавший в Съез, на озере Леман, «для поправки здоровья») не организовал похищение дочери.

Вспомнили ли когда-нибудь Александр Дюма и Надежда Нарышкина о Лидии Нессельроде, которая, будучи избранницей Александра и подругой Надежды, по сути дела, толкнула их друг к другу, поручив своей напернице сообщить обманутому любовнику об окончательном разрыве? Одно удивительное известие неожиданно оживило их воспоминание о Лидии. Бывшая графиня Нессельроде, вторично выйдя замуж, стала в феврале княгиней Друцкой-Соколинской. Она не посчиталась с волей царя (официально воспретившего этот двойной развод в среде высшей придворной знати) и перед алтарем маленькой церквушки в деревне, принадлежавшей Закревскому, вынудила ничего не подозревавшего попа совершить незаконный обряд венчания. Князь Нессельроде — своему сыну Дмитрию, 18-30 апреля 1859 года:

«Свадьба Лидии — свершившийся факт, подтвержденный признанием самого Закревского, который содействовал этому браку. Он благословил новобрачных и снабдил их заграничными паспортами. Император вне себя. Закревский более не московский губернатор; его сменил Сергей Строганов. Вот все, что мне покамест известно... Будучи не в силах появиться вчера при дворе, я не видел никого, кто мог бы сообщить мне достоверные подробности о впечатлении, сделанном этой катастрофой. Подробности необходимы мне для того, чтобы я мог посоветовать тебе, как действовать

¹ Позиция Эмилии объясняется в следующем: благодаря тому что Дюма узаконил своего сына, его удалось в 1831 г. отнять маленького Александра у беззачинной Катрины Лаб. Адмирал упоминает об этом случае в письме к Пьеру-Франсуа Кордье. Она не хочет, чтобы ее лишили «материнских прав» внебрачный отец, имеющий предпочтительное право перед матерью (незамужней).

дальше. Предпримет ли правительство что-нибудь? Или же тебе со своей стороны придется принять меры, подать прошение в синод, чтобы испросить и получить развод?...»

Отчаянная и сумасбродная Лидия решила слушаться императора всея Руси и тем погубила карьеру собственного отца. Безжалостная отставка генерала Закревского позволяет понять, почему князь Нарышкин так противился разводу. Что касается Надежды, то она надеялась покорностью царю выгородить себе право на свободный союз, то есть возможность жить во Франции со своим французом, не порывая связей с Россией. Час выбора пробил в 1860 году, когда княгиня Нарышкина забеременела от Александра Дюма-сына. Она стыдливо скрывала свою беременность в провинции, но рожать собиралась в Париже, чтобы прибегнуть к услугам знаменитого гинеколога доктора Шарля Девилье. Она сняла под вымышленным именем «Натали Лефевюр, рантьерки» квартиру на улице Нев-де-Маторен. Здесь-то 20 ноября 1860 года и родилась у фиктивной матери и неизвестного отца девочка, которой, как предписывает закон о внебрачных детях, было дано трюйное имя и сверх того прозвище Колетта.

Автору «Внебрачного сына» было крайне тягостно иметь внебрачную дочь. Но что поделаешь, да и как можно узаконить девочку при жизни Нарышкина, официального мужа, а значит, номинального отца?

Жорж Санд, женщина сильная, очень скоро стала наперсницей и утешительницей Дюма-сына, который начал страдать от ипохондрии.

Дюма-сын — Жорж Санд, февраль 1861 года:

«Я разбит телом и духом, сердцем и душой и день ото дня все больше туюю. Случается, что я перестаю говорить, и временами мне кажется, будто я уже никогда не обрету дара речи, даже если захочу этого... Представьте себе человека, который на балу вальсировал что было мочи, не обращая внимания на окружающих, но вдруг сбился и уже не может попасть в такт. Он стоит на месте и заносит ногу всякий раз, как начинается новый тур, но уже не в силах уловить ритм, хотя в ушах у него звучит прежняя музыка; другие танцоры толкают, жмут его, выбрасывают из круга, и дело кончается тем, что он бормочет своей партнерше какие-то извинения и в полном одиночестве отправляется куда-нибудь в угол. Вот такое у меня состояние. Судите же сами, сколько силно мое желание, более того — потребность быть возле Вас... Я никогда не высказывал Вам своего мнения о Вас, ибо я ставлю Вас так высоко, что Вы оказывались выше каких бы то ни было оценок — как дурных, так и хороших. Но должен Вам сказать: Вы — малый что надо, и еще не явился на свет тот парень, который мог бы занять Ваше место».

В 1861 году Дюма-сын совершенно бескорыстно трудился над перделкой в комедию романа госпожи Санд «Маркиз де Вильмер»: писательница попросила его помочь ей, так как по части исправления неудавшихся пьес он унаследовал от отца сноровку костоправа. Они часто виделись; она умоляла его привезти в Ноан «Великороссии» и «Малороссии», чтобы показать им тамошние любительские спектакли и знаменитых марионеток. Жорж Санд, которая когда-то привязалась к графине д'Агу* за то, что у той хватило мужества бежать с Листом, разумеется, проявляла интерес к княгине с зелеными глазами и тяжелыми медно-золотистыми косами, брошьюшей в России могущественного вельможи и тысячу душ крестьян, чтобы открыто жить в Нейи-сюр-Сен с молодым французским драматургом. Однако иностранка боялась романтики.

Дюма-сын — Жорж Санд:

«Княгиня требует, чтобы я непременно написал черновик ее письма к Вам. Я же не хочу этого делать... Эти княгини довольно-таки глупы, как подумаетесь!»

Княгиня нашла повод остаться в замке Вильюра, и Дюма-сын в Санд один с 9 июля по 10 августа 1861 года. Он переживал очередной приступ уныния. Вечерами на террасе гость и хозяйка изливали друг другу душу. Жорж слышал много дурного о Надежде. Дюма-сын оспаривал слухи.

Дюма-сын — Жорж Санд:

«Что касается «Особь», она мало подходит на персонаж, который Вам нарисовали, и, к несчастью для нее, недостаточно рассчитливо построила свою жизнь. Я столь же готов обождать ее, как ангела, сколь и убить, как хищного зверя, и я не стану утверждать, что в ней нет чего-то и от той и от другой натуры и что она не колеблется попеременно то в одну, то в другую сторону — но (это надо признать) скорее в первую, чем во вторую. У меня есть доказательства бескорыстной преданности этой женщины, и она даже не подозревает, что я признателен ей за это; она сочла бы вполне естественным, если бы я об этом забыл. Короче, я говорю все это с таким волнением не потому, что открыл в ней нечто новое для себя, а потому, что я свидетель ее обновления, ибо я лщу себя, что преобразил это прекрасное создание... Я так привык непрестанно лепить и формировать ее как мне заблагорассудится, так привык вслуж размышлять при ней на какие угодно темы и повелевать ею, при этом отнюдь не покабляя ее, что не сумел бы без нее обойтись...»

Он сказал Санд, что хотел бы жениться на «Особе». Она поведала ему о своем супружестве и своих любовных невзгодах. Когда он слушал ее, в мозгу драматурга рождались сюжеты. Поначалу веселые и ребяческие забавы Ноана не могли расшевелить его. Жорж Санд нашла, что «трудно развезать его скуку». Потом она сделала попытку внушить этому «великому и блестящему сыну» свою веру в жизнь, и ей удалось на какое-то время успокоить его. Он уехал, вновь обретя некоторое внутреннее равновесие, а Санд в письмах продолжала «курс хорошего настроения».

Жорж Санд — Дюма-сыну:

«Все любят и приветствуют Вас. Продолжайте косить. Вот средство, которое чертовски усиливает действие железа. Обливания из лейки тоже полезны. Работа — тоже, деревня — тоже. Все полезно при здоровом уме и честной душе. С этими качествами плюс молодость и подлинное дарование можно преодолеть все... Я оптимистка, несмотря на все мои страдания, — пожалуй, это мое единственное достоинство. Увидите, и Вы его обретете. В Вашем возрасте я так же терзалась, как Вы, и была еще серьезнее больна — и телом и душой. Устав мучить других и самое себя, я сказала себе в одно прекрасное утро: «Все это мне безразлично. Вселенная велика и прекрасна. То, что мы считаем значительным, столь ничтожно, что не стоит труда над этим задумываться. Настоящих и серьезных вещей в жизни только две или три; и как раз этими-то вещами, такими ясными и простыми, я до сих пор пренебрегала. Меа силра! Но я была наказана за свою глупость, я страдала, как только можно страдать; я заслужила прощение. Заключим мир с Господом Богом...»

Дюма-сыну так полюбился Ноан, что он мечтал еще раз приехать туда с княгиней, и в конце концов ему удалось победить ее робость. В письмах из Вильюра он стыдливо называл ее своей «хозяйкой».

Дюма-сын — Жорж Санд, 20 сентября 1861 года:

«Я Вас благодарю, как выразился бы господин Прудом, за то, что Вы оказали мне честь Вашим письмом от 15-го числа, и берусь за перо, чтобы выразить Вам мою живейшую признательность. Я узнал, что моя хозяйка написала Вам... Не скрою от Вас, что к приезду в Ноан и к встрече с Вами она готовится как к празднику. Если Вы добрая женщина, то она — вполне послушное дитя; к тому же она несколько Вас не стес-

нит. Это главное. Буде Вы хоть в чем-то измените своим при-
вычкам — а они мне очень хорошо известны, — я сразу замечу
это... Остается открытым вопрос о ее дочери, которую она не
желает оставлять одну в сорочке четырех комнатах огромного
барака; она просит у Вас разрешения предвратить ее Вам
Девочка будет спать в комнате матери, на кушетке. Как путе-
шествовавшая москвичка, она это обожает! Так что не опасай-
тесь усложнений с этой стороны!

Однако трепещите!.. Вот и капля дегтя: у меня есть
приятель, толстяк, он довольно-таки похож на ваших нью-
фаундлендов; зовут его Маршалл Гигант, и весит он 182
фунта, а остроумия у него хватит на четверых. Этот может
спать где угодно: в каком-нибудь курятнике, под деревом,
у фонтана. Можно его захватить с собой?..

Санд, разумеется, ответила, что и юная славянка, и тол-
стый художник будут для нее желанными гостями. Шарль
Маршалл, задумчивый друг Дюма, был художник-эпизод, бес-
станальный, но приятный в обществе; он нравился женщи-
нам и был остер на язык. Друзья называли этого толстощеко-
го великана то Былинкой, то Мастоодотом. Его непринуж-
денность порою граничила с безтактностью. Законренный
блудодил и не слишком скромный донжуан, он налево и на-
право болтал о своих победах. Дюма-сын терпел его со снис-
ходительностью, достойной Дюма-отца. Можно представить
себе прибытие в Ноан каравана из Вильеры и то удивление,
какое вызвала у княгини и княжны Нарышкиных веселая и
бесшабашная жизнь богемы. Дюма привез Санд дурную
весь: сообщение о смерти Розы Шери, которую оба они обо-
жали. Она умерла от дифтерита — заразилась, ухаживая за
своими большими детьми. «Не плачь, — сказала, умирая, очаро-
вательная актриса своему мужу, — не плачь, ведь наши малю-
тки спасены!». Роза оставила по себе светлую память как
человек великого благородства и самоотверженности.

Записная книжка Жорж Санд:
«15 сентября 1861 года. После обеда, в десять часов, при-
были мадам и мадемуазель Нарышкины, Дюма и его друг
Маршалл с очень добрым лицом. Беседуем в гостиной... По-
немногу расходимся — один за другим... Все веселы и в то же
время печальны и волей-неволей говорят о бедной Розе...»

1 октября 1861 года. Дюма читает нам начало «Вильме-
ра», его пьесы; она восхитительна. Я поднимаюсь к себе,
чтобы немного поработать. Вечером Дюма читает стихи...

9 октября 1861 года. Дюма уезжает в семь часов утра.
Маршалл остается...

10 октября 1861 года. Долго сижу у Маршала. Провожу с
ним вечер, ведем умные разговоры, пока внизу репетируют...

16 октября 1861 года. Маршалл ставит вместе с Мори-
сом спектакль марионеток...

19 октября 1861 года. Маршалл становится моим тол-
стым Бебэ...»

Таким образом, Маршалл, прибывший в Ноан незванным
гостем вместе с Дюма-сыном и всеми его «Россиями», долго
оставался в Берри после отъезда своих друзей. Приехав
на два дня, он пробыл несколько месяцев. Его увлечение ма-
рионетками завлекло ему симпатию Мориса Санда. Чувст-
во Жорж к нему было совсем другого характера и вызвало
неудовольствие Мансо (бывшего уже в течение десяти лет
принцем-консортом). Под тем предлогом, что он пишет
портрет владелицы замка, Маршалл записался с ней в мас-
терской. Дюма-сын прислал свое благословение.

Дюма-сын — Жорж Санд, 23 ноября 1861 года:

«Я говорил Вам, какое хорошее влияние можете Вы
оказать на него авторитетом таланта, примером и советом;
влияние, которого не могу оказать я, слишком близ-
кий по возрасту, характеру и полу к этому взрослому маль-

чишке. Я просто счастлив тем, что Вы оценили этого чело-
века по достоинству, а также тем, что сам он открыл в се-
бе новый талант. Много раз я советовал ему заняться
портретом, но среди художников бывает непонятная недо-
оценка этого жанра, который я не могу себе объяснить...»

В декабре Маршалл наконец покинул Ноан. Он не при-
слал Санд ни одного письма, ни одного нежного привета,
ни слова благодарности. Напрасно ждала она весточки от
него, посылая ему письмо за письмом. Ответа не было.
Обезумев от тревоги Она обратилась к своему «дорогому
сыну» Александру, чтобы узнать, что стало с ее толстым
Бебэ, ее придворным художником.

Дюма-сын — Жорж Санд, 21 февраля 1862 года:

«Я никогда больше не решаюсь вводить кого бы то ни бы-
ло в Ноанскую обитель, где все так слаженно между друзья-
ми, что малейшая песчинка может испортить весь меха-
низм! Итак, наш друг Маршалл уже выказал себя неблаго-
дарным? Рановато! Он должен был хотя бы сказать Вам
спасибо за полученный им заказ на шесть тысяч франков,
который принц дал ему лишь благодаря Вам. Увы! Увы! Я
весьма опасаясь, что чеськачество — отнюдь не лучшее
творение Господа Бога...»

26 февраля 1862 года:

«Сегодня я в ярости, и молчание моего Мастоодонта нема-
ло этому способствует! Я не лучше Вас знаю, где он. Пороки
воспитания, укореняющиеся в зрелом возрасте, весьма схо-
жи с душевной черствостью. Этот бедный парень еще не зна-
ет, что когда так долго пользуешься гостеприимством такого
человека, как Вы, гостеприимством столь сердечным и столь
плотворным, то следует, по меньшей мере отвечать на
письма, которые ты в довершение всего получаешь!.. Этот
негодяй эгоистичен, как сама природа, и отличается таким
простоудием, наивностью, бесцеремонностью, которым
нет равных. До тех пор, пока я один страдал от этого, я объяс-
нял эти свойства простотой отношений между сверстниками,
но от Вас, да и от других людей его отделяет слишком боль-
шое расстояние, — нельзя подпускать его к себе слишком
близко. Когда я vez его к Вам, у меня была затаенная надеж-
да, что простота и доброта, которые Вы сохранили, несмотря
на талант и славу, произведут на него благоприятное впечат-
ление и покажут ему, каким надо быть, когда и он в свою оче-
редь станет величайшим мастером своего искусства, пока-
жут ему, что полезно знать в ожидании этого далекого буду-
щего. Но я убеждаюсь, что он, как обычно, увидел лишь внеш-
нюю сторону вещей и что на Вас он смотрит как на товарища.
Это уж чересчур, дорогая матушка!..»

В течение всего 1862 года между «дорогим сыном» и «до-
рой матушкой» велась активная переписка. Дюма завершил
«Маркиза де Вильмера» и великодушно отказался от гонорара
за пьесу в пользу Жорж Санд. Он жаловался на жизнь:

«Минушую неделю я провел в отчаянии и безделье. Не в
силах бы написать ни строки — ни романа, ни пьесы. И по-
тому я дал себе зарок: если мне удастся написать их, как я за-
думал, я пошлю ко всем чептам перо и чернила! Я барахтаюсь
в них со дня рождения, и с меня хватит. Если только художник
не переживает за свою жизнь трехкратного превращения, как
Рафаэль и другие лица — не стоит их называть, — то искус-
ство становится презренным ремеслом. Кроме того, я вообще
не художник. Ни по форме, ни по содержанию. У меня зоркий
глаз, я вижу достаточно ясно и поэтому достаточно четко — это
так, но в том, что я пишу, нет ни энтузиазма, ни поэзии, ни вол-
нения. Это иррационально и сухо. Произведения этого сорта раз-
влекают, удивляют, затем утомляют публику, автор же это
убивает. Закончив обе вещи — сделав этой второй выст-
рел, — я попытаюсь жить для себя, и если в этой второй жиз-

ни родится что-то новое, какое-то неведомое чувство, суждение, даже иллюзия, я поведаю о них другим; если же нет, то — нет. Как будет связана с этой второй жизнью «Особа», о которой мы столько говорили: номинально или фактически? Это не имеет значения. Не настолько я принимаю всерьез жизнь ее общества, чтобы цепляться за форму. Пусть я просто буду счастлива — больше мне ничего не надо, как тому герою из пьесы Мери, который ничего не требовал

...в награду за труды —
лишь проводить все дни на лоне наслаждений.

Поживем — увидим. Ни одно из всех добрых и справедливых слов, которые Вы говорили мне, не будет упущено в том великом совете, что я держу с самим собой...

Короче говоря, он склонялся к женитьбе на «Особе».

«Остается девочка, и в этом вопросе Вы совершенно правы. Придется ждать ее замужества или хотя бы того времени, когда она сможет сознательно от него отказаться. Не буду ничего говорить Вам о ее характере. Надо, чтобы Вы сами длительное время наблюдали Ольгу в жизни, чтобы оценить ее. Она в меру любит свою мать. Чувствует она себя хорошо только за городом. Она лакомка, целый день говорит о своем пищеварении — любимое развлечение породистых женщин. В своей бережливости она доходит до того, что отдаст перешивать для себя старые платья матери и штопает чулки! И она же с прелестью легкостью отдает свои деньги любому нуждающемуся. Очень гордая, очень высокомерная с равными себе, она мягка и снисходительна с простыми людьми, на какой бы ступени они не стояли. Имя не производит на нее никакого впечатления, она готова называться госпожой Бенуа. Она увлекается науками, в особенности точными, и не из честолюбия, ибо она копит свои небольшие знания так же, как копит свои карманные деньги. Ольга хочет знать для самой себя. В общем, она молчалива и говорит только в подходящий момент. Больная печень прибавляет к этому сочетанию немного туманной меланхолии, без всякой фантазии. Вот что я увидел в ней, дорогая матушка. Выводы делайте Вы — женщина.

Пока что мать и дочь намерены поселиться в Булонском лесу, в очаровательном доме с красивым садом, который незаметно сообщается с владениями Вашего сына. Можно будет видеться сколько угодно, при этом каждый будет жить у себя, и приличия будут соблюдены. Теперь, когда все устроено таким образом, пусть Бог и царь довершают остальное. Дело за ними...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой Жорж Санд дарит Дюма-сыну двоих детей

Сила и мудрость Санд всегда оказывали глубокое влияние на слабых мужчин. Она исторгла шедевры у Мюссе, она поддерживала Шопена и утешала Флюбера. Дюма-сын открылся ей в своем душевном смятении: «Жизнь была представлена мне с изнанки. Те, кому выпало на долю настаивать меня, были заняты совсем другими делами, и я не вправе упрекать их в том, что у них не нашлось для меня мудрости, которой им не доставало для самих себя...» В свою очередь Жорж со свойственной ей мужской откровенностью описала ему физические тяготы своего замужества и дала ему понять, сколь ужасно первое плотское испытание для девушки, если мужку не хватает деликатности. «Мы воспитываем их, как святых, — говорила Жорж, — а случаем, как кобылиц».

На эту тему после долгих размышлений Дюма написал пьесу «Друг женщин». Ее сюжет: госпожа де Симроз, напуганная первой брачной ночью, разошлась со своим незаданным мужем, которого она, сама того не зная, все еще любит. И вот она одна в свете, беззащитная против домогательств всех тех, кто сулит ей «иную любовь». Она погибла бы, если бы ее не оберегал Друг женщин, господин де Рион, который, как в свое время Оливье де Жален, являл собой рупор автора. Господин де Рион все знает, все понимает, все предвидит. Для него не составляют тайны ни женское сердце, ни мужские желания. Он устраивает или расстраивает свидания; угадывает намерения, изобличает ошибки. Короче говоря, он играет в мире Дюма-сына ту же роль, что граф Монте-Кристо в мире Дюма-отца. Он возлагает на себя полномочия, расставляет ловушки, ведет допросы. Беспощадный к злым, изрекает жестокие афоризмы. «Женщина, — говорит господин де Рион, — существо алочное, низшее, зловредное». — «Молчите, несчастный! Ведь женщина вдохновляет на великие дела». — «И прегрешает их свершению». Ему задают вопрос: «Значит, порядочных женщин нет?» — «Есть, их даже больше, чем полагают, но меньше, чем говорят». — «Что вы о них думаете?» — «Что это самое прекрасное зрелище из всех, какое довелось видеть человеку». — «Наконец-то! Значит, вы все же их встречали?» — «Никогда».

Пессимизм, которого не высказывали ни Гого, ни Санд, ни Дюма-отец. Те верили в любовь-страсть, даже когда сами предавались любви-прихоти. Что касается Дюма-сына, то он твердо убежден, что всякая любовь — обманчивый мираж. Любить женщину — значит любить мечту нашего духа. Дюма-сын не верит в эту мечту. Отцы слишком наслаждались жизнью, у сыновей осталась оскомина. После развращенного XVIII столетия романтики воскресили христианский и рыцарский идеал женщины. Женщина оказалась чересчур слабой, чтобы подняться на высоту этого идеала. Дюма-сын обнаружил в своих безаломных княгинях существа, исполненные противоречий и хитрости. Романтики любили капризы этих несчастных. Господин де Рион презирает их, а быть может, и ненавидит.

Беспощадный тон диктует эпоха. Растиаки и Марсэ уже вошли с хлыстом в руки в клетку с женщинами. С этого времени все ширится свобода нравов. Усиление разврата пробуждает скептицизм и отвращение. С приходом Морни торжество фатовство. Куртуазность гибнет. Флюбер, Готье, нимало не смущаясь, пишут «президентше» непристойные письма. Дюма-сын берет на себя миссию исправлять нравы.

«По той иронии, за которую прятается господин де Рион, — говорит Поль Бурже, — по насмешкам, которыми он разит направо и налево, неизменно начеку и неизменно во всеоружии, по той позиции морального бретера, которую он занимает при всяком столкновении — будь то с женщиной или с мужчиной, с юной девушкой или старцем, — по всему этому легко заметить, что для этого мизантропа общественная жизнь оказалась слишком суровой. Он не сознается в своих ошибках и не жалуется на них — он слишком горд. Но тон любой его реплики — насмешливый и намеренно беспощадный, его стремление с первых же слов покорить собеседника и установить свое превосходство, презрение, которое сквозит в каждой его фразе и каждым жестом, — все это своего рода признание, своего рода жалоба».

То была жалоба самого Дюма-сына. Он сообщил Жорж Санд, как поживает героиня, которую она помогала ему произвестти на свет:

4 октября 1863 года:

«Что касается г-жи Симроз, то наше сожительство стало постоянным. Мы больше не расстанемся. Она спит со мной. Она сопровождает меня в самые интимные места,

наконец, он начинает мне надоедать. Поэтому я прилагаю все усилия к тому, чтобы поскорее от нее избавиться...»

Джейн де Симроз удивила и шокировала парижскую публику. «Друг женщин» в течение сорока дней пытался одолеть удивление, молчание, замешательство, а иногда и шумные протесты. Один зритель, сидевший в партере, после рассказа Джейн о ее брачной ночи поднялся и крикнул: «Это гнусно!». Некая куртизанка, знаменитая своими бесчисленными и открытыми любовными связями, заявила: «Это сочинение оскорбляет самую сокровенную стыдливость женщины!». И все же каждая женщина знала, что в пьесе есть значительная доля правды. Однако Дюма «предал Пол и разоблачил тайны благой Богини». В те времена о таких вещах не говорили. Особенно в театре, где царил женщина. Чтобы иметь успех, пьеса должна была обождать женщину и приносить в жертву мужчине.

«Без подобной жертвоприношения прочный успех невозможен. Клитандр, Орас и Валер* принимают друг другу столько зла для того, чтобы в конце пьесы жениться на ней; Отелло становится убийцей оттого, что считает ее неверной; он не может больше жить потому, что убил ее. Это ради нее Арнольф* катается по земле и рвет на себе волосы; это по ее вине Альцест* стал мизантропом; это она сделала Цинну* неблагодарным, Ореста — убийцей, Тартюфа — богульником. Довольно того, что она любит — пусть даже кровосмесительной любовью, — чтобы Ипполит* умер! Один только Родриго*, несмотря на свою любовь к Химене, убивает ее отца; но ведь потом он приходит к своей возлюбленной, предлагая ей свою жизнь взамен той, что он отнял. Ведь он не может дышать воздухом, не напоенным ее любовью! Ведь он хочет, чтобы дон Санчо убил его, если она не пожелает его простить и не вернет ему свое доверие! Не имела успеха ни одна пьеса, где бы Мужчина не приносился в жертву Женщине. Здесь, в театре, она — божество, и, сидя в своей ложе или в своем кресле — красивая, гордая, торжествующая, спокойная, окруженная поклонением и лаской, она присутствует при этих человеческих гекатомбах».

Господин де Рион раздражал зрителящего. Следует признать — в нем было немало раздражающего. Но они не продали ему другого: не того, что он укрощал их (они не питают ненависти к укрощателям), а того, что не позволял хотя бы одной из них поработить себя. В первом варианте пьесы одна красивая девушка, богатая и умная, бросалась на шею «Другу женщин», а он ее отталкивал. Возмущение публики подобной развязкой было так сильно, что по настоянию Монтиньи на следующем спектакле господин де Рион женился на мадемуазель Хакендорф. Тэн, а следом за ним Бурже запротестовали. Они предпочитали непримиримого господина де Риона. В предисловии к изданию пьесы, написанном вдали от сверкающих золотом театральных зал, Дюма осмелился повторить свой тезис: женщины надо держать в рабстве.

«Женщина — существо ограниченное, пассивное, подчиненное, живущее в постоянном ожидании. Это единственное незавершенное творение Бога, которое Он позволил закончить человеку. Это неудавшийся ангел... Итак, природа и общество сошлись на том и будут сходить вечно, как бы ни протестовала Женщина, что она — подданная Мужчины. Мужчина — орудие Бога, Женщина — орудие мужчины. *Illa sub, ille super!*. И ничего с этим спорить...»

В жизни господин де Рион женился. Князь Нарышкин умер в Сёзье 26 мая 1864 года, и Дюма мог жениться на княгине, наконец овдовевшей. В субботу 31 декабря 1864 года мэтр Ансель, опекун Бодлера и мэтр Нейи-сюр-Сен,

совершил в присутствии (и с согласия) Александра Дюма-отца и Катрин Лабэ бракосочетание Александра Дюма-сына с Надеждой Кнорринг, вдовой Александра Нарышкина.

Новобрачная пригласила в качестве свидетелей адвоката Анри Мирю и своего акушера Шарля Девилье. Дюма сопровождал двое друзей — художник Шанделье и помощник хранителя императорской библиотеки Анри Лавау. Больше никого не было. Церемония совершилась тайне, так как весь акт бракосочетания должен был зачитываться вслух, а он содержал до крайности странный параграф:

«Будущие супруги заявили, что усновляють ребенка женского пола, записанного в мэрии Девятого округа Парижа 22 ноября 1860 года под именем Мари-Александрины-Анриетты и родившегося 20-го числа того же месяца у Натали Лефобюр; при этом они подчеркнули, что имья матери — вымышленное...»

В течение четырех лет «малютку Лефобюр» выдавали за сиротку, подобранную и взятую на воспитание княгиней Нарышкиной.

Дюма-сын — Жорж Санд, 15 декабря 1864 года:

«Дорогая матушка, через несколько дней я женюсь. Вот уже час, как я принял бесповоротное решение, о чем незамедлительно Вам сообщаю. Я не прошу Вашего согласия — я знаю, Вы мне его даете. Но, как покорный и почтительный сын, я делюсь с Вами этой новостью, прежде чем сообщить ее кому бы то ни было. Нежно обнимаю Вас и Мансо тоже».

В качестве свадебного подарка Санд послала вазу в форме урны. Не для того ли, чтобы собрать в нее пепел свободы?

Дюма-сын — Жорж Санд, 1 января 1865 года: «Когда я получил этот красивый сосуд, все вокруг спрашивали: «Кто мог это прислать? Какая красивая штучкавина!» Но я сказал: «Бьюсь об заклад, что это от матушки...»

Получив наконец право афишировать свое отцовство, Дюма-сын делал это с упоением. Его письма к Жорж Санд изобилуют упоминаниями о Колетте, воспитательном и щедро одаренном ребенке. В возрасте пяти лет она знала французский, русский и немецкий языки. Вечернюю молитву она повторяла на трех языках.

28 марта 1865 года:

«Колетта чувствует себя великолепно. Она еще не способна оценить свою бабушку, но это придет».

21 августа 1865 года Санд потеряла Мансо, своего любовника-секретаря, давно болевшего туберкулезом легких. Кому, как не Маршалю, было заменить его? Жорж привязалась к нему и преследовала его избытком лестного внимания.

Жорж Санд — Шарлю Маршалю:

«Дорогой малыш! Я ни разу не видела «Орфея в аду», а говорят, что это забавно и красиво. Я не решаюсь обратиться к Оффенбаху, несмотря на его лязбозность. Поскольку ты, должно быть, знаешь эту вещь наизусть, я не обложу тебя на то, чтобы еще раз посмотреть ее со мной... Сбереги время и желание, чтобы посмотреть со мной какую-нибудь пьесу, которая тебя позабавит или по крайней мере будет тебе внове... Целую тебя... Знаешь ли ты, что г-жа Дюма разрешилась от бремени? Завтра я навещу ее? Сегодня я была в Палезо... Г-жа Перрси вчера сказала мне, что постарается достать нам два хороших места на «Влюбленного льва...».

Другое письмо:

«Слушай ли ты «Дон-Жуана» в Лирическом театре? Я заказывал два билета на вторник. Не хочешь ли взять один из них? Если да, пообедаем вместе, где ты пожелаешь. Если нет, давай где-нибудь встретимся, чтобы я обнял и благословил тебя, прежде чем уеду в Ноан. Из Парижа я уезжаю в четверг, но еще раньше — в понедель-

¹ Она — внизу, он — наверху (латин.). (Примеч. пер.)

² У Надежды роды были преждевременными.

ник — отбываю из Палезо. Пришли мне в понедельник от-
вет на улицу Фельянтин, чтобы я отдала второй билет на
«Дон-Жуана» какому-нибудь другому приятелю, если ты
почему-либо не сможешь им воспользоваться. Как ты по-
живаешь, мой жирный кролик? Я — хорошо. Только здесь
дует восточный ветер, он меня раздражает. Целую тебя...
О, смотри, какая я глупая!.. Я отложу на день своей отъез-
да, если ты меня предупредишь заранее. Постарайся освобод-
диться. Правда, ты, быть может, уже видел «Дон-Жуана».
Поступай как знаешь, но напиши мне хоть словечко...»

Но Мастодон упорно держался за свою независимость. В
его мастерской ему позировали обнаженными красивые и
доступные девушки. Когда Санд неожиданно приходила к не-
му, она наталкивалась на закрытую дверь. Тем не менее он
охотно обedal у Мэни с нею, Дюма-сыном и Ольгой Нарыш-
киной, которая к восемнадцати годам похорошела и стала
очень красивой. Надежда (которую ее супруг перекрестил в
Надин), еще не оправившись от преждевременных родов на
пятом месяце, томилась в Марли, где готовилась к тяготам
новой беременности, ибо чета желала иметь Дюма-внука.

Письмо Дюма-сына:

«Г-жа Дюма обречена семь месяцев лежать в постели,
если она действительно хочет произвести на свет нового
Александра — потребность в нем ощутима, несмотря на то
что первые двое еще в расцвете сил и в зените славы...
Да! Натворил я здесь дел! Проклятые морские купанья
всегда приводят к этому. Фи!..»

Возраст и красота юной Ольги ставили ее по отноше-
нию к матери в шекотливое положение: женщине, только
что вступившей в новый брак, неприятно иметь дочь на вы-
данье. Так как доктор Девилле прописал Надин пребыва-
ние на свежем воздухе, Дюма попросил у своего старого
друга Левена разрешения занять его дом в Марли и поме-
стил там свою молодую супругу, во время как Ольга, что-
бы не прерывать занятий, оставалась в Нейи. Приехавшие
из Москвы соотечественники взяли на себя миссию про-
светить «Малороссию», ставшую в свою очередь «Велико-
россией», относительно ее юридического положения. Она
спрашивала себя, не причинил ли ей серьезного ущерба
роман ее матери, заставив жить вдали от феерического
двора, где она приходилась быть родней Романовым.

Записная книжка Жорж Санд:

«3 февраля 1866 года: Я отправляюсь к Маршалю. В по-
ловине седьмого мы идем обедать к Жоберан: там — род-
ственники мужа и жены, Леман, отец и сын Дюма, несколько
друзей дома. Весь обед, от супа до салата, приготовил
папаша Дюма! Восемь или десять превосходных блюд.
Пальчики оближешь! После обеда мы с ним беседуем, в об-
щем, он очарователен... Маршалл провожает меня.

4 февраля 1866 года: Александр приехал в два часа. Я чи-
тала ему «Жанн»¹. Ах, какое счастье! Он доволен всем в це-
лом! И читаю я не слишком плохо. Он дал мне три превосход-
ных совета. Как быстро он все подмечает и как хорошо умеет
исправить! Я рада за Булиэ² и пишу ему, не сходя с места...
Александр узнает, не возьмут ли пьесу на улице Ришелье; ес-
ли нет — то устроит ее в Жимназ. Иду обедать к Мэни, пого-
да собачья. Невесело... В Одеоне — «Жизнь богемы». Какая
прекрасная пьеса, душераздирающая и очаровательная!..»

6 февраля 1866 года: Демарк только что сообщил мне,
что у г-жи Дюма преждевременные роды и наш обед в чет-
верг не состоится. Он ведет меня к Мэни, где я обедаю и

затем нанимаю карету, чтобы ехать на проспект Нейи; у ме-
ня умопомрачительная мигрень. Кучер пьян, лошади тоже.
Но все-таки мы молодые, нам удастся найти дом. Г-жа Дю-
ма спокойна и бодра, она не страдает. Но как она будет чув-
ствовать себя завтра? Родит ли она? Ребенок жив и готов
появиться на свет. Это странно... Александр с ней очень ла-
сков. Возвращаясь к себе на той же лошади — она сплотка-
ется, с тем же кучером — он спит. Но мигрень моя прошла...

9 февраля 1866 года: Мне удалось немного порабо-
тать, урвать час у гостей и писать. Г-жа Дюма пережила
свои преждевременные роды болезненно, но благополуч-
но... Я отправляюсь обедать к Мэни пешком...

11 февраля: Еду в Нейи. Ночью это настоящее путеше-
ствие, и стоит оно десять франков! Г-жа Дюма настрада-
лась. Ей придется месяц лежать. Александр и Ольга от нее
не отходят...»

В августе 1866 года Жорж Санд отправлялся навестить
Дюма-сына в Плюи — маленькую рыбацкую деревушку непо-
далеку от Дьеппа, где он купил дом, довольно безобраз-
ный, но в вполне удобный, зато в восхитительном месте.

Записная книжка Жорж Санд:

«У Алекса, в Плюи (sic!) воскресенье, 26 августа 1866 года:
Чудесный край! Дивная погода. Очаровательные хозяева. Ла-
вуа уезжает, Амеде Ашар здесь уже давно, г-жа де Беллейм
только приехала. Прелестные дети. Хозяйка дома очень лю-
безна, но не в должной мере хозяйка. Беспорядок немислы-
мый! Из ряда вон выходящая неаккуратность, ставшая привыч-
ной. Для мытья служат ваза и салатника, а вода есть, только
если за нею сходишь сам! Окна не закрываются! Собачий хо-
лод в постели... Но день великолепный. Мы идем гулять в лес
и к морю. Эти лесистые берега — сущий рай. Морю — жемчуж-
ное, с голубыми бликами, и белый песчаный берег, усейный
кремневой галькой в форме полипов. Белые меловые утесы.
Все в нежных и блеклых тонах. В казино — детский бала. Разря-
женные женщины, довольно-таки уродливые. Дом — превос-
ходный обед, однако в восемь часов мадам плохо себя чувст-
вует, и Александр отправляется спать. Не знаешь, как читать
при одной-единственной свече! Ночью поднимается буря. По-
токи дождя, стужа. Я кашляю, надрываю горло.

У Алекса, Плюи, понедельник, 27 августа: Погода сырая,
но вокруг красиво. Я остаюсь послушать предисловие и
два акта. Они очень хороши и очень изящно написаны. Обед
чертовски вкусный. После обеда все улизнули, а я
осталась с г-жей Беллейм! Жизнь, которая замирает в во-
семь часов, мне совсем не по душе! Да еще спать прихо-
дится идти с переполненным желудком... Сколько муче-
ний с одеянием и тому подобным! Господи, до чего же
здесь скверно!.. И все-таки очень красиво...»

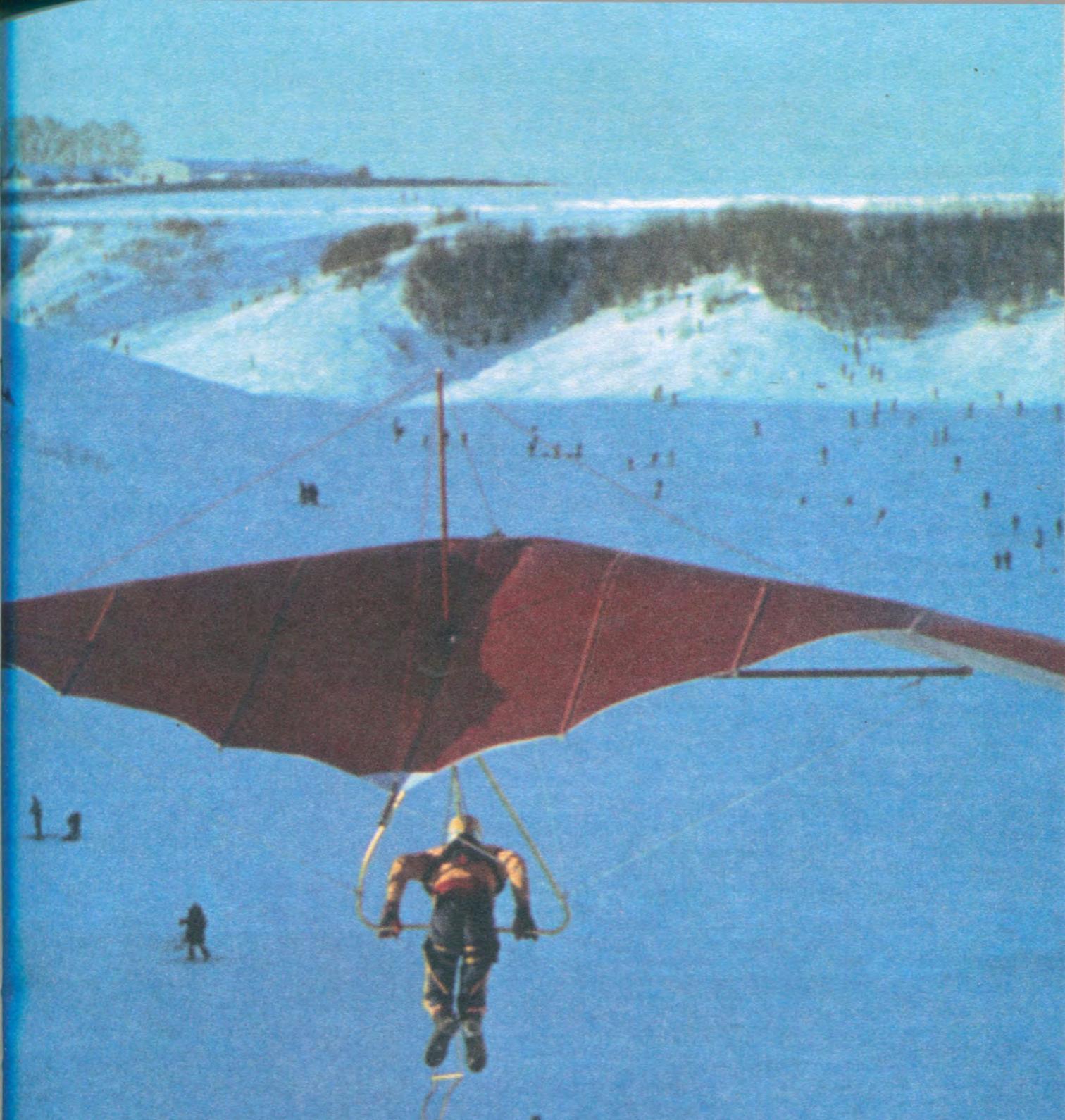
Из Плюи Жорж Санд поехал в Круассе, к Флоберу, где
нашла «отличные удобства, чистоту, воду, предупреди-
тельность — все, что только можно пожелать». Мать Фло-
бера, очаровательная старушка, была лучшей хозяйкой, чем
«Великороссия».

Но Дюма любил Плюи до такой степени, что вскоре при-
обрел там еще одну виллу. Вокруг него образовалась не-
большая колония. Феликс Дюкенель, навестивший Дюма,
увидел однажды, как к нему явился какой-то рыбак с боро-
дой, высокого роста, сутуловатый, но крепкого сложения. В
куртке табачного цвета, фланелевой рубашке и грубошер-
стных брюках он выглядел великолепно и держался непри-
нужденно. «Добрый день, сосед, — сказал рыбак, — как по-
живаете?» — «Прекрасно, ваша светлость. А вы?» — «Я рыбак
чувствую, как Новый мост. Так ведь, кажется, у вас гово-

¹ Пьеса Мориса Санда и Жорж Санд; в окончательном виде была названа
«Деревенские дождички».

² Прозвище Мориса Санда.

(Продолжение смотрите на странице 57)



Журнал в журнале • 2-3 / 2001

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕТНА

XXI — ВЕК ЗНАНИЙ



Среди многих опросов, который сейчас проводят социологи среди старшеклассников, был и такой: «Какие школьные уроки вам кажутся ненужными?» По результатам опросов самой ненужной оказалась химия. Затем шли по порядку экономика, граждановедение (обществознание), физкультура, физика. По мнению социологов, нынешние школьники хотят учить лишь то, что им пригодится при поступлении в вуз. К сожалению, такие же «деловые» соображения можно услышать от составителей новых школьных программ: «В старших классах с гуманитарным уклоном не нужны ни математика, ни физика, ни химия. Зачем навязывать ученикам нелюбимые предметы!»

Политологи высказывают свою обеспокоенность тем, что сегодня происходит на «рынке знаний». Поскольку знания стали товаром, мы можем наблюдать процесс вымывания тех наук, которые не приняли товарную форму и не служат немедленной прикладной пользе. Вымывание грозит прежде всего фундаментальной науке, гуманитарным направлениям, связанным с общей культурой, а также всему теоретическому образованию.

В апреле 2000 года в Токио встретились министры образования «большой восьмерки», в которую входят самые влиятельные страны, в том числе и Россия. На встрече обсуждалась программа перехода от индустриального общества к новому обществу знаний. В XXI веке развитие образования становится главным условием социального и экономического развития. И это главное условие стало сказываться уже в конце XX века. Так, в США те, кто учился 14 лет и более, производят более 50% валового внутреннего продукта (ВВП). А у нас в России люди с высшим образованием составляют 25% работающих, но производят 56% прибавочного продукта. Ну, а какими рисуются перспективы в XXI веке фундаментальных наук или гуманитарных знаний, не приносящих прикладной пользы, которую можно измерить точными цифрами?

Нобелевский лауреат академик Н.Г. Басов считает, что молодые люди, решившие посвятить себя физике, смогут участвовать в разрешении одной из интереснейших идей. Речь идет о точном измерении времени, о пикосекундах. Возможна такая точность, что ошибка в одну секунду допустима за интервал времени от Рождества Христова до наших дней. Новому поколению физиков предстоит создать новое поколение реакторов, новые виды топлива для автомобилей и самолетов... С их участием будут решены проблемы турбулентности.

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий в одном из выступлений говорил о том, что прогнозирование будущего гуманитарных знаний вряд ли возможно. Сегодня в умах и подходах специалистов-гуманитариев утвердился тезис о конце истории: либерализм наконец-то победил бесповоротно и во всем мире, так что эту модель общественного устройства должны перенять все страны и народы. Но в истории человечества уже случалось, что наука не мирилась с запретами и ограничениями, установленными раз и навсегда. Геометрия Эвклида провозгласила запрет на проведение из точки более чем одной прямой, параллельной заданной. Но вот пришел Лобачевский и снял этот запрет, создав неевклидову геометрию, а вместе с тем и новое мировоззрение. А что если в будущем человечество откажется от концепции развития, основанной на все возрастающем увеличении потребления, и предпочтет путь самоограничения и согласия с природой и самой жизнью? Это будет иная система ценностей и иная система запретов морально-этического характера, новое мировоззрение, имя которому дадут новые поколения философов, социологов, экономистов.

Путь в науку начинается со школьной скамьи. В прошлом году Россия послала на международные олимпиады по математике, физике, биологии, информатике 31 школьника, и 29 вернулись с победой. Такого результата не имеет ни одна страна. В этом году в Детройте (штат Мичиган) на Всемирном смотре инженерного творчества юных наши старшеклассники завоевали призы и премии по математике (Сергей Тищенко из московского лицея № 2), по химии (Натasha Злотина, московский лицей № 1303). Отмечен командный проект по информатике (Фатима Кештова, Иван Сидоров, Кирилл Захаренко, московский лицей № 1533). В секции наук об окружающей среде удостоились премии государственного департамента США Денис Степаненко из Тюмени и Александр Рожков из Якутии. Это веская информация к размышлению о XXI — веке знаний.

Ирина СТРЕЛКОВА

Вглядывались ли вы когда-нибудь в небо морозной ночью, находясь где-нибудь в поле или на окраине села?.. Голубое небо днем не производит такого неизгладимого впечатления, как черное ночью. Черное небо не просто необозримо большое — оно бесконечное... От этой мысли становится немного жутковато и в то же время тебя вдруг переполняют неподдельный восторг и восхищение. Веришь, будто под этим огромным черным куполом заключена какая-то необъяснимая тайна, и она завораживает, притягивает к себе, гипнотизирует. Еще мгновение, и создается впечатление, что достаточно одного последнего усилия — и ты проникнешь в эту тайну.

Это обжигающе-черное небо вдруг словно пробуждает в тебе какое-то подсознатель-

Желтое небо

ное зрение, открывает глаза на всю Вселенную. Именно в такой момент понимаешь тщетность своей жизни перед этой бесконечностью, осознаешь ничтожность человека перед могучим телом Вселенной.

И возникает ощущение, будто тебе открылась величайшая тайна бытия, тайна мироздания, истина, недоступная человеческому разуму. И вслед приходит сознание огромной ответственности перед этим окрестием неба, оделившего тебя своей правдой.

Хочется изменить себя к лучшему, привнести хотя бы маленькую частичку этой бесконечной чистоты в свою жизнь и жизнь остальных людей, хочется, чтобы все-все попытались понять это таинственное небо. Оно ведь не пустое, не однообразное, а глубокое, мудрое и очищающее.

Катя ТАРАТУГА,

11-й класс, школа №5,
г. Одинцово, Московской обл.

Поэма надежды

(Александр Грин, «Алые паруса»)

Алые паруса... Когда произносишь эти воздушные, легкие, как ветер, сказочные, как детство, слова, сразу сердце переполняется теплом и светом. Среди пустоты мрачного мира проглядывает веселый лучик солнца, а на горизонте далекой синевы виднеются неясные очертания корабля — корабля надежды, корабля мечты.

Когда Ассоль была совсем мала, она своей детской душой не могла понять окружающего мира, который насмехался, издевался над ней: «Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги».

Только человек, сидевший на берегу ручья, подарил ей мечту. С этой мечтой Ассоль прожила семь лет, и каждый день, каждый час этого срока она верила, надеялась, ждала. Каждый раз, подходя к окну, она вглядывалась в синие просторы, пытаясь найти в них то, что так долго ждала. И вот однажды на горизонте появилась цель всех ее мечтаний, смысл ее юной души. Нельзя передать словами то, что творилось в душе Ассоль. Она столько лет ждала этого дня, и теперь ей трудно было поверить в свое счастье.

«Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса; тогда боясь, не исчезли ли они, как протостой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие, чтобы снова увидеть корабль».

Грин писал эту поэму, когда переносил столько страданий! Но это не помешало ему на верное потому, что у Грина была своя алая мечта. Он был переполнен любовью к жизни и хотел передать эту любовь другим людям. Он считал, что мир — это самое прекрасное, что могло быть создано когда-либо, и что ради этого уже стоит жить. Судьба писателя напоминает судьбу Ассоль: кругом враждебность, ужас непонимания, а он все-таки держался, потому что ему есть ради чего жить.

Такие «неистовые мечтатели», как Александр Грин, не то что необходимы всем нам, они являются частью нашей жизни, пусть порой мы даже забываем об этом. Они вселяют свет надежды и любви в сердца людей и добавляют в палитру красок нашей судьбы немного счастливых оттенков.

Анна МАКСИМОВА,
Москва

Я — продолжение

(Ричард Бах, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»)

Темнело. Я сидела в своей комнате и разглядывала кусочек неба в приоткрытых шторах. Вдруг раздался звонок, я побежала к двери. Звонкий голосок брата сказал: «Это мы!» И передо мной очутились велосипед, Дениска и мама со стопкой книг и журналов. Суета, шум, гам. А я впилась глазами в названия. С одобрением я смотрела на книги и откладывала их в сторону: «У Понта Эвксинского», «Господин Великий Новгород», «Митридат», «Восстание на Боспоре»... Внезапно мой взгляд упал на журнал. Последняя строчка гласила: «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Я отыскала нужную страницу и грохнулась на свой диван, где (это знали все) меня не трогать (!!!).

Я окунаясь в мир фантазий, так любимых мной. Строки лились одна за другой, а я забыла, где я и кто я. Я чувствовала, что именно я — Джонатан Ливингстон, я — изгой, я — победитель. Я догадывалась, я знала о существовании беспредела, всебытия, что является и небытием. Я — изгой. Я — человек, не птица. Я уже без обиды вспоминала непонимание со стороны людей, училась любить — безвозмездно. И я преодолела препятствие собственных стен, собственного тела. Я вся превратилась в мысль, словно догнавшая белую чайку. Рвалась вперед и не находила препятствий. «Я — учитель, — думала я. — Я — наставник». Я уже оторвалась

от птицы и летела вперед. «Я — человек. Я — сильная», — вились в голове мысли. Я ударялась о мнимые скалы, вспоминая, что они — препятствия. Мир вдруг открылся мне во всем своем великолепии, во всей своей красоте, как единственная простая истина, что выражается в словах: «Мы — для любви. Мы — для красоты. Мы — для прощения. Мы — для свободы». Я покрывалась любовью и мыслями, купалась в фантазии, окунаясь в счастье, словно покрывалась светящимися перьями.

На следующей странице продолжения не было. Рассказ остался позади. Но я удивила саму себя, поняв, что последние слова прочла без сожаления: конца нет. Я — продолжение. Мой мир, моя «стая» — следующая часть. Я — человек. Я — учитель.

*О да! Я слишком люблю мир,
Который, может, достоин.
И он — великий мой кумир,
Который ненавидеть волен.*

*Приму я боль и поцелуи
Как дарования цветы,
Незамечаемые все
Людьми отверженной мечты.*

Евгения ПОТАПОВА,
15 лет, г. Лесной,
Свердловской обл.

ИТОГИ

Подведены итоги конкурса школьных сочинений по произведениям, опубликованным на страницах журнала в 2000 году. Победителями стали: **Александр Кобяков**, г. Бийск, Алтайского края, — сочинение «Синяя птица» по сказке М. Метерлинка «Синяя птица» («Путеводная звезда. Школьное чтение» № 1/2001);

Дарья Дедковская, ученица 11 класса средней школы № 3, г. Усолье-Сибирское, Иркутской обл., — сочинение «Как мы несовершенны» по повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» («ШРГ» № 9/2000);

Евгения Потапова, г. Лесной, Свердловской обл., — сочинение «Я — продолжение» по повести-притче Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» («Путеводная звезда. Школьное чтение» № 2-3/2001);

Анна Максимова, Москва, — сочинение «Поэма надежды» по феерии Александра Грина «Алые паруса» («Путеводная звезда. Школьное чтение» № 2-3/2001);

Дарья Бут, ученица 6 «Б» класса средней школы № 73 г. Саратова, — сочинение «А вдруг» по феерии А. Грина «Алые паруса» («ШРГ» № 11-12/2000).

Жюри особо отмечает преподавателя русского языка и литературы **Валентину Федоровну Цыбулину**, д. Земляная, Голышмановского р-на Тюменской обл., приславшую на конкурс сочинения семиклассников **Насты Поповой**, **Светы Воропаевой**, **Марины Рыжковой**, **Веры Кармацких**, **Даулета Ромазанова** и **Нади Семеновой** по произведению Р. Фраермана «Дикая собака динго, или Повесть о первой любви».

В 2000 году отмечалось 55 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне. Многие ребята прислали сочинения на эту тему. Жюри отмечает работу десятиклассника из села **Аноя Северобайкальского р-на Республики Бурятия** **Виталия Полова** «Сохранить тепло огонька...» («ШРГ» № 4/2000) и **Алены Мещеряковой** — девятиклассницы средней школы № 11 г. Усть-Илимска Иркутской области — «Дети войны» («ШРГ» № 5-6/2000). Эти работы прислали преподавательницы русского языка и литературы **Клара Петровна Хоменко** из Бурятии и **Н.В. Горбунова** из средней школы № 11 г. Усть-Илимска.

Редакция благодарит также учительницу русского языка и литературы этой же школы **Агнию Геннадиевну Шарипову**, приславшую работу шестиклассницы **Риты Благиной** по повести А. Лиханова «Последние холода», школьниц **Галину Павленко**, **Элину Исаеву**, **Любу Дзагоеву**, **Ксению Гаврилову**, **Ольгу Посысаеву** и всех-всех других ребят, кто прислал нам свои работы. Конкурс продолжается! Ждем ваши сочинения!



Если хочешь найти друга, помочь человеку, попавшему в беду, поделиться горькими или радостными мыслями о том, что тебя окружает, пиши в «Путеводную звезду». Наш адрес: 101963, Москва, Армянский переулок, 11/2а, «Путеводная звезда».

Это вам подарок!

Здравствуй, редакция «ШРГ»! Меня зовут Лида. Мне 12 лет. Мне очень нравится ваш журнал. А вот если бы не моя подруга Варя, то я про него и не знала бы. На день рождения Варя подарила мне подписку на ваш журнал. И когда я его получила, то он мне очень понравился. Я уже послала вам одно письмо. А сегодня я хочу рассказать о том, как меня восхитила природа Урала.

У моего дяди есть дача под Кунгуром, в небольшой деревне под названием Подкаменная. Дом моего дяди находится у речки. Как только выйдешь из него, то увидишь маленькую полянку. На этой полянке растет акация, под которой стоит скамеечка, на которой я часто сидела. Сразу у скамеечки начинается крутой спуск на берег реки Сылва, на котором растут розовые цветы. Дядя специально соорудил ступеньки на этом спуске, чтобы не упасть. На берегу реки много камней, и по ним неудобно ходить. С двух сторон берег окружают густые заросли кустов. Сама Сылва имеет быстрое течение, но вода летом достаточно теплая. Один раз мы поехали кататься на лодке по Сылве. Я не могу передать свое восхищение, когда увидела горы в виде арок. Это было удивительно красиво. Я хотела побывать на горах, но у меня не получилось по времени, мы скоро уезжали. Я никогда не забуду этой красоты. Вот как красиво в Подкаменной.



Мне очень нравятся заметки Бориса Рысса в рубрике «Мальчишник» и Сдюшник. Очень бы хотела прочитать на страницах Сдюшника какую-нибудь информацию о французском певце Джо Дассенé. А картинка — это вам подарок!

Ваша **Лида БЕГИШЕВА**,
г. Березники, Пермская обл.

Хочу стать настоящим учителем

Здравствуй, дорогая «ШРГ»! Спасибо тебе, что ты есть! Когда я читаю тебя, мне становится тепло на душе и кажется, что мир прекрасен. Я — читательница Оля, ученица 8 класса. С первого класса я хочу стать учителем русского языка и литературы. Я хочу стать настоящим учителем, и с каждым годом это желание становится сильнее. Моя мама и даже классный руководитель отговаривают меня: «Оля, зачем тебе быть учителем? Весь день в школе мотаешься, приходишь домой — проверяешь тетради до часу ночи. А ведь и в квартире надо убраться, и детям с уроками помочь...» Ко всему этому они добавляют маленькую зарплату учителей. Но я все равно хочу стать учителем, который будет уважать и любить своих учеников. Учитель — самая благородная профессия из всех. Но учителя (некоторые) этого не знают. Наш классный руководитель орет на нас, а мальчиков иногда даже обзывает. Она учит нас не добро и справедливости, а злу. Я считаю, что учитель должен подавать пример ученикам, стараться вырастить из них Людей.

Что же заставило меня захотеть стать учителем русского языка? Наверное, сами учителя. В начальных классах нас вела прекрасная учительница — Венера Гайнуловна Азизова. Эта пожилая женщина стала мне второй мамой. Она всегда учила добро и справедливости, скромности. Благодаря ей я захотела стать учи-

телем, таким, как она. Еще когда я училась во 2-ом классе, я научила свою сестру писать, читать и считать. Сейчас я иногда помогаю сестре с русским языком. Обстоятельства сложились так, что мне пришлось уехать и учиться в другой школе. В новом классе был очень хороший классный руководитель и учитель русского языка — Алена Николаевна Жукова. Эта молодая учительница так преподавала русский язык и литературу, что я твердо решила стать именно учителем русского языка и литературы. Когда уроки вела Алена Николаевна, я пробовала писать стихи и даже повести. Но она уехала, и сейчас русский язык в нашем классе ведет другой учитель. На уроках мне скучно и неинтересно. Для этой учительницы русский и литература — это работа, для меня и Алены Николаевны — это творчество.

Я хочу сказать огромное спасибо тебе, «ШРГ»! Благодаря тебе мой интерес к родному языку и литературе не гаснет.

И я искренне надеюсь, что людей, которые любят свой родной язык, будет все больше и больше.

Ольга КРАВЧУК,
Астраханская обл.

Жизнь так интересна!

Здравствуй, дорогая редакция «Школьной роман-газеты»! Огромное вам спасибо, что вы создали такое замечательное издание. В нем столько интересного! Я поняла, что много потеряла, когда не знала о вашем существовании. Мне очень странно, что многим моим друзьям не интересна ваша газета. Как такое может быть?! Мне остается только искренне им посочувствовать.

Но не будем о грустном! Я хочу рассказать про мою пока не очень длинную, но такую увлекательную и интересную жизнь.

Дело в том, что мне очень повезло с родителями, а особенно с мамой. С самого раннего детства мама приучала меня к культуре, литературе, музыке, интересным местам. Благодаря этому у меня появился огромный интерес к жизни.

Например, дача у нас находится недалеко от Калуги, но в такой глуши, что туда и машины-то редко ходят. И вот, живя там, за шесть лет моей сознательной жизни я побывала в Ясной Поляне, на Куликовом поле, на полотняном заводе в усадьбе Гончаровых, в Шамордино, в Козельске, в Оптиной пустыни... И, вообще, можно перечислять бесконечно. Я считаю, что мне повезло по сравнению с моей подругой. Она тоже москвичка, живет в деревне дольше, чем я, но никогда нигде не была!

Я же не останавливаюсь на достигнутом. Вот, например, этим летом наша семья побывала в Пушкиногорье, в Пскове. Пушкиногорье — это усадьба Пушкина, его друзей и родственников: Михайловское, Петровское, Тригорское, также там расположен Святогорский монастырь, в котором находится могила Пушкина. В Пскове мы побывали в Кремле, в Святогорском монастыре и видели памятник Александру Невскому. Столько всего мы повидали за прошедшие два дня! Зато впечатлений мне осталось на всю жизнь.

В этом году мы собираемся во Владимир, в Суздаль, в Санкт-Петербург. Но не подумайте, что всю мою жизнь я только и делаю, что путешествую. Нет! Я увлекаюсь игрой на фортепиано — учусь в шестом классе музыкальной школы. Сейчас самостоятельно учусь играть на гитаре, занимаюсь спортом, туризмом и вообще всем интересным. А в будущем моя мечта — стать журналистом. Как вы думаете, у меня получится?

Иногда я сочиняю небольшие стишки, но не стала их вам присылать, так как посчитала их недостойными вашего журнала. Но я просто обожаю писать сочинения на разнообразные темы. Люблю читать книги разных жанров и разных писателей. Иногда пишу коротенькие рассказы и истории.

Мне очень нравится ваш журнал. Я выписываю его только год, но мои впечатления о нем самые лучшие.

Я бы хотела также познакомиться с девочками и мальчишками из разных уголков нашей страны.

Еще раз огромное вам спасибо!

Аня МАКСИМОВА,
Москва

Всё переменится к лучшему

Привет редакции «ШРГ» из города Рыбинска! Сегодня у нас сыро и хмуро. Слышится лишь стук капель по старой клеенке на балконе. Это тает прошедший ночью снег. Как жалко! Грустно смотреть на лужи, мокрый от дождя асфальт, голые ветки деревьев...

А ведь какая у нас в городе зима!

Вроде бы Рыбинск недалеко от Москвы, а зима в этих городах такая разная. У нас не увидишь жидкое месиво из грязного снега, стоптанное тысячами ног. В нашем провинциальном городе тихо и уютно. Моя душа наполняется ликованием, когда я иду по заснеженным тротуарам, любуюсь яркими, украшенными к Новому году витринами магазинов, а снежинки, искрясь в свете фонарей, ложатся на мое раскрасневшееся лицо. Везде елки, мишура, гирлянды... А в одном магазине на витрине, представляете, поставили говорящую елку! Вот стоит она, вроде обычная елочка в красной шапочке, а потом вдруг открываются ее зеленые глаза, ярко алый рот и елка, пританцовывая, начинает петь. Я, от неожиданности даже вскрикнув, отпрянула!

Город у нас такой маленький, что через тридцать минут ты уже «за городом». Лес — просто сказка. Вот где, а не у неоновых вывесок магазинов, свершаются настоящие чудеса. Кажется, будто здесь на снежном покрывале вспыхнет сказочный костер, у которого в полночь соберутся двенадцать месяцев.

Я люблю зиму! Люблю снег! Люблю Новый год! Под Новый год принято переосмысливать жизнь, что-то менять к лучшему, задумываться о будущем. Я хочу просто ЖИТЬ и РАДОВАТЬСЯ жизни, зиме, празднику. Хочу по-детски верить в Деда Мороза, в Снегурочку и в то, что жизнь обязательно переменится к лучшему. А как иначе?

P.S. Надеюсь, температура к Новому году упадет хотя бы до нуля.

P.S. № 2. Какая же я невоспитанная! Забыла поздравить весь коллектив «ШРГ» с праздником. Счастья вам, радости и большое спасибо за то, что вы делаете.

Вас поздравила

Таня ШИЛЕНКОВА,
город Рыбинск.

Свежая струя

Здравствуй, уважаемая редакция журнала «ШРГ»!

Пишет вам Пяткова Татьяна Александровна, библиотекарь. Третий год выписываю для нашей сельской школьной библиотеки ваш, а теперь и наш журнал. Очень хорошо, что он есть. Хотя какая-то свежая струя появляется в нашей сельской школьной библиотеке, где мы давно уже не видим ни одного детского журнала, а литературы для внеклассного чтения совсем мало. Хочется хоть чем-то новеньким, интересным порадовать ребят и учителей.

Спасибо за подарок, который мы получили с первым номером журнала за 2000 год. Книги востребованы. Ребята готовят сообщения к урокам истории, также интересуются судьбой выдающихся личностей.

Ребята младших классов в «ШРГ» с удовольствием читают журнал в журнале «Большая переменка». С удовольствием и терпением ждем новые журналы «ШРГ» в новом тысячелетии.

Удач вам, успехов, благополучия в новом году.

С уважением,

Т.А.ПЯТКОВА,
Приморский край,

Октябрьский р-н, с. Фадеевка

Пусть радость в двери к вам стучится.

Удача мимо не пройдет!

И все хорошее случится,

Удачным будет Новый год!

Первый раз

Что такое первое соревнование для спортсмена? Может быть, это похоже на первую любовь или на чувства первоклассника, которые он испытывает первого сентября? Нет, вряд ли. Это какие-то непонятные нам ощущения. Но мне удалось поговорить на эту тему с тремя нашими спортсменами: двукратной чемпионкой Олимпийских Игр по спортивной гимнастике Еленой Замолодчиковой, четырехкратным чемпионом мира по прыжкам на акробатической дорожке Леоном Петросяном и бронзовым призером Олимпийских Игр в Сиднее Алексеем Бондаренко.

Для каждого из них первое соревнование было чем-то особенным.

— Я была совсем маленькая... Но я была так рада, куча эмоций, забываемо, — говорит Елена Замолодчикова.

А вот для Алексея Бондаренко первое соревнование стало настоящей трагедией. Маленький Алеша нагрубил судье и за это вместо первого места получил второе.

— Я выступал лучше всех, — говорит он, — но маленький был, не понимал ничего, вот и нагрубил судье.

Самые яркие впечатления от первого выступления остались у Леонова Петросяна.

— Вы помните свое первое соревнование? — спросила я.

— Конечно же помню, — смеется. — Потому что так получилось, что на первых же соревнованиях, на которых я выступал, я выиграл.

— И какие у вас ощущения тогда были?

— О, я был на седьмом небе от счастья! Мне вручили грамоту, красивый детский приз. Я его до сих пор храню, как самую главную мою реликвию.

Светлана БЕНДОСЕНКО



Под
крыльями
Пегаса



«Волшебные строки» Ани Бабкиной

Аня Бабкиной четырнадцать лет. Она живет в г. Воронеже и учится в 8 классе. Аня занимается в клубе юных сочинителей при библиотеке имени С.Я.Маршака, которым руководит детский писатель В.А.Добряков. Аня — сочинитель со стажем: стихи и веселые рассказы она начала писать еще в третьем классе.

Я хочу услышать тишину,
Посмотреть забытый старый фильм,
И увидеть в облаке луну,
И узнать, о чем трещит камин.

Мне снились скалистые горы
И туманный Эльбрус вдалеке.
И бурливые, серые волны
На капризной кавказской реке.
Мне приснился орел в Пятигорске.
Он пытается в небо взлететь.
И парить над простором вселенским,
Но мешает холодная медь...

Стихи рождаются, как птицы
И улетают в облака.
Пусть в каждом доме поселится
Одна волшебная строка.

О ЛЮБВИ

Я хранила сухие цветы
На любимых страницах романов.
Я мечтала, что принц — это ты,
И сухие цветы целовала.

Я хотела тебя заменить
Неживым черно-белым портретом
И пыталась мгновенья продлить
Из прекрасного жаркого лета.

Ты не знал, ты не думал о том,
Что в тот вечер тебя полюбила,
Мы играли с пушистым котом,
Он мурлыкал тихонько и мило.

Я представить себе не могла,
Что стихи посвящу тебе эти.
Про тебя мне шептала луна,
А строка родилась в лунном свете.

ГАДАНИЕ

Сорву ромашку на лугу
В вечерней тишине.
Все лепестки ей оборву,
Узнать бы только мне,
Меня ли любишь, милый мой.
А если скажет: «Нет»,
Нарву еще цветов с собой,
Ромашковый букет.
И буду до ночи гадать.
Ты знаешь, я могу
Все-все ромашки оборвать
Не на одном лугу.

Я каждый день мечтаю о тебе:
Когда смотрю на белые ромашки,
На облака в бездонной синеве,
На бабочки, траву и на букашки.
Я представляю много сотен раз
Твой взгляд, твои слова, твою улыбку.
И пролетает так за часом час,
А я в тетрадах делаю ошибки
Твои глаза мне снятся по ночам,
Синее васильков и незабудок,
И в комнате всю ночь горит свеча,
Закапав воском маленькое блюдо.

ЗИМНИЙ ДОЖДЬ

Что за чудо! Дождь зимой!
Это осень запоздало
Весточку свою прислала,
Чтобы зиму гнать долой.
Но ведь каплям все равно —
Что им снег, и что им слякоть,
Им бы только петь и плакать,
И всю ночь стучать в окно.
Им бы только пролететь
Мимо близких звезд и дальних,
И узнать чужую тайну,
И мотив чужой допеть.
Тальи́й снег поцеловать,
Прикоснуться к старым листьям,
Зашифрованные письма
На окошках оставлять...

Стоят деревья, словно в серебре.
Оделись ветки белой фатою.
Их осветило солнце на заре,
И принакрыло небо синевой.

Природа им дарила красоту,
Их целовал ночами нежный ветер.
Сосульки пели «дили-дили-дун»,
Деревьев краше не было на свете.

А утром просыпался старый дом,
Сияли в окнах ребятишек лица.
Все думали, что жизнь — забытый сон,
Но почему-то до сих пор он снится.

Мне хочется жаркого снега,
 Мне хочется талой воды.
 И белого скучного неба,
 И шумной, веселой зимы.
 Чтоб падали хлопья на шляпы,
 И снег все деревья укрыв,
 И с неба скатившейся каплей
 Узор на стекле вдруг застыл.

Пегас ускакал, захватив вдохновенье.
 Не пишутся строки в тетрадь,
 И значит, что где-то непризнанный
 гений

Сел новую повесть писать.
 Он сказку придумал, разбитое сердце
 Заставил себе диктовать.
 Он дома на месяц решил запереться,
 Чтоб только писать и писать.
 Непризнанный гений десятого класса,
 Зачем не выходишь во двор?
 Ты хочешь, я стану принцессой
 прекрасной,

С тобой заведу разговор.
 На чистом французском,
 без тени акцента
 Спрошу о сердечной тоске.
 Непризнанный «гений»,
 ведь счастье бесценно,

Его подарю я тебе!
 Я сердце раскрою,
 прекрасные строки
 На волю пушу в небеса,
 И с первой звездой, забросив уроки,
 Я сяду поэму писать.
 Пегас ускакал, захватив вдохновенье,
 Не пишутся строки в тетрадь.
 Я верю, что где-то непризнанный гений
 Решил о любви рассказать.

РУССКОМУ СОЛДАТУ В ЧЕЧНЕ

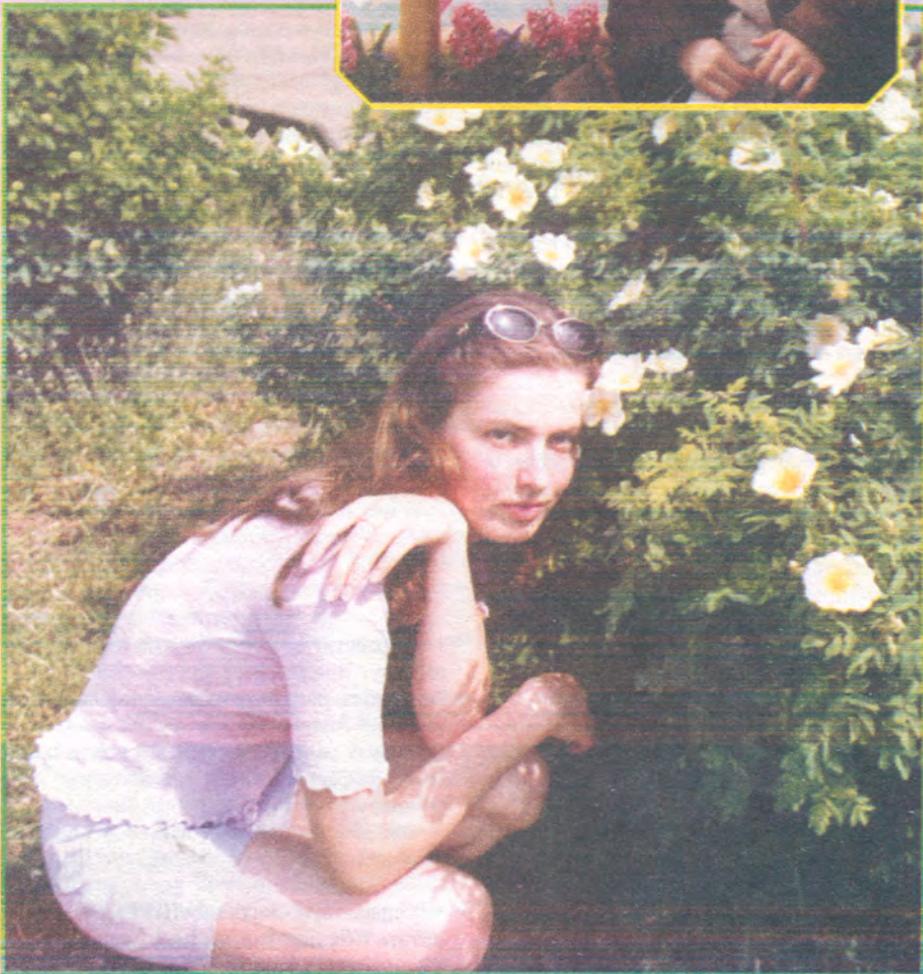
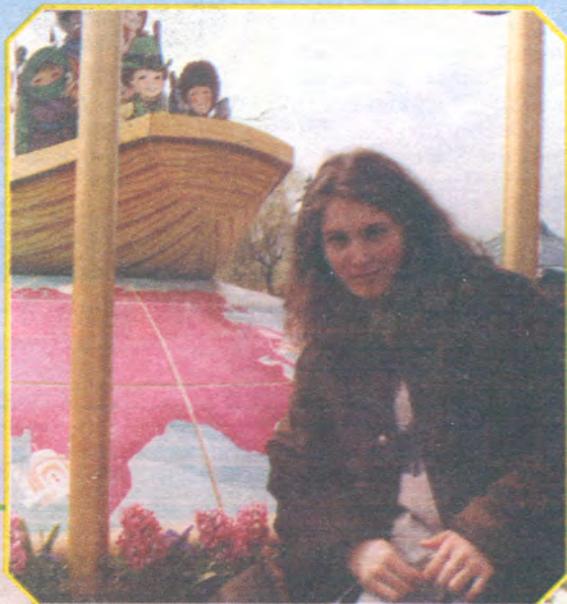
Какие синие глаза твои!
 Совсем как небо над весенним
 Грозным,

Когда в горах бушующие сосны
 На свете зеленеют не одни.
 А где-то там, в родимой стороне,
 Цветут в садах и яблони, и вишни,
 Ведь там в России выстрелов
 не слышно,

Ведь там так мало знают о войне.
 А здесь весна. И трудно умирать,
 Когда тебе всего лишь девятнадцать,
 Когда с девчонкой хочешь целоваться
 И запахи акации вдыхать.
 И трудно жить, когда в твоих глазах
 Не небо отражается, а взрывы,
 Когда тебе порой бывает стыдно,
 Что ты живешь, а кто-то в небесах.
 Но верь: вернешься скоро ты домой
 И слезы матери своей осушишь,
 И в Храме Господа помянешь души
 Друзей твоих, убитых той войной!

КОЖУРЕ ШКОЛЬНОЙ КРАСОТЫ

Эля ШАРИПОВОЙ 16 лет.
 Она живет в г. Набережные
 Челны и учится в 11 клас-
 се гимназии №76 с углуб-
 ленным изучением англий-
 ского языка. Кроме англий-
 ского, изучает еще и фран-
 цузский, минувшим летом
 она побывала во француз-
 ском лагере, общалась с
 французскими сверстника-
 ми. Эля веселый, общи-
 тельный человек, любит
 петь, танцевать и любит,
 чтобы рядом с нею были
 цветы — самые разные.



Здравствуй, «Школьная роман-газета»! Увидев тебя в библиотеке, решила написать в рубрику «Ау, где ты?..», потому что у меня нет друзей по переписке, просто некому писать.

Итак, меня зовут Катя, мне 13 лет. Мне нравится шить, вязать, слушать различную музыку. Обожаю животных. В свободное время рисую и, кстати, неплохо (так говорят в школе). Очень нравится писать и получать письма. Хотела бы переписываться с девчонками и мальчишками от 12 лет. Пишите! Отвечу всем! Пока!

175132, Новгородская обл., Парфенский р-н, д. Федорково, ул. Фестивальная, д. 14, Осиповой Кате.

Hello, моя любимая «ШРГ»! Мне бы о-чень хотелось попасть в вашу великолепную рубрику «Ау, где ты?..». Я все думала, написать или не написать. И вот решилась. Нехваткой друзей не страдаю, но вот друзей по переписке у меня нет. (А очень хочется, чтоб были!!!)

Немного о себе. Меня зовут Олеся. Мне 14. Учусь у преподавателя английского языка, в музыкальной школе, в общеобразовательной школе. Везде оценки положительные, НО Я НЕ ЗАНУДА! Люблю хорошие диски: Scooter, Five, BSB, «Руки вверх», Демо, «Виррус», Off spring и другие

Пишите, девчонки и мальчишки (от 13 и до бесконечности). Жду писем! Goodbye!

141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о Менделеево, ул. Институтская, д. 11, кв. 41, Комриковой Олеся.

Пламенный привет с «Белоры» редакции «ШРГ». Пишет вам ваша поклонница. Зовут меня Лена. Очень прошу опубликовать мое письмо в рубрике «Ау, где ты?..».

Мальчишки, любящие интересно поболтать и пооткровенничать с привлекательной, обаятельной, прикольной, с хорошим пониманием девчонкой, пишите мне!!! Меня зовут Ляля, мне 15 лет, люблю слушать отличную музыку, обожаю спорт, по гороскопу — Овен. Остальное узнаете после.

Пишите, жду.

352600, Краснодарский кр., г. Белореченск, ул. Луначарского, д. 120, кв. 77, Ляле.

Привет всем! Здравствуй, дорогая редакция «Школьной роман-газеты»! Я уже третий год выписываю ваш журнал. И он становится все лучше и лучше. Я очень хочу найти друзей по переписке, надеюсь, что вы опубликуете мое письмо.



АУ, ГДЕ ТЫ?..

Меня зовут Алина. Мне 13 лет, учусь в 7 классе. Увлекаюсь рисованием, чтением. Хожу в музыкальную школу. По гороскопу — Близнец. Родилась в год Кролика. Не увлекаюсь современной музыкой, но слушаю группы: «Руки вверх», Aqua, «Виррус», «Иванушки», «Блеск», «Блестящие». Ну вот и все. Остальное узнаете из писем. Не забудьте прислать фотографию, если надо — верну. Пишите все! Пока!!!

450024, Башкортостан, г. Уфа, ул. Левитана, д. 38/1, кв. 41, Каматовой Алине.

Здравствуйте! Мы две прикольные девчонки Анюта и Кюня, нам по 15 лет, мы хотели бы переписываться с девчонками и мальчишками от 13 до 16 (но ответим всем).

Обожаем дискотеки. Слушаем современную музыку и любим животных.

Ответ гарантируем на 100 процентов.

636070, Томская обл., г. Северск, ул. Царевского, д. 7, кв. 25. Анюте.

Здравствуй, мой любимый журнал! Меня зовут Вика, мне 12 лет, я учусь в 6 классе. Люблю рисовать, читать. Мой любимый певец — Андрей Губин, группа — «Стрелки». Буду рада познакомиться с девочками моего возраста. Пишите все, кто хочет найти подругу по переписке.

641351, Курганская обл., д. Месниково, Вайшой Вике.

Здравствуй, дорогая «ШРГ»! Я начала читать тебя недавно, но уже с первых строк ты мне очень понравилась! С твоей помо-

щью я нашла себе новую подружку из рубрики «Ау, где ты?..», она просто замечательный человек, но я хочу познакомиться еще с кем-нибудь, поэтому, пожалуйста, опубликуйте мое письмо в рубрике «Ау, где ты?..».

Привет всем! Меня зовут Юля, но все называют меня Юла, потому что я очень веселый и активный человек. Мне 12 лет, я учусь в 7 классе. По гороскопу — Дева и Дракон. Мое хобби — плавание, чтение, рисование. Люблю гулять, ходить на дискотеки, в походы, путешествовать. Хочу переписываться с девчонками и мальчишками любого возраста. Пишите, отвечу всем без исключения!

618425, Пермская обл., г. Березники, ул. Потемина, 12-43, Юле.

Уважаемая редакция «Школьной роман-газеты»! Я очень люблю читать ваш журнал. С пятого класса в свободные минуты я не могу от него оторваться. Над грустными произведениями иной раз плачу, а над веселыми — смеюсь. Я очень хочу, чтобы этот журнал был у каждого дома.

О себе: меня зовут Олег. Мне 12 лет. Учусь в 7 классе. Люблю читать «ШРГ», рисовать. Увлекаюсь плаванием и английским языком. Хожу на дискотеки, слушаю музыку: SCOOTER, NIRVANA, DEMO, «ВИРУС», «РУКИ ВВЕРХ». Присылайте письма, девочки и мальчики, отвечу всем!

414016, г. Астрахань, ул. Ветовникова, д. 11, кв. 65, Белову Олегу.

Привет всем! Меня зовут Катя. Очень хотела бы познакомиться с другими ребятами и девчонками из разных уголков России. Хочется побольше узнать о том, как живут ровесники за сотни, тысячи километров от тебя.

Я обожаю путешествовать, читать, писать письма и заниматься спортом. Люблю танцевать, купаться в море и дурачиться! Пишите мне, ребята и девчонки! Жду с нетерпением!

195298, г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 5, к. 3, кв. 245, Кате К.

Здравствуй, редакция «ШРГ»! Меня зовут Вадим, мне 16 лет. Очень люблю в свободное время читать ваш журнал, где есть много интересного, поучительного и полезного. Учусь в сумасшедшем, но прикольном классе средней школы. Пишу потому, что не люблю скучать, хочу найти друзей

по переписке из всех уголков страны и за рубежом. Мои увлечения: история, спорт, искусство (рисование), техника, компьютерные игры, сочинение стихов, чтение журналов, книг. Люблю слушать музыку всех стилей. Люблю животных, смотрю все мировые кинофильмы, особенно фантастику и ужасы. Мои любимые группы: «На-На», «Вирус», «Руки вверх», «Отпетые мошенники», Демо, Scooter. Подробности в письмах. Отвечу всем!

606406, Нижегородская обл., Балахнинский р-н, г. Правдинск, ул. Олимпийская, д. 6, кв. 29, Вадиму К.

Привет, любимая «ШРГ»! Меня зовут Наташа, друзья называют просто Натка. Мне 13 лет. Увлекаюсь волейболом, шейпингом, театром мод. Слушаю «Руки вверх», Демо, «Вирус» и др. Пишите, мальчишки и девчонки. Пока!

412616, Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, п. Свободный, ул. Рабочая, д. 17, кв. 1, Есеевой Натке.

Привет всем, всем, всем! Я веселая зеленоглазая девчонка по имени Диана. Мне 14 лет. Я люблю иностранные группы и песни под гитару. Обожаю животных, красные розы и чувство юмора у людей. Хожу на дискотеки и вечеринки, люблю общаться со своими друзьями. Я хочу найти друзей по переписке из разных уголков нашей страны. Пишите. Отвечу всем!

309164, Белгородская обл., Губкинский р-н, с. Толстое, Анакиной Диане.

Привет, любимая «ШРГ»! Я очень люблю писать и получать письма. Ваш журнал я беру в библиотеке первый год, и он мне очень нравится. В нем так много интересного!

Немного о себе: меня зовут Марина, мне 14 лет. Везу. Обожаю слушать музыку, особенно группы «Руки вверх», «Стрелки», Демо, «Вирус» и т.д. Все остальное вы узнаете, если напишете мне письмо. Пишите, я буду ждать!!!

403015, Волгоградская обл., Городищенский р-н, п. Грачи, Чистяковой Марине.

Здравствуй, дорогая редакция! Мне ваш журнал очень нравится, я всегда беру его из библиотеки домой, чтобы спокойно почитать. Привет всем девчонкам и мальчишкам! Меня зовут Анжела. Учусь в 9 классе, мне 14 лет. В свободное время гуляю с друзьями, учу уроки, хожу на дискотеки, слушаю музыку. Обожаю группу «Руки вверх». Я симпатичная, умная и, поверьте, очень веселая девчонка. Пишите, я с радостью отвечу всем, обещаю!

452822, Башкирия, Янаульский р-н, с. Атлегач, д. 1, Ильчибаевой Анжеле.

Привет всем мальчишкам и девчонкам, читающим «ШРГ»! Меня зовут Юля. Мне 15 лет. Я учусь в 10 классе. Очень хочу най-

ти настоящих друзей и подруг по переписке. Я люблю животных, увлекаюсь фотографией. Мне нравятся группы «Руки вверх» и Hi-Fi. Пишите. Отвечу всем. Возраст значения не имеет. Жду писем!

416366, Астраханская обл., Икрянинский р-н, с. Вахромеево, ул. Пионерская, д. 4, Бушиной Юлии.

Привет! Меня зовут Елена, мне 15 лет, по гороскопу — Телец. Люблю слушать музыку, читать фантастику, романы, журналы. Мне нравятся группы: BSB, «Отпетые мошенники», «Иванушки», «X-миссия», «Амега», Демо, «Вирус» и др. Возможен обмен информацией. Пишите. С нетерпением буду ждать от вас писем и отвечу всем!

420037, г. Казань, ул. Айдарова, д. 7, кв. 150, Масловой Елене.

Привет, пацаны и девчонки! Меня зовут Натали. Мне 15 лет, по гороскопу — Козерог. У меня зеленые глаза, длинные каштановые волосы, я стройная, среднего роста. Люблю танцевать, рисовать, общаться с друзьями, слушать музыку и знакомиться по переписке. Мне нравятся «Руки вверх», Н. Орейро, Рики Мартин, «Отпетые мошенники», Энрике Иглесиас.

422907, Республика Татарстан, Алексеевский р-н, с. Левашово, ул. Молодежная, д. 36, кв. 2, Николаевой Натали.

Здравствуй, уважаемая редакция «Школьной роман-газеты»! Я очень люблю читать ваш журнал, он очень интересный. Очень хочу найти друзей по переписке! Меня зовут Ольга, мне 15 лет, по гороскопу — Близнец. Я — среднего роста стройная зеленоглазая шатенка с короткими каштановыми волосами. Люблю танцевать, слушать музыку, особенно мне нравятся Деид, «Руки вверх», «Отпетые мошенники». Пишите! 422907, Республика Татарстан, Алексеевский р-н, с. Левашово, ул. Советская, д. 13, Шешной Ольге.

Здравствуй, уважаемая редакция! Меня зовут Валя. Я люблю слушать современную музыку, просто обожаю читать детективы и приключенческие романы. Еще люблю общаться с интересными людьми, писать письма и фотографироваться. Мне 13 лет, по гороскопу — Телец. Мальчишки и девчонки, пишите мне! Отвечу всем.

P.S. Не стесняйтесь делать ошибки, я почитаю их за ваши улыбки!!!

309219, Белгородская обл., Корочанский р-н, с. Проходное, Дорониной Валентине.

Здравствуй, любимый журнал «ШРГ»! Мне очень нравится тебя читать. Расскажу немного о себе. Мне 15 лет. Блондинка с зелеными глазами. Рост 1 м 62 см. Люблю слушать Алсу, Земфиру, группу «Девочки», обожаю «Иванушек». Могу обмениваться информацией о «Иванах». Любимый город — Москва. Люблю танцевать.

Пишите все — от 14 до 18 лет! Постараюсь ответить всем!

P.S. Очень прошу написать мне Керосинову Лолиту!

168076, Республика Коми, Усть-Куламский р-н, п. Лопью-вад, ул. Новая, д. 2, кв. 4 г, Кармановой Ирине.

Привет всем! Меня зовут Ира, мне 14 лет. Люблю писать письма и дружить по переписке. Пишите все — девчонки и мальчишки!

309614, Белгородская обл., Новооскольский р-н, с. Большая Яруга, Мазниченко Ирине.

Здравствуй, редакция моей любимой «Школьной роман-газеты»! Я очень люблю читать вашу газету, выписываю ее недавно. Меня зовут Марина, мне 12 лет. Я учусь в 7 классе. Очень люблю слушать музыку (например, «Руки вверх», Земфиру, AQUA). Мне очень нравится смотреть сериалы, такие как «Дикий ангел», «X-Files» и многие другие. Люблю животных и увлекаюсь рисованием. Хожу в ДХЛИИ — детский художественный лицей изобразительных искусств. Пишите все — девчонки и мальчишки, не зависимо от возраста. Отвечу всем!

660023, г. Красноярск, ул. Рейдовая, а/я 15489, Макаревич Марине.

Привет всем! Девчонки и мальчишки от 13 лет — пишите мне! Меня зовут Алена. Мне 14 лет. Учусь в 9 классе. Люблю гулять с друзьями, слушать музыку, особенно «Вирус», «Руки вверх», читать, смотреть «Секретные материалы». По гороскопу я Лев и Тигр. Пишите все! Ответ напишу обязательно!

422624, Татарстан, Лашиевский р-н, с. Столбищи, ул. Нефтяников, д. 12-2, Ахтаревой Алене.

Привет! Меня зовут Максим, я учусь в 7 классе, мне 13 лет. Очень люблю читать, особенно детективы и фантастику, и рисовать. Слушаю «Оскара», «Руки вверх» и многое другое. С нетерпением жду писем! Пока!

452620, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Ленина, д. 7, кв. 54, Назарову Максиму.

Здравствуйте, редакция «ШРГ»! Я хочу познакомиться и переписываться с девчонками и мальчишками до 18 лет. О себе: я учусь в 10 классе, мне 16 лет. Зовут меня Ирина. Я люблю читать, вязать, гулять. По гороскопу я Лев, а родилась в год Крысы. Пишите все, кому не лень. Отвечу всем!

404159, Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, п. Гоститомник, д. 14, кв. 1. Дектярёвой Ирине.

Ждем ваших писем и цветных фотографий (сделанных не «Полароидом»)





Проба пера

«Времена года»

Наташи Поплеухиной

Наташа Поплеухина живет в г. Рышма Свердловской области, учится в 10 классе. Наташа эмоциональный человек и очень любит родную природу. Еще она любит музыку, особенно «Времена года» П.И. Чайковского. Так Наташа назвала и свои литературные зарисовки «Времена года».

Осень

Я не очень люблю осень, — все напоминает о лете, еще помнятся теплые летящие деньки, а уже клонит в сон. Все гибнет — гибнет от рук злостных и верных сподручных осени: дождя и ветра. А ведь А.С. Пушкин любил осень; подумайте только, как же лицемерна эта злодейна, раз сумела завоевать сердце великого русского поэта. Согласно: осень красива в самом начале — и небо еще синее и далекое, как летом, солнце такое же яркое, воздух чист и свеж, а уж деревья просто как в сказке, трепещут на ветру бордовыми, красными, желтыми листьями, разбрасывают во все стороны эти золотые монеты, устилают ими земной покров.

Но уже скоро все, все поблекнет. Небо делается свинцовым, зарядят нудные, беспрестанные дожди, превращая проселочные дороги в жидкое месиво. Солнце лишь изредка вынырнет из пелены тяжелых туч.

Осени ты нередко чувствуешь себя невероятно одинокой, особенно, когда слышишь крики улетающих на юг птиц. Все увядает вокруг: жухнет трава, становятся голыми деревья, в лесу пахнет прелым листом. Гуляет ветер, природа словно ждет, — когда, наконец, можно заснуть и успокоиться.



Зима

А кто же не любит зиму? Посмотришь ввысь, а там чистое, шатровое небо, голубое-преголубое, повсюду искрящийся снег: на крышах домов, на дорогах, под ногами — просто повсюду снег, белый как сахар.

А как чудно зимою в лесу! На деревьях снежные шапки, на полянах горки, сугробы, а если прислушаться, то можно услышать задорный хохот матушки Зимы, чудится, стоит она за елками, хлопает своими большими рукавицами по своей пушистой шубе, и, как по волшебству, повалит снег хлопьями.

И тут приходит Новый год — запах хвои, предпраздничная веселая суета, водворение елки в дом, светящиеся гирлянды, елочные украшения и радостные ребячьи лица, восторги при виде красного носа Деда Мороза и красавицы Снегурочки на новогодних утренниках.

В ночь с 31 декабря на 1 января во всех домах звучит магическое слово — «желаю». Мы обдумываем свои пожелания заранее, чтобы озвучить их под бой курантов с бокалом шампанского в руке и положить ее на судьбу — пусть исполняет, что мы задумали.

В новогоднюю ночь небо вспыхивает разноцветными огнями фейерверков. До утра будут слышны голоса и радостный смех за окном.

Потом нас ждет Рождество — не менее прекрасный, светлый праздник, — ряженые, песни, колядки.

Мне кажется, зима с ее снежками, снежными бабами, санками-салазками, лыжами и коньками — сама по себе большой праздник.



Весна

Кап... кап... — ключевые звуки весны, именно так она начинается: с внезапно светлых деньков, свисающих с крыш домов гигантских сосулек, с почернением и дальнейшим таянием снега, а потом с набуханием почек на деревьях, птичьих трелей.

Птицы поют радостный гимн, провозглашая приход весны.

Уходят в небытие последние принадлежности зимы: тает снег, превращаясь в веселые, быстротечные ручейки, по которым мальчишки пускают кораблики, дни становятся дольше, теплее и милее, тает лед на водоемах.

Глянешь вверх... а небо светлое-пресветлое, теплое и бездонное, в такие моменты и в твоей душе наступает весна: словно возрождаешься и начинаешь заново понимать всю прелесть жизни, ее глубокий смысл. Радость от прихода весны кажется всеобщей, а все житейские проблемы будто уходят на второй план.

А тут приходит май, его первые клейкие листочки на деревьях, нежная зелень и пение соловья.



Лето

«Зелень нивы, рощи лепет, В небе жаворонка трепет», — сказал наш русский поэт Василий Андреевич Жуковский о лете.

С приходом лета все преобразуется: солнце поднимается на небосклоне все выше и светит все ярче, небо синее и делается огромным; куда ни глянь — повсюду блестит изумрудная, сочная зелень, в лугах пестреют цветы. В лесах и парках слышен шелест листвы — это деревья шушукуются между собою о том, что пережили за прошедшее время.

И, о радость, летом у миллиона детей наступают каникулы, — самые долгожданные, самые теплые, самые длинные и запоминающиеся. Лето — словно создано для детей.

А взрослые летом будто впадают в детство: вновь брызгаются в воде, строят на берегу замки из песка, плетут венки, карабкаются на деревья, гуляют в лесу и набивают рот душистой земляникой.

Летом ты чувствуешь себя свободной, словно ты птица. И понимаешь: пережитое не повторяется. А ведь это были мгновения счастья.



Если у вас пересыхает во рту и словно комок застревает в гортани во время выступлений, если по дороге к доске у вас вылетают из головы все знания по предмету, если вы испытываете неловкость и неуверенность в новой веселой компании, то вы можете отказаться от публичных выступлений и прослыть тихоней, или смириться с долей необщительного собеседника в веселой компании, или заняться самокритикой, или...попробовать взять себя в руки и навсегда избавиться от неуверенности и страха с помощью психологической методики.

Если вы выбрали один из первых трех «выходов», то можете дальше не читать. Моя статья адресована тем, кто

СРЕДСТВО



еще не поставил на себе крест и надеется еще многое изменить в своей жизни. Я не хочу давать никаких советов и никого ни в чем убеждать, особенно в таком сложном вопросе, как человеческая психика. З. Фрейд говорил: «Очень плохо пытаться вылечить любовью», а старинная китайская книга мудрости гласит: «Учитель говорит единожды». Я лишь предлагаю один из выходов из стресса, широко распространенный в групповой психотерапии, а уж принять вам его или нет — решайте сами.

В общем-то, «психологическая методика» — слишком громкое название для этого простого упражнения. Но для того, чтобы к нему приступить, нужно понять очень простую истину. Надо осознать, что удачниками и неудачниками, принцессами и золушками, отличниками и двоечниками не рождаются. Очень многое зависит от нас самих, и часто наши успехи и неуспехи — дело наших рук, нежели воля судьбы или случая. Даже для того чтобы стать гением нужно изрядно попотеть, вспомните, что «гений — это 99% потения и 1% вдохновения». Конечно, «случай» — невыдуманное явление, но нельзя же всю жизнь прожить в ожидании случая (который может так и не случиться) или стать фаталистом и опустить руки. Ведь это легче всего — сложить всю ответственность за свою жизнь на посторонние силы, а самим сидеть сложа руки и ждать, пока пятерочки сами посыплются в ваши дневники, или пока принцы сами позвонят в вашу дверь, или, хуже того, смирились с неизбежностью своей судьбы, жить с «кислой миной».

После того как вы отведете главную роль в своей жизни себе, считайте, что больше половины пути вы прошли и можно приступить к этому самому психологическому упражнению.

Итак, будьте внимательны. Всякий раз, когда вы будете испытывать неуверенность в себе, будь то в школе или в веселой компании друзей, вспомните тот случай в вашей жизни, когда вы были очень уверены в себе (ведь даже у очень робких людей бывают минуты храбрости), и постарайтесь вернуть себе былое чувство уверенности в себе. (Не отчаивайтесь, если у вас это не получится с первого раза, у многих на это уходят целые недели.) Как только вы вновь, хотя бы на миг, почувствуете уверенность в себе, постарайтесь закрепить это чувство каким-нибудь нейтральным движением. Этим движением могут стать самые простые жесты: жест рукой — поправить прическу, покрутить кольцо на пальце, можно скрестить пальцы (девuschкам); поправить галстук, откашляться (хорошо перед устным ответом), сцепить руки (юношам). Выберите себе какой-нибудь один жест и используйте его. После многократного применения упражнения у вас выработается на этот жест условный рефлекс, а по-простому — привычка. Теперь, когда вы будете не уверены в себе и от неуверенности испытывать страх, вам достаточно будет сделать этот жест, и состояние уверенности будет вновь возвращаться к вам. Вы

ОТ НЕУВЕРЕННОСТИ



будете сами произвольно вызывать его! Вот, собственно, и всё упражнение, которое современные психологи считают самым быстрым и эффективным средством против неуверенности и страха.

Если ваши глаза загорелись энтузиазмом, а в душе затеплился огонек надежды, то держайте, мальчики и девочки, флаг вам в руки, а если вы еще продолжаете сомневаться, то все равно попробуйте, могу вас уверить: хуже не будет!

Полина ПЕТРУШИНА,
г. Обнинск, Калужской обл.

БЕГ ПО ОСТРИЮ НОЖА,

ИЛИ

Еще одна повесть о первой любви*

Глава 7. ОДНА

Умереть Вике не удалось. Уже в машине «скорой помощи» она окончательно пришла в себя. Оставалась лишь легкая слабость в руках и ногах. На все расспросы пожилого седого врача она отвечала — переутомилась, готовилась к контрольным. Врач посоветовал больше гулять, есть витамины и разумно чередовать труд и отдых.

После укола Вике отпустили домой. Она ехала в автобусе, а в голове крутились мысли о том, что в школу она больше не пойдет, по крайней мере, в эту. Что ей там делать? В ней все чужие. Аська ее предала, Лосеву она никогда не понравится, особенно теперь, когда все считают ее стукачкой, когда Ванька посмел ее ударить...

Вика поморщилась. Даже всеми презираемую Нелю Корочкину никто в их классе никогда не трогал. А ее, Виду... Она еле сдержалась, чтобы не разрыдаться. В самом деле, чего держаться за эту школу? Все равно через год уходить в другую: 10 класса у них нет. Конечно, жаль покидать эти старые родные стены, Нину Викторовну, Ларису Алексеевну... Стоп? Почему ее последнее время стало так тянуть к Цапле?... Нет, она не Цапля... Кстати, она похожа на нее, Виду... Лариса Алексеевна не красавица, как, например, хитрица Инна Альбертовна, одевается скромно, но ее все любят. Пятнички на ней виснут, а старшеклассники с ней здороваются уважительно. Значит, и ее, Виду, можно любить, несмотря на лисье личико и невзрачную фигуру. Хотя, нет... В Викиной груди опять появился противный, тягучий комок. Ларису Алексеевну сегодня тоже унизили... Да еще как!

Вика отвернулась к окну, чтобы никто не видел ее слез. Нет, в этом мире защитить могут только красивое лицо, фигура — «евростандарт» и фирменные шмотки. Ничего такого не было ни у нее, ни у Ларисы Алексеевны.

Возясь с замком, Вика слышала, как в квартире надрыдается телефон. Когда дверь, наконец, открылась, Вика бросилась к трубке и самым бодрым голосом сказала:

— Алло!

Не надо, чтобы мама знала о сегодняшнем происшествии. Но это оказалась не мама. Звонила Нина Викторовна:

— Наконец-то ты дома, Вика! Я звонила в поликлинику. Сказали, тебя отправили домой. Как ты? Как себя чувствуешь?

— Нормально.

— Нормально? Ничего не болит?

— Нет.

— Почему так односложно отвечаешь? Что все-таки случилось на русском? Тебя обидели? «Двойку» поставили?

«Неужели она ничего не знает?» — удивилась Вика. — Неужели Лариса Алексеевна ей ничего не рассказала?

Вика решила гнуть ту же линию:

— Никаких «двоек» мне не ставили. Я перезанималась, Нина Викторовна. Готовилась полночи к диктанту за триместр, не выспалась, вот и...

— Ну, разве так можно, Вика? Что я скажу твоей маме?

— Ниночка Викторовна! — взволновалась Вика. — Не надо ничего рассказывать маме! Ну, зачем ее пугать?

— Пусть она тебя контролирует. Нельзя же зубрить без передыха.

— Я буду с передыхом, Нина Викторовна! Мне и врач посоветовал... укол сделали... таблетки дали. Не говорите маме! Ну, пожалуйста!

Вика чувствовала, что Нина Викторовна в замешательстве. Чтобы прекратить ее терзания, Вика поспешила добавить:

— Я сама обо всем расскажу маме. У меня и выписка из поликлиники есть, и рецепт. А завтра я не приду в школу... Можно? Отдохну... Мне и врач сказал...

— Какой разговор, Вика, — успокоилась Нина Викторовна. — Отдохни, выспись. Потом еще два выходных. В понедельник ждем тебя в школе. Договорились?

— Конечно. Спасибо, Нина Викторовна!

На следующий день вечером к Вике забежала Вера Воропаева и выпалила прямо в коридоре:

— У нас такие дела, Вичка! Такие дела! Педсовет постановил Резниченко с компашкой исключить из школы!

Вика опустила на ящик с обувью.

— Не может быть...

— Точно! За пьянку в походе.

— Так ведь Лидия Ивановна не хотела, чтобы школа знала...

— Вся школа и так знает. Лидия Ивановна это поняла и исключила.

— И Лосева?

— И Лосева, и Чекрыгину, и Брюса, и Аську твою.

— Куда ж они теперь?

— Куда-куда? — передразнила ее Вера. — Будто не знаешь? В подъезде тусоваться будут. У них в пятьдесят четвертом доме сходняк.

— Да я не про то. И Олеська, и Ритка — самые умные в классе. Им же учиться надо. Какая школа их возьмет после такого позора?

— Ты не поняла. Не совсем исключили. На неделю. Показательный процесс называется.

Вика перевела дух:

— Проходи, Вера. Что мы с тобой в коридоре?

— Нет, Вичка, я на минутку. Чего это тебя «скорая» забрала? Это из-за Ваньки, да? Наплюй, разотри и забудь.

— Вер! А «двойки» за диктант классу поставили?

— Ничего не поставили. Ванька вчера на химии в журнал влез. Там пока пустой столбик.

— Может, не поставят? — с надеждой спросила Вика, будто Вера знала ответ.

Вера вздохнула:

— Может и не поставят, если людей из-за этого «скорая» увозит.

В понедельник Вика проснулась рано. Она плохо спала, никак не могла решить, идти ей в родную школу или съездить в другую, узнать, возьмут ли у нее документы.

В конце концов она поехала в 225-ю школу, до которой шел прямой автобус от ее дома.



* Продолжение. Начало см. в «ШРГ» № 10, 11-12/2000; «Путеводная звезда. Школьное чтение», №1/2001.

Школа была огромная. Уже в вестибюле Вику чуть не свалили с ног старшеклассники. Шум стоял невообразимый. Вика растерялась: куда идти? После звонка народ понемногу рассосался, и Вика осталась один на один с охранником. Тот показал ей, как пройти к завучу.

Завуч, статная, величественная женщина с короткой стрижкой и массивными серьгами, приняла Вику настороженно. Она долго расспрашивала, почему Вика решила уйти из своей школы в середине года. Вика лепетала что-то маловразумительное про отсутствие старших классов, про то, что давно мечтала учиться именно в 225 школе.

— Ну, хорошо, — поднялась из-за стола женщина с серьгами, давая понять, что разговор окончен. — Мы созовемся с вашей школой и подумаем, что можно сделать.

У Вики упало сердце. Зачем они будут звонить? Ей не хотелось объясняться ни с Лидией Ивановной, ни с завучем Маргаритой Владимировной. Она просто хотела тихо уйти. Ну почему ей так не везет?..

Когда Вика проходила мимо пятидесяти четвертого дома, ее окликнула. В подъезде стояла Резниченко.

— Как жизнь молодая? — спросила она, выпустив в сторону Вики струю дыма.

Вика хотела было пройти мимо, но, крутанувшись на каблучках, все-таки повернулась к Олеське:

— Жизнь моя хороша, чего и вам желаю.

— Ладно, Ефимова, не злись. Как там в школе?

— Не была я в школе... — Вика присела на скамейку возле подъезда. Олеська опустилась рядом.

— Закурить хочешь?

— Не курю...

— Почему в школе не была?

— Так...

— Из-за диктанта что ли?

Вика не отвечала.

— Нечего было стучать.

Вике не хотелось спорить с ней, оправдываться. Зачем? Она молчала.

— Знаешь, когда нас исключили, — снова заговорила Олеська, — я в душе смеялась: ну и наказание, а оказалось ...

— Что оказалось?

— А оказалось, что в школу тянет... Там все наше главное ...

— Главное?

— Ну, может, не главное... основное ... Я не знаю, как сказать, только я готова перед всеми извиниться, чтобы меня пустили в класс.

— Так извинись!

— Перетерплю, — Олеська выпустила целое облако дыма. — Мне кажется, ты что-то задумала от обиды. Не будь душой. Все утрясется.

Резниченко скрылась в подъезде.

Вечером домой к Вике неожиданно пришла Лариса Алексеевна. Вика удивилась и даже испугалась, из глаз чуть не брызнули слезы.

— Проходите, — еле слышно пригласила она учительницу.

Та прошла в комнату, села на краешек дивана и, подняв к Вике напряженное лицо, негромко промолвила:

— Прости меня...

У Вики задрожали губы. Она еле пролепетала:

— За что?

— Никогда не забуду, как тебе стало плохо... А теперь из-за этого дурацкого диктанта, я слышала, ты собираешься перейти в другую школу...

— Но вы... вы же ни в чем не виноваты. Это вас ... обидели...

Лариса Алексеевна усмехнулась:

— Виновата. Разозлила всех «двойками». А ведь могла не учи-

тывать последний абзац или вообще свести все дело к шутке...

Вика присела на стул напротив учительницы и не знала, что сказать, а Лариса Алексеевна, между тем, продолжила:

— Не уходи, Вичка, в другую школу. Я знаю, ты очень любишь эту.

У Вики опять дрогнули губы, и из одного глаза выкатилась и поползла по щеке слеза.

— Я н-не смогу войти в класс... — сказала она, и напряжение, которое она сдерживала несколько дней, вылилось в рыдания.

Лариса Алексеевна погладила ее по голове.

— Не плачь, девочка... Или нет... наоборот ... поплачь... Выплачи свое горе и приходи в школу. Вот увидишь, никто не держит на тебя зла — ты была права.

— Я с-стучаю...

— Стучачи стучат за спиной того, кого предают. Ты все сделала открыто.

Потом Вика с Ларисой Алексеевной пила чай и говорил о всякой всячине, уже не имеющей отношения к тому, что произошло на свободном диктанте.

Когда за учительницей захлопнулась дверь, Вика быстро уничтожила следы ее пребывания. Мама не должна ничего знать: ни про диктант, ни про Ваньку, ни про обморок. У нее своих забот хватает. Придет опять с работы усталая. Пусть отдохнет, тем более, что у нее, у Вики, настроение после посещения Ларисы Алексеевны немного поднялось.

Утром Вика встала с тяжелой головой. В школу идти не хотелось. Все, что вчера казалось таким простым и естественным, сегодня опять выглядело неловким и унижительным. Как она посмотрит в глаза этому мерзкому Баеву? А Лосев? Он видел, что Вику можно ударить по лицу. Да еще Лариса Алексеевна... Сегодня Вика боялась встретиться с ней. Вчера они так запросто болтали на кухне. Может быть, учительница посчитает, что у нее теперь есть какие-нибудь особенные права на Вику. Станет навязываться в подруги. Некоторые учителя любят «косить» под подружек. Вике вдруг стало противно. Она даже разозлилась, и это придало ей силы. Ну нет! Не получится ни у кого сломить ее, Вику! Она ничего плохого не делала. У нее совесть чиста.

Вика натянула куртку. Когда она вошла в класс, шум, обычно стоящий до урока, сразу стих. В полной тишине, стараясь ни на кого не смотреть, Вика прошла к своей парте и села на стул. Руки дрожали, — она никак не могла ухватить язычок молнии, чтобы расстегнуть сумку. Тишина пугала. Если она не прервется сейчас каким-нибудь звуком, сумку лучше и вовсе не расстегивать. Лучшее сразу, пока не случилось еще что-нибудь жуткое, уйти, убежать, улететь, испариться...

— Вичка, принеси завтра 20 рублей на автобусную экскурсию, — голос старосты Тани Репиной прорвал, наконец гнетущую тишину, и все облегченно заговорили друг с другом, задвигали стульями, зашелетели тетрадами. Класс зажил своей обычной жизнью.

Вика медленно приходила в себя. Может быть, все наладится? Она скосила глаза в сторону, на Лосева. Увидев пустое место, Вика вспомнила, что «героев похода» исключили на неделю. В сердце сделалось больно.

Одноклассники вели себя с Викой так, будто ничего не случилось. Она была благодарна им за это, но перемены стали для Вики пыткой. Вика была одна. Совершенно одна.

(Продолжение
следует)



ПОГОВОРИМ О

Автобуса не было долго, и народа на остановке скопилось больше, чем могло вместиться в один салон. Незнакомые друг с другом люди перебрасывались словами, в которых звучало явное раздражение работой транспорта. Неожиданно этот все нараставший гул прорезал громкий взволнованный голос.

«Куда ты подевался? — кричала на малыша лет пяти бледная, что называется, без кровинки в лице, женщина. — Меня чуть кондрашка нехватила, когда я увидела, что тебя нет».

Несмотря на драматичность ситуации, по моим губам пробежала легкая улыбка. Уж больно забавно звучала из уст молодой матери старинная поговорка, которой она выразила степень своего испуга. Ведь слово «кондрашка», ставшее у нас синонимом апоплексического удара, является пренебрежительной формой имени Кондратий, которое испокон веку было мужским. А потому надо бы сказать «хватил», а не «хватила».

Но почему скоростная смерть ассоциируется у нас с этим именем? Ответ на интересующий нас вопрос мы находим в истории царствования Петра I.

Издревле на Дону находили приют люди, бжавшие от притеснений помещиков, воевод и приказных дьяков. По заведенным традициям, выдачи беглых с вольного Дона не было, и русское правительство посматривало на этот обычай сквозь пальцы. Ведь казаки обороняли южные границы Государства Российского от вражеских набегов.

Однако к началу XVIII века приток беглых на Дон сильно увеличился. Сразу же участились жалобы помещиков, постоянно терявших рабочую силу; воеводы граничивших с Доном территорий доносили в Москву о творимых у них казаками беспорядках. И тогда, презрев старинные обычаи, царь Петр I отправил на Дон отряд князя Ю.Д. Долгорукого для поимки беглых и возвращения их прежним владельцам.

Но такое пренебрежение к вековым традициям, а также изощренная жестокость, с которой Долгорукий выполнял царский приказ, возмутил все население тихого Дона. И однажды, темной осенней ночью 1707 года, бывший атаман бахмутских казаков Кондратий Булавин «со товарищи» внезапно напал на стоявший на отдыхе отряд князя и наголову разгромил его. Этот неожиданный удар произвел такое большое впечатление и на донцов, и на «москвитов», что с тех пор, когда с кем-либо случалась мгновенная смерть, в народе стали говорить: «будто Кондрашка хватил».

И таким выражениями, поговоркам и просто словам, имеющим под собой историческую основу, в русском языке нет счету. Мы по-

стоянно употребляем их в своей повседневной речи, даже не задумываясь об их происхождении и первоначальном значении. В этом нет ничего странного: связь многих из них с далеким прошлым нашей Родины лишь едва просвечивает сквозь туманную пелену времени, и далеко не всегда мы способны разглядеть ее.

«Вот вымахал с коломенскую версту!» — нередко с раздражением говорят люди о человеке, который из-за своего высокого роста мешает им хорошо видеть что-либо перед собой. Но если спросить этих раздражительных граждан, что такое «коломенская верста», боюсь, немногие дадут правильный ответ. Большинство обычно терзается или мямлит что-то о подмосковном городе Коломне.

Но Коломна здесь совершенно ни при чем. Выражение это пошло гулять по Руси Великой еще со времен «тишайшего» царя Алексея Михайловича, царствовавшего с 1645 по 1676 год. Во время его правления от Кремля до летней царской резиденции в подмосковном селе Коломенском была проложена хорошо вымощенная дорога. А вдоль нее стояли высокие столбы, отмечавшие каждую версту на этой «правительственной трассе», что было в диковинку простому московскому люду. Вот с этими-то столбами и стали ассоциироваться у москвичей высокорослые люди.

Давно уже канули в Лету эти первые российские знаки измерения расстояний, но память о них живет в народной поговорке уже более трехсот лет и, уверен, будет жить еще не один век.

Эпоха «тишайшего» преподнесла нам и известную пословицу «Делу время, а потехе час». Происхождение ее очень неожиданно. Оказывается, она напрямую связана с ..соколиной охотой. Эту фразу царь Алексей Михайлович, большой любитель сей забавы, собственноручно записал в своей настольной «Книге глаголемой Урядник: новое уложение и устройство чина сокольников пути». Правда, в те времена она звучала несколько иначе: «Делу время и потехе час».

Вроде бы и невелика разница с современной интерпретацией поговорки — всего в одном кратком слове «и», а в действительности она огромна. Особенно хорошо мы ее почувствуем, если вспомним, что слово «час» в то далекое время нередко употреблялось в том же значении, что и «время». Таким образом, царь Алексей Михайлович как бы ставил знак равенства между важностью занятием государственными делами и «хобби» — охотой при помощи ловчих птиц.

Конечно, в таком виде изречение царя вряд ли была суждена долгая жизнь, даже если учесть, что он в чем-то был прав, считал «потеху» продолжением государственных дел. Ведь в этих охотах участвовали многие родовитые бояре и иноземные дипломаты, и в такой неофициальной обстановке гораздо легче решались важные проблемы и заключались союзы. Но русский язык, как, впрочем, и любой другой, находится в постоянном развитии, и уже через непродолжительный период после смерти Алексея Михайловича слово «час» стало все реже применяться в том смысле, который вкладывал в него царь, и приобрело нынешнее значение. А посему соединительный союз «и» в афоризме государя как-то незаметно заменился на противительный «а», отчего смысл поговорки стал диаметрально противоположным первоначальному. В таком виде эта пословица живет и в наши дни.

А вот еще одно знаменитое выражение — «филькина грамота». Современный смысл его понятен всем: так называют какой-нибудь подложный, не имеющий силы документ. Но задумывался ли кто-нибудь из вас, почему эти фальшивки называют именно Филькиными, а не Колькиными или, скажем, Васькиными грамотами?

В самом деле — почему? И кем в таком случае был этот Филька, чье имя запечатлелось в русском фольклоре не менее ярко, чем вышеозначенного Кондратия? Каким-нибудь мошенником, которых достаточно водилось на Руси во все времена? Отнюдь нет. Это был весьма достойный человек — митрополит Московский Филипп,



ПОГОВОРОКХАХ

практически в одиночку боровшийся со зверствами Ивана Грозного. Пытаясь своим пастырским словом повлиять на царя, он отправлял ему послания с увещаниями прекратить жестокие казни заподозренных в измене бояр и отменить наводящую на всю страну ужас опричнину. Но эти письма вызвали у Грозного сильные приступы гнева. Он с руганью рвал их и в разговорах с приближенными презрительно именовал «Филькиными грамотами». И какая несправедливость! Злобные слова царя Ивана превратились в популярную поговорку, а имя мужественного священнослужителя, вскоре низложенного с митрополичьего престола за публичное обличение пороков царя, а затем убитого по государеву приказу, дошло до нас в уничижительном виде.

Исторические корни имеет и хорошо знакомая всем вам поговорка «носить камень за пазухой». Сегодня мы употребляем ее в переносном смысле, говоря о скрытом недоброжелательстве одного человека к другому, однако в начале XVII века, во время занятия Москвы поляками, она имела смысл самый прямой. Хотя польские завоеватели и пировали частенько за одним столом с московскими боярами, тем не менее хорошо помнили восстание «москалей» против Лжедмитрия I, когда погибло много их соотечественников. Поэтому, как писал в своих трудах польский хронист Мацевич, ясновельможные паны не доверяли русским и приходили к ним в дома, кладя за пазухи роскошных кунтушей (так назывались польские кафтаны) увесистые бульжники, чтобы в случае какой-либо заварухи не оказались безоружными.

А что означает такое известное выражение, как «во всю ивановскую», которое мы употребляем, чтобы ярче подчеркнуть русскую силу, русский размах? Увы, доподлинно это неизвестно. Существует несколько версий его происхождения, и, по мнению большинства ученых, наиболее реальную из них предложил литератор и этнограф XIX века С.В. Максимов, связав ее со звоном всех тридцати колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле. Звон их был слышен во всей Москве, конечно, не такой огромной, как ныне, но тем не менее, тоже весьма значительной по размерам. Он не только звал московских жителей к молитве, но и возвещал о победах, царских коронациях и радостных событиях в августейших семействах. «Зазвонил Иван Великий во всю свою Ивановскую колокольную фамилию», — часто говорили в давние годы, называя фамилией полный комплект колоколов на колокольне. Впоследствии слово «фамилия» выпала из поговорки, а вскоре забылась и ее связь с Ивановской колокольней, объяснял С.В. Максимов.

Из «мрачной глубины веков» пришли к нам и такие выражения как «очуметь» и «шерамыжник». Первое — не что иное, как отражение в народной памяти ужасного бедствия: эпидемии чумы, выкосившей в 1771 году едва ли не половину населения Москвы. Среди основных симптомов этой страшной болезни были помрачение сознания и бурный бред. И с тех пор, когда человек начинал нести несусветную чепуху, окружающие ставили ему шуточный диагноз: «очумел».

Второе слово — «шерамыжник» — подарила нам суровая зима



1812 года. Произошло оно от французского словосочетания «cher ami» (шер ами), что в переводе на русский язык означает «дорогой друг». Так неизменно обращались к русским крестьянам отставшие от своих частей голодные и продрогшие на ледяном ветру наполеоновские солдаты, умоляя накормить и обогреть их. Этим горемык, предпочитавших русский плен неминуемой гибели, было так много, что, завидя приближавшегося к селу одинокого оборванного француза, дозорные крестьянских отрядов самообороны со смехом говорили: «Ну вот! Еще один шерамыжник идет!» С тех пор так и стали называть всех попрошаек и прощелыг, старавшихся все получить даром и прожить за чужой счет. Называют и по сей день.

А как вы думаете, друзья мои, откуда появилось на свет Божий всем вам хорошо знакомое слово «лодырь»? Как объясняют исследователи-московеды, от фамилии профессора медицины Х.И. Лодера, который в 1820-х годах открыл в Москве «Заведение искусственных минеральных вод». Лечиться водами в то время было модно, и потому недостатка в пациентах у доктора не было. В основном, ими были настоящие люди, ибо курс лечения стоил значительную по тем временам сумму — 300 рублей. По теории Лодера, для лучшего усвоения этих вод больные после процедур должны были совершать по парку при «Заведении» длительный моцион, причем в быстром темпе. Простой люд с удивлением смотрел сквозь решетку сада на бесцельно проносящихся по аллеям господ. А кучера последних снисходительно объясняли непосвященным, безбожно перевирая фамилию доктора: «Лодыря баре гоняют». Так, по злой иронии судьбы, искаженное имя известного врача и великого труженика стало синонимом слова «бездельник».

О происхождении популярных поговорок и выражений можно вести разговор очень долго. Однако время, как говорит наш известный телеведущий. А потому всем, кто заинтересовался этим вопросом, я рекомендую обратиться к трудам исследователей русского фольклора — С.В. Максимова «Крылатые слова», Н.Я. Ермакова «Пословицы и поговорки русского народа», а также к книге В. Муравьева «Московские слова и словечки», вышедшей в свет к 850-летию юбилею Москвы.

Сергей ПОЗАНОВ



Учительница рассказывает детям сказку о заколдованном царстве, где заснувшие жители не просыпались сто лет. И вдруг дочь уборщицы, второклассница Клава, восклицает:

— Ну и пылица же там была, господи! Сто лет не вытирали и не чистили!

Маленький Вовочка, ложась спать, говорит маме:

— Мамочка, чтобы скорее заснуть, я всегда считаю до ста.



— Неправда, Вовочка, ты до ста считать не умеешь!

— Но я, мамочка, всегда раньше засыпаю.

Вася явился из школы в изодранном костюме.

— Что с тобой случилось? — строго спросил папа.

— Я подрался с Колькой.

— Возмутительно! Теперь придется покупать тебе новый костюм.

— Это что! — гордо сказал Вася. — Посмотрел бы ты на Кольку. Его папе придется покупать нового ребенка.

Самое противное на свете — сверлить зубы. Васе Квочкину это было прекрасно известно. Он сидел на скамеечке в кабинете школьного зубного врача и пытался унять дрожь в коленках. Но это ему плохо удавалось. Красный как рак Васька жалобно смотрел на зубного, словно умолял пощадить.

— Ну чё? Трусил? — спросил огромный детина из 8 «Д». Он сидел рядом с Квочкиным. — А вот я не боюсь. Осмотр есть осмотр. Терпеть надо! — И бесстрашный детина дружески похлопал Ваську по колену. Но Квочкину от этого не стало легче.

— Квочкин, 5 «Б», заходи! — зубной хитро усмехнулся.

«Радуетса! Садист!» — подумал Васька и со страхом уселся в жесткое кресло. Врач снова ехидно улыбнулся, велел открыть рот, поковырялся в Васькиных зубах и радостно доложил:

— Аж четыре дырки! Будем сверлить. — Он включил противную жужжащую машину со сверлом на конце шланга.

У Васьки потемнело в глазах. Лицо зубного врача вдруг превратилось в морду какого-то чудища со сверкающими глазами. Чудище оскалилось и заревело. Этот рев и походил на жужжание сверла. Квочкин судорожно вцепился в подлокотники. Он закрыл глаза и зарорал громко, истошно, словно раненый зверь. Машинный рев прекратился. Эскулап глянул на Ваську:

— Ну, герой! Силен орать. Приходи, когда осмелеешь...

И тут мир показался Квочкину прекрасным! За окном сияло солнышко, пели птички, на подоконнике распустился цветок герани. Васька ошалело огляделся вокруг. А зубной-то — вовсе не садист, а вполне нормальный и добрый дядечка! Ликующий Квочкин соскочил с кресла.

«Вот что делают с человеком зубы! — думал счастливый Васек, весело направляясь в класс. — Повезло же мне! Вот бы еще по русскому не вызвали!»

Квочкин вошел в кабинет русского. Его взору предстала обычная картина: бедная учительница металась от парты к парте, пытаясь утихомирить буянов. Ребята уже закончили все запланированные на урок упражнения. Кое-кто успел сделать и домашнюю работу. Остальные «доводили училку».

— О! Васька пришел! — завопили ребята, увидев Квочкина. Все мигом оставили в покое русичку.

— У зубного был? — Сочувственно спросил Леха, самый бойкий в классе.

ЧЕТЫРЕ ПЛОМБЫ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ

Рассказ

— Ага, — скромно подтвердил Квочкин.

— Сверлили, небось? Я этих зубных знаю: поймает тебя — бац! Сразу три дырки! А у тебя сколько оказалось?

— Четыре штуки, — вздохнул Васька.

— Бедняга. Во, ребята, какой у нас Васек герой! Больно было?

— Мне вообще-то... — сказать правду Квочкину показалось невозможным.

— Ну, молоток! Правильно, и здоровью польза. Эти зубы, ох, зубы-зубы... — Леха отчаянно замотал головой. — Рекламу по телеку смотрел? Если не

лечить — кариес точно доконает. Вырвут без разговоров!

— Вырвут?! — будто не поверила легкомысленная красавица Зоя Синичкина и широко раскрыла глаза. — Из-за кариеса? — Говорю же: рекламу надо смотреть. Страшная штука.

— Ой! — Зоя тронула свою розовую пухлую щеку. — Вася, — Зоя с надеждой посмотрела на Квочкина, — если месяц прошел — это не поздно?

— Не знаю... — уклончиво ответил Васька. — Может, и не поздно.

— Одна тетка в нашем подъезде даже умерла от заражения, — тоже кариес не лечила, — вставил Леха.

— Да еще от боли свихнешься. Зверем завоешь. — добавил кто-то.

И тут прозвенел звонок на перемену. Все повалили из класса — занимать очередь в зубной. Васька сидел один за партой и размышлял: скоро ли в его четырех зубах разовьется кариес? Ему даже представилось, как он умирает в лихорадке, а вокруг мечутся врачи и ничем не могут помочь.

За окном помрачнело. Солнце затянули тучи. Не было слышно птичьего гомона. Квочкин вспомнил, что следующим летом собирался сделать на даче воздушного змея с драконьим хвостом и построить шалаш. И собачью будку надо бы отремонтировать...

Начался урок математики. Лехи и близнецов Антона и Дениса в классе не было — остались в зубном кабинете. А Зойка Синичкина, опустив пушистые ресницы, что-то писала в тетради. «Если меня не станет, то Зойка наверняка выйдет замуж за противного Мишку из четвертого подъезда...» — подумал Васька и решил: сегодня, конечно, идти к зубному нельзя, но завтра, это уж точно, он придет к зубному и скажет: «Квочкин из 5 «Б» явился. Можете сверлить!»

Аня БАБКИНА, г. Воронеж



рять?» У рыбака был английский акцент. Когда он ушел, Дюкенель спросил: «Почему вы его величаете светлостью?» — «Потому что это маркиз Сэлсбери. Он очутился здесь случайно и сам нанес мне первый визит. «Нельзя требовать от Александра Дюма, чтобы он кому-то представлялся. Позвольте мне представиться самому. Кроме всего прочего, я ваш должник. Читать романы вашего отца — мое любимое времяпрепровождение и лучший отдых для ума»

Знаменитый сын все еще пользовался покровительством отца.

Провал «Друга женщин» на какое-то время отдалил Дюма от театра. Сложности супружеской жизни с ноющей женщиной, «то равнодушной, то неистовой», усугубили его женоненавистничество. Беременная Надин погрязла в сонное опеченение, здоровая — страдала припадками реванши. Когда она видела Александра в окружении толпы поклонниц, то сравнивала его с Орфеем среди вакханок. С того момента, как госпоже Дюма исполнилось сорок лет, она подозревала в кокетстве всякую молодую женщину, даже собственную дочь Издерганных нервы «Великороссии» сделали ее как сплунтицу жизни невыносимой. В это время Дюма-сын вступил в активную переписку с одним морским офицером, капитаном второго ранга Ривьером, который был также одаренным писателем. В письмах к нему Дюма изливал свое мрачное настроение:

Дюма-сын — Анри Ривьеру.

«Дорогой друг!.. Я в восторге от того, что Вы снова ведете жизнь моряка. Давно пора вернуться к ней и вырваться из-под власти чувств низшего порядка, совершенно недостойных ума, подобного Вашему. Лучше открытое море со всеми его штормами, чем бури в стакане воды, — ведь женщины убедили нас, будто мы непременно должны быть их жертвами. Поверьте человеку, который не раз спасался вплавь и в конце концов приплыл к надежному берегу: истина в работе и в солидарности с человечеством, на которое люди умные, как Вы и я, оказывают и должны оказывать влияние. Лучше командовать хорошим экипажем или написать хорошую пьесу, чем быть любимым, даже искренне, самой оборотистой женщиной. Аминь.

...Вы созданы для того, чтобы добровольно от полноты до четырех часов утра на капитанском мостике корабля, а вовсе не в бударе г-жи Канробер. Женщина — это стихия, которую надо изучить с детства, как я, чтобы уметь управлять ею неумолимо и уверенно, а все эти красивые богини издергали Вам нервы, не дав ничего нового, ибо они пусты, как погремужки... Море наводит на меня грусть, я люблю его, только когда ощущаю его под собой. В это оно для меня схоже с женщинами. Эта несколько фривольная шутка покажет Вам, что его величество мое тело чувствует себя немного лучше, хотя оно не так уж часто пускается в сия ребскованное плавание, как может показаться из моих слов... Пока что я работаю благодаря привычке или тренировке и терплю разочарования, неотъемлемые от этой странной профессии, которая превращает мысль в льютеребилку...»

Пессимизм Дюма-сына распространялся не только на женщин, но и на весь род людской. Когда капитан Ривьер был ранен в голову веслом, Дюма написал ему:

«Вы, мой друг, вменяете в заслугу провидению, что оно убило Вас лишь наполовину, словно мы здесь, на земле, все-го лишь глиняные фигурки в тире для стрельбы из пистолета... Куда лучше, дорогой мой, крепко вбить себе в голову, пока на нее не опустилось весло, что все это комедия, в которой мы исполняем свои роли, не ведая ни развязки, ни автора; суфлер меняется ежеминутно, и единственно ценное в этой коме-

дии — любовь и дружба. В особенности дружба»

Одна-единственная женщина, оптимистка, по-прежнему пользовалась расположением Злопаятного — это была Жорж Санд. Дюма изумило, как быстро она воспряла духом после смерти Мансо.

Дюма-сын Анри Ривьеру

«Я много раньше ответил бы на Ваше письмо, если бы мне не пришлось все эти дни посвящать время г-же Санд — у нее большое горе. Она потеряла Мансо, который в течение пятнадцати лет был спутником и распорядителем ее жизни. Он умер после четырех месяцев тягчайших страданий, в маленьком домике в Палезо, где они жили вместе. Три дня тому назад мы его похоронили и пытались отвлечь его подругу от горестнейших мыслей... Она обладает большой энергией и большой волей. Вот ум, способный унизить наш пол, ибо не многие из нас были бы в состоянии каждые десять лет начинать свою жизнь заново после таких потрясений, какие пережила эта женщина... Поскольку жизнь приносит одни огорчения, с этим надо свыкнуться раз и навсегда и стараться смотреть на происходящие события таким же равнодушным взглядом, каким быки, пасущиеся на лугу, смотрят на проезжающие по дороге экипажи. Уплодитесь Минерве — богине с бычьими глазами. Этот злител, для многих непостижимый, по-видимому, должен выражать бесстрастность наивысшей мудрости, которая, несомненно, есть не что иное, как предельное безразличие...»

Дружба представляется мне единственным чувством, ради которого стоит жить...»

Поскольку безотчетных страх мешал ему в ту пору писать для театра, он работал над романом «Дело Клемансо». В нем он дал волю затаенной ярости против женщин. Это была исповедь убийцы, умертвившего некогда обожаемую им жену — не только за то, что она его обманывала, но и за то, что она была воплощением лжи и фальши под маской совершенной красоты. Скульптор Пьер Клемансо был, разумеется, вбравченным сыном и, конечно же, сыном белашейки. Вся первая часть книги в значительной мере походила на автобиографию. Женщина, на которой женился герой, Иза Доброновская, была полька (что позволяло автору косвенно взять реванш у «вероломных славянок»). Дюма сообщает нам, что образ Изы восходит к госпоже Джеймс Прадье — его первой возлюбленной.

Дюма-сын — Жорж Санд, 26 мая 1866 года:

«Эта штука — «Дело Клемансо» — начинает меня раздражать. Я очень скоро брошу ее и вернусь к моим маленьким пьесам, где можно не ломать голову над стилем, если не хочется. Я все еще плутаю в последних главах. Удар ножом никак не получается... Жизнь не всегда бывает веселой. До двадцати лет еще куда ни шло; потом — конец! Будем же любить друг друга в ожидании лучшего и строчить свои рукописи, ибо это единственное, на что мы способны...»

5 июня 1866 года: «Дорогая матушка! Только в четверг, в шесть часов двадцать минут вечера, Иза наконец скончалась, испустила по всей справедливости те гнусности, которые она совершила. До этого момента ее убийца, имеющий честь быть Вашим сыном, работал, как негр, как один из тех, от кого он ведет свое происхождение по отцовской линии. Уф! У меня нет никаких угрызений совести, но я так измотан, словно они у меня есть, и я еще чуть-чуть больше восхищаясь Вами за то, что Вы создали столько шедевров, и создали их так быстро...»

Читатели, знакомые с семейной жизнью скульптора Прадье, узнали героиню. Критик журнала «Рево де Де Монд» писал: «Эту женщину, которая позирует своему мужу-скульптору, женщину, для которой стыдливость существует лишь как светская условность и которой не двоят спать лавры Фрины. —

эту женщину мы знаем или полагаем, что знаем, и, пожалуй, обозначение «чудовище» слишком сильно для этой прекрасной язычницы XIX века...» Иза — «грязная душа в мраморном теле, рожденная для того, чтобы наслаждаться и чтобы лгать, куртизанка с головы до пят, одно из тех экзотических растений, которые обьяняют и убивают», — обезоруживает критика. Он обвиняет не столько ее, сколько ее мужа. Зачем он любил ее, когда с первых же дней ее порочная натура была очевидна? Затем, что для Пьера Клемансо, так же как для Дюма-сына и для всех его героев, любовь всегда была только плотским желанием. Без этой исходной точки сладострастия и трагическая развязка (Пьер последний раз любит Изу и затем убивает ее) была бы невозможна.

Современного читателя не может не удивлять, что в 1866 году этот роман превозносил как образец самого смелого реализма. «Все правдиво, жизненно, красноречиво, и когда г-н Дюма вступает вруполошную с действительностью, то перед нами два атлета, равных по силе... Г-н Дюма перешел от пьес к роману, так как возможности, предоставляемые прозой, позволяли ему поставить более сильные акценты, дать более осязаемое ощущение плоти. Это удалось ему...» Сцены лепки обнаженного тела и объятий двух влюбленных посреди реки были сочтены «экспериментальной литературой», смелой и дерзкой. Говорили, что роман г-на Дюма в полной мере современник г-на Тэна, который, кстати, им сильно восхищался. Флорбер был сдержан, но принял книгу всерьез.

«Я не вполне разделяю Ваш энтузиазм по поводу «Дела Клемансо», хотя во многом это самое сильное произведение Дюма. Но напрасно он испортил книгу длинными рассуждениями и общими местами.

Романист, по-моему, не имеет права высказывать свое мнение о происходящем. В акте творения он должен уподобиться Богу, то есть создавать и молчать. Концовка этой книги представляется мне в конце фальшивой: мужчина не убивает женщину после, после ощущаешь полную расслабленность, чуждую какой бы то ни было энергии. Это белая оплошность — физиологическая и психологическая...»

Все только и говорили, что о «Деле Клемансо». Толстяк Маршалль рассказал Гонкурма историю одной главы.

29 сентября 1866 года, Сен-Гратьен. «Маршалль сегодня вечером рассказал нам, что однажды около четырех часов утра он убил рыбу в Сент-Ассизе, уг-жи де Бово. И вдруг заметил двух купающихся девушек: одну брюнетку, другую рыжую. Восходящее солнце ласкало их резвящиеся в Сене тела, и красота их сияла в розовом свете. Маршалль рассказал об этом Дюма; тот на следующее утро пришел взглянуть на девушек и, чтобы сыграть с ними шутку, уселся на их сорочки. Отсюда — сцена купания в «Деле Клемансо»...»

Что касается Дюма-сына, то он был удовлетворен своим успехом, хотя и изнурен напряжением.

Дюма-сын — капитану Ривьеру:

«Вы увидите по моему почерку, что имеете дело с изможденным человеком. Перо не слушается меня — так я злоупотреблял им в течение двух месяцев. Но в конце концов эта тварь мертва и уже не воскреснет. Только что я два часа спал; нынешней ночью я спал одиннадцать часов. Больше я ни на что не способен. Г-жа Дюма спит не меньше. Если мы будем вдвоем отдыхать от книги, которую я писал один, то, надеюсь, что через месяц я буду в силах начать снова...»

Он в самом деле начал и вернулся к драме. Удивительно, что этот гигант чувствовал себя таким измученным, написав совсем короткий роман. Это объясняется силой страстей, которые пронесли в нем при размышлениях о бесстыдстве и сладострастии. Чтобы успокоиться, он должен был вывести на сцену хорошую женщину и отправить

ся на лоно природы. Он снял возле Сен-Валери-ан-Ко, в Этеннамаре, небольшую шале, напомнившей ему некоторые счастливые дни его холостячьей жизни, и отправился туда работать.

Там он сочинил новую пьесу, которая также была вдохновлена Жорж Санд: «Взгляды госпожи Обрз». Тема: женщина типа Санд пристраивается самых широких взглядов на брак, на классы общества, на внебрачных детей. В один прекрасный день она внезапно оказывается перед мучительной дилеммой: либо она отречется от идеи всей своей жизни, либо позволит своему собственному сыну жениться на Жаннине, любимой им молодой женщине, у которой был возлюбленный и которая работает, чтобы вырастить внебрачного ребенка. Госпожа Обрз какое-то время колеблется, мечется, потом принимает героическое решение: именем морали и веры она женит своего единственного сына на девушке-матери.

Дюма устроил у госпожи Санд первую читку, на которой присутствовали Эдмон Абу и Анри Лава. Шумный успех! Спиритуалистка Санд и скептик Абу дружно плакали. Чтобы подчеркнуть пьесу еще одному испытанию, автор поехал в Прованс читать ее другому приятелю — Жозефу Отрану. Тот же слезливый успех. Отран, у которого было большое сердце, даже упал в обморок. Большого же нельзя было требовать. Монтиньи, директор Жимназ, принял пьесу с энтузиазмом. Однако Дюма не оставляло беспокойство. Как отнесется лицемерная публика к осуждению ее предрасудков? Он быстро успокоился.

Записанная книжка Жорж Санд:

«27 ноября 1866 года: Вчера у Бребана Александо скакал на черном апокалипсическом коне: говорил, что хотел бы быть Рафаэлем или Микеланджело; что для него не может быть счастья без вдохновения, без радости творчества, без упоения славой и силой. Его Бог — это сила. Маршалль, человек, полный здравого смысла, который ему никогда не изменяет, не касался столь высоких материй. А я вообще молчала. Того, что я думаю, когда я счастлива, не высказать. Что скажешь о неуловимых движениях души, о мимолетных, быть может, даже пантеистических, впечатлениях? Нет, я не могу выразить себя. Когда я говорю одно, понимаю другое. Почему? Этого я никогда не узнаю.

Ноан, 17 марта 1867 года: *Добрая весть: «Госпожа Обрз», как явствует из телеграммы Александра, имела колоссальный успех.*

18 марта 1867 года: *Иду завтракать к Дюма. Возвращаюсь, читаю и пишу письма. Статья Сарсэ о «Госпоже Обрз». Письма о Дюма... Мне надо ехать в Париж!..*

Париж, 23 марта 1867 года: *Иду в Жимназ с Эстер! «Госпожа Обрз» восхитительна, я плачу. Сыграно превосходно...»*

Врачи предписали Надин Дюма с октября не вставать с постели, чтобы она могла в срок родить ожидаемого наследника. Дюма-сын — Жорж Санд, 26 февраля 1867 года:

«Малыш изо всех сил стучится в дверь этого света. Сразу видно — он еще не знает, чем это пахнет! Г-жа Дюма все толстее...»

20 апреля 1867 года:

«Возможно, в ту самую минуту, когда это письмо придет к Вам в Ноан, маленький Дюма появится на свет.»

Увы! 3 мая Надин разрешилась от бремени девочкой. Поскольку героиня «Взглядов госпожи Обрз» звалась Жанниной, это имя и дали ребенку.

Отец в ту пору писал предисловия к полному собранию своих пьес. Предисловия эти получили шумное одобрение, какового они действительно заслуживали, так как были напи-

¹ Госпожа Жезел Ламбер, урожденная Эстер Этьенн.

саны живо, смело и много лучше, чем пьесы. Барбэ д'Оревилли, ненавидевший обоих Дюма — отца и сына, — признал успех предсказаний, но причину его увидел лишь в умело замаскированной развращенности, которая всегда будет нравиться людям. «Ибо хотя удовольствие, доставляемое процессом развращения, и само по себе не мало, еще большее удовольствие — вам это хорошо известно — любоваться собственной развращенностью... Что за собрание! Несмотря на самоуничтожение, характерное для всех авторов предсказаний, я не верю в эту скромность с первой страницы... Кто предвещает, тот притворяется... Но поскольку публика интересуется вами и слушает вас, вы хорошо сделаете, рассказав ей о себе... Надо заткнуть разинутые рты зевак».

Зеваки набросились на проповеди драматурга

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Зумерки бога

Теперь Жеронто надо
С любовью распростишься:
Зима к нему стучится,
Любовь ему не рада.

Ж.-П Туле

Как мы завершим свой путь? Седые волосы предьявляют нам свои почтительные требования.

Бальзак

Если судить по внешнему виду, папаша Дюма почти не изменился за все время своей неаполитанской авантюры. Немного больше седых волос, немного больше торчит живот, но все та же лучезарная веселость, тот же выходящий через край талант, та же жадная чувственность. Сын наблюдал, удивлялся, сожалеал.

Дюма-сын — Жорж Санд, Вильюра, 8 марта 1862 года: «Я нашел его более шумным, чем прежде. Дай ему Бог еще долго оставаться таким, но сомневаюсь, что это возможно. Средство, которым пользуется он сам, чтобы помочь доброй воле Создателя, представляется мне противным здравому смыслу — каким бы действительным оно ни казалось созданием Божиим. В конце концов, что бы ни случилось, этот могучий организм, который еще проявляет себя во всякий час дня и ночи с прежней щедрой силой, не перестанет быть одной из самых необычных фантазий природы. Попытайся руководить им, в особенности теперь, наверняка бесполезно. Это то же самое, что происходит с человеком, которому всегда везло и который упал с пятого этажа; либо он останется цел и невредим, либо уберется на месте. Если бы можно было поставить этот локомотив в момент его отравления на рельсы и заставить пересечь жизнь по прямой линии, один Бог знает, сколько бы он потянул за собою великих и полезных для человечества идей. Но раз уж этого не случилось, то, значит, и не могло случиться. Посмотрим, что будет дальше, а пока я очень хотел бы иметь не столь шумного отца, у которого было бы больше времени для меня... и для самого себя».

Возвратясь в Париж, Дюма привез с собой из Италии певицу Фани Гордозу, «черную, как слива», но аппетитную и столь неукротимого темперамента, что ее муж-итальянец, обессилив, обматывал ей вокруг бедер мокрые полотенца. Дюма-отец избавил ее от этих повязок и утилил ее пыл. По этой причине она привязалась к нему с неистовой страстью. Сначала они жили на улице Ришелье, на углу бульвара, против ателье знаменитого фотографа Рейтингера; затем в Эн-

гиене, где Дюма снял на лето 1864 года виллу «Катина». И снова божественная жизнь, как в замке «Монте-Кристо». Гордоза наполнила дом трубами, скрипками, лютями. С утра до вечера она пела вокализы в окружении лютневых нахлебников, которые обносились в доме, шарпили по бутербтам и пожарили запасы. Олимпиец Дюма работал на втором этаже, покрывая большие листы голубоватой бумаги своим писарским почерком, а по вечерам он спускался в Биардану, где его ждали старые друзья: Ноль Парфэ, Нестор Рокплан, Роже де Бовуар, которых окружала компания незнакомых ему блудлодусов. Когда запасы, казалось, были исчерпаны, Дюма отыскивал в кладовой рис, помидоры, ветчину и мастерски стирпал для всех *pizotto*¹.

Множество женщин побывало в Энгиене Эжени Дош, которая все еще играла «Даму с камелиями»: Дюма-сына, но отнюдь не пренебрегала Дюма-отцом; очаровательная Эме Декле с бархатными глазами, за которой Дюма-отец ухаживал в Неапале, где она играла в пьесах Дюма-сына; красивая дебютантка Бланш Пьерсон, великолепная трагическая актриса Агарь (ее настоящее имя — Леонидя Шарвен, но она взяла себе библейский псевдоним, чтобы походить на Рашель), Эстер Гимон, львица с хриплым рыком, и Олимпия Одуар, падавшая в обморок в самый неподходящий момент. Напрасно сеньора Гордоза несла караул. «Один женщина! — кричала она, когда вторгалась очередная нарушительница покоя. — Скажи ей, что господин Дюма есть большой!» Дюма терпел эту живописную фурию, одетую в прозрачный пеньюар, который не скрывал ее прелестей.

Он объяснял Матильде Шебель, дочери французского ученого-ориенталиста, которую знал ребенком и которую называл «своей маленькой ромашкой»: «Фани несколько взломана, но у нее превосходное сердце». И добавлял не без бахвальства: «У меня много возлюбленных, потому что я гуманный человек. Будь у меня одна — ей не прожить бы и недели!.. Не хочу преувеличивать, но полагаю, что по свету у меня разбросано более пятисот детей».

Вернувшись осенью в Париж, он поместил Гордозу в своей новой квартире на улице Сен-Лазар, 70. В течение некоторого времени он каждый четверг устраивал знаемый обед, после которого дива пела, между тем как хозяин дома спасался бегством от «мяуканья» и работал. Вскоре разразилась буря. Пылкая колоратура застала Дюма на месте преступления в ложе театра и своими воплями взбудоражила весь зал. Дело кончилось тем, что он ее выгнал. Она уехала, заявив, что возвращается к мужу, и прихватила с собой все деньги, что еще оставалось в ящиках.

Дюма поселился на бульваре Мальзерб, 107, вместе со своей дочерью Мари, которая оставила своего беррицки Олинда Петеля, страдавшего умственным расстройством. На какое-то время она нашла убежище в монастыре Успенния, а теперь занималась тем, что разрисовывала старые требники. Сама Мари тоже производила впечатление слегка помешанной: она одевалась, как кельтская жрица, украшала голову венком из омыли и носила на поясе серп. Дюма гордился ею, как всем, что имело касательство к нему, хотя, конечно, не так, как Александром. Но сына он немного побаивался. «Александр любит тезисы и мораль, — делился он с Матильдой Шебель. — Вот возьмите одну из его последних книг. Посмотрите, какую он сделал на ней надпись. — Дюма прочел посвящение: «*Моему дорогому отцу его большой сын и меньшей собрат*», — и заключил не без горечи: — Он ошибся в расстановке прилагательных, чтобы доставить мне удовольствие; но он вовсе так не думает».

¹ Рисовая каша с мясом и пряностями (штал.). (Примеч. пер.)

В этом Дюма как раз ошибался, но, страшась упреков «мальчика», принимал бесконечные меры предосторожности, чтобы сын не встречал у него полулюбимых нимф, которыми старик окружил себя. Дюма-сын купил на авеню Вильер, 98, особняк с крошечным садиком, вызывавшим у отца насмешки. «Здесь очень хорошо, Александр, — говорил он, — очень хорошо, но тебе следовало бы открыть окно гостиной, чтобы пустить хоть немного воздуха в твой сад». Сына огорчала распутная старость отца, и он редко навещал его. Старик жаловался: «Я теперь вижу его только на похоронах. Быть может, в следующую раз увижу на своих собственных».

Корделией этого короля Лиры была маленькая Микаэла, дочь Эмилии Кордые, хилое создание с восковым цветом лица, безгубым ртом, но глазами невыразимой прелести. Он дарил ей куклы, которых наряжала Мари Петель. «Только бы она пришла, мое маленькое сокровище», — говорил он, когда у него бывала приготовлена для нее какаиньбуль кукла — маркиза Помпадур или Людовик XV. Маленькое сокровище являлось, он осыпал свою девочку поцелуями, сокращаясь, что «глупый Адмирал» помешала ему ее удочерить.

Дюма-отец — Микаэле Кордые, 1 января 1864 года: «Моя дорогая маленькая Беба! Надеюсь, что через три-четыре дня смогу тебя обнять. Я очень рад, что увижу тебя, но не надо никому говорить о моем приезде, чтобы у меня было время вволю приласкать тебя. Мари и я принесем тебе двух красивых кукол и игрушки. До 5-го, жди меня.

Твой отец А. Д.»

Дюма-сын был недоволен присутствием в отцовском доме Микаэлы — «дочери распутницы». Он отказывался признать в ней единокровную сестру.

«Я видела Вашего отца в Одеоне. Боже мой, какой удивительный человек!» — писала Санда в 1865 году. В шестьдесят три года он оставался «стихийной силой». Его работоспособность не уменьшилась. Он только что поставил две драмы — превосходные в своем роде — «Могикане Парижа» и «Узники Бастилии». «Могикане Парижа» долгое время не разрешала цензура под тем предлогом, что пьеса, действие которой разыгрывалась в 1829 году, кишмя кишела весьма либеральными намеками. Письмо автора к императору нашло поражение цензором. Наполеон III снял запрет.

Тем временем Дюма-отец опубликовал один из своих лучших романов, «Сан-Феличе», действие которого разыгрывалось в Неаполе, во времена Марии-Каролины, леди Гамильтон и Нельсона. Это была эпоха, когда генералы французской революционной армии создавали и упраздняли королевства, эпоха молодых героев, опоясанных трехцветным шарфом, эпоха генерала Дюма. А место действия — своеобразный город, где автор не так давно провел четыре года. Дюма был полон совсем еще свежих воспоминаний о неаполитанских друзьях. Поэтому рассказ отличался живостью, стремительным ритмом, ослепительным блеском. Герой-итальянец, достойный мускетеров, в одиночку закалывал шестерых. Корабли в Неаполитанском заливе, рыбачьи лодки, застигнутые бурей в открытом море, — все эти картины играли естественными красками. Если автор хотел доказать, что не нуждается ни в Маке, ни в ком другом, чтобы называться Дюма, это ему удалось.

Жирардан платил за «Сан-Феличе», который печатался в качестве романа-фельетона в «Ла Пресс», по сантиму за строку. «Как г-же Санда», — с гордостью заявлял Дюма. «Сан-Феличе» был его лебединой песней, не оршоленной слезами, но проникнутой необычайной нежностью.

Гонгуры набросали два очень живых портрета шестидесятилетнего Дюма.

1 февраля 1865 года:

«Сегодня вечером за столом у принцессы сидели одни писатели, и среди них — Дюма-отец. Это почти великан — негритянские волосы с проседью, маленькие, как у бегемота, глаза, ясные, хитрые, которые не дремлют, даже когда они затуманены. Контуры его огромного лица напоминают те полукруглые очертания, которые карикатуристы придают очеловеченному изображению луны. Есть в нем что-то от чудачья и странствующего купца из «Тысячи и одной ночи». Он говорит много, но без особого блеска, без остроумных колкостей, без красочных слов. Только факты — любовные факты, парадоксальные факты, ошеломляющие факты извлекает он хрипловатым голосом из недр своей необычной памяти. И без конца, без конца, без конца он говорит о себе с тщеславием большого ребенка, в котором нет ничего раздражающего. Например, он рассказывает, что одна его старая о горе Кармель принесла монахам 700 тысяч франков... Он не пьет вина, не употребляет кофе, не курит; это трезвый атлет от литературы».

14 февраля 1866 года:

«В разгар беседы вошел Дюма-отец — при белом галстуке, при белом жилете, огромный, потный, запыхавшийся, с широкой улыбкой. Он только что побывал в Австрии, Венгрии, Богемии. Он рассказывает о Пеште, где его пьесы играли на венгерском языке, о Вене, где император предоставил ему один из залов своего дворца для лекции, говорит о своих романах, своей драматургии, своих пьесах, которые не хотят ставить в Комеди Франсез, о своем «Шевалье де Мезон-Руж», которого запретили; затем о том, что никак не может добиться разрешения основать театр и, наконец, о ресторане, который он намерен открыть на Елисейских полях.

Непоморное «я» — под стать его росту; однако он брызжет детским добродушием, искрится остроумием. «Чего же вы хотите, — продолжает он, — когда в театре теперь можно заработать деньги только с помощью трико... которые тешат по швам... Да, так ведь и составил себе состояние Остан. Он рекомендовал своим танцовщицам выступать только в трико, которые будут лопаться... и всегда в одном и том же месте. Вот тогда пошли и торговцы биноклями теперь прозябают...»

Хотя и талант его не потускнел, ему теперь с трудом удавалось пристраивать свои пьесы. Он стал похож на обедневшего старого актера, который ради хлеба насущного готов взять любой ангажемент в любом театре. В аркаде Венсеннской железной дороги для народного зрителя парижских предместий был построен Большой Парижский театр, такой же необычный по своей архитектуре, как и по местоположению. Дюма отдал туда одну из своих лучших драм — «Лесная стража», которая была впервые сыграна в Большом театре Марселя в 1858 году. Проходившие поезда сотрясали зал; гудки паровозов заглушали голоса актеров. Спектакль шел так плохо, что вскоре его перестали играть.

Чтобы помочь актерам, Дюма предложил им организовать турне и обещал сопроводить их всякий раз, когда у него будет возможность.

Здесь, в предместье, и в провинции он сохранил еще свой престиж, и его бурно приветствовали. На его родине, в департаменте Эн, энтузиазм публики дошел до иступления. После спектакля жители городка столпились перед гостиницей, где он остановился. В окна они видели, как Дюма в переднике и белом колпаке готовил соусы, поливал жаркое — стряпал обед для всей труппы. Овация стала еще более бурной. Этот прием примирил Дюма с той благоосклонной, но слегка насмешливой снисходительностью, которую вызывал теперь Париж своему бывшему любимцу. Он снова загорелся мыслью иметь свой театр и, пытаясь основать Новый Исторический театр, открыл подписку. Он разослал тысячи проектов. Откликнулись

только несколько молодых поклонников «Трех мушкетеров». Прежние колдовство утратило силу. Будь Дюма благодарен, он мог бы еще жить в полном достатке. В 1865 году Мишель Леви перевел на его счет сорок тысяч франков золотом; в 1866 году он подписал новый, весьма выгодный договор на иллюстрированное издание своих сочинений. Но деньги текли у него между пальцев. Десять раз он становился богачом и одиннадцать — разорялся. «Я заработал миллионы, — говорил он, — и должен был бы получать двести тысяч франков ренты, а у меня двести тысяч франков долгу». Он больше не в состоянии был выплачивать пенсию сестре, госпоже Летелье.

В июне 1866 года он покинул Париж, ставший для него негостеприимным, и посетил Неаполь, Флоренцию, потом Германию и Австрию. Из этого путешествия он привез роман «Прусский террор», хорошо написанный и полный точных наблюдений. Дюма подметил в Пруссии серьезную угрозу: «Тот, кому не доведется путешествовать по Пруссии, не может себе представить ненависть, какую питают к нам пруссаки. Это своего рода моноomania, замутившая самые ясные умы. Министр может стать популярным в Берлине лишь в том случае, если он даст понять, что в один прекрасный день Франции будет объявлена война». Дюма нарисовал некоего Безедека — пророческий портрет Бисмарка. Как полагается, герой романа молодой француз Бенедикт Тюрпэн дерется с германскими националистами на пистолетах, на шпагах, врукопашную и одерживает победу над всеми... Бриксенский мост... Портос на Уттер-ден-Линден...

Автор был в наилучшей форме, и в другое время одной такой книги было бы достаточно, чтобы создать славу молодому писателю, но у публики были теперь другие запросы и другие божества.

Предостережения против Пруссии вызвали смех: «Ну и шутник же этот Дюма!» Как можно было принимать всерьез старого султана, который швырял своим диковинным одалискам «последнюю дюжину платков»?

ГЛАВА ПЯТАЯ Смерть Портоса

Александр Дюма не боялся смерти.

«Она будет ко мне милостива, — говорил он, — ведь я расскажу ей какую-нибудь историю».

Арсен Уэссэ

Тысяча восемьсот шестьдесят седьмой год. Сумма долгов растет. Несмотря на верность читателей, счет Дюма у Мишеля Леви становится дебетовым. За квартиру на бульваре Мальзерб не уплачено. Большая часть мебели продана. Единственные драгоценные сувениры, с которыми Дюма не захотел расстаться, — эскиз Делакруа для праздника, устроенного им в молодости и ставшего его триумфом, и полотенце, испачканное кровью герцога Орлеанского. Слуги требуют расчета. Он жалуется своей «маленькой ромашке», Матильде Шебель, что кое-кто из его «подруг» с чрезмерной жадностью рвется в вшиках его секретера.

— Оставили бы мне хоть одну двадцатифранковую монету! — восклицал он с комическим отчаянием.

Матильда застала его больным, он лежал в кабинете, который служил ему и спальней. На стенах висело старинное оружие, портрет генерала Дюма и портрет Александра Дюма-сына кисти Ораса Верна.

— Как ты кстати! — сказал он. — Я нездоров, мне нужен отвар, а я не могу никого дозваться... По-моему, меня ос-

тавили совсем одного... И подумай только, что мне надо ехать в гости!.. Будь добра, загляни в ящики моего комода и скажи, не найдется ли там сорочки и белого галстука.

В ящике оказались только две неглаженные ночные рубашки.

— У тебя есть с собой деньги? Не можешь ли ты одолжить мне немного, чтобы купить вечернюю сорочку?

Девушка обегала весь квартал, но было уже поздно, и такого гигантского размера не оказалось в тех немногих лавках, которые еще не успели закрыть. Наконец в магазине под вывеской «Рубашка Геркулеса» она отыскала белый пластрон в красную крапинку. Вечерняя сорочка с красной вышивкой! Дюма рискнул ее надеть и имел большой успех. «Это восприняли как намек на мою дружбу с Гарибальди».

Последним подвигом донжуана было покорение молодой американки, наездницы и актрисы Ады Айзек Менкен¹, которая на сцене театра Гэтэ в спектакле «Пираты саванны» полуголая носилась верхом на горячем чистокровном скакуне. Она была очень изящна в своем розовом трико и недавно покорила Лондон, выступив в «Мазепе» — драме по мотивам поэмы Байрона. Затаив дыхание публика следила, как наездница, привязанная плащом к спине коня, брала барьер на полном скаку. Заключительное сальто могло каждый раз стоить ей жизни. Толпа рукоплескала ее удивительной отваге и красоте.

Еврейка, родом из Луизианы (хотя она кичилась своим якобы испанским происхождением и подписывалась: Долорес Адюс лос Фуэртос), Ада стала цирковой наездницей после того, как сменила несколько профессий в поисках своего истинного призвания. Она перебивала статисткой, актрисой, танцовщицей, натурицей у скульпторов, сотрудничала в газете («Цинциннати Израэлит»), потом развлеклась с лекциями об Эдгаре По. Эта необыкновенная девушка знала английский, французский, немецкий, древнееврейский. Закончив беседу о бессмертии души, она залпом выпивала три рюмки водки. Влюбленная в поэзию, она сочиняла грустные стихи о своих кратких и несчастных увлечениях. Уолт Уитмен, Марк Твен и Брет-Гарт были ее друзьями.

После того как Ада разошлась с тремя мужьями², она вышла замуж в четвертый и последний раз за Джеймса П. Баркли, единственно для того, чтобы узаконить ребенка, которого она тогда ожидала. Ее четвертая свадьба состоялась в Нью-Йорке 19 августа 1866 года. Два дня спустя новобрачная в одиночестве села на пакетбот «Ява». Больше ей не суждено было увидеть ни Америку, ни супруга.

Ее привлекл Париж. Она дебютировала 31 декабря 1866 года в театре Гэтэ. Некоторое время спустя, в начале 1867 го-

¹ Ее метрика пропала, так как во время войны Севера и Юга в Новом Орлеане сохранили все акты гражданского состояния. Ее биограф Бернард Фальк полагает, что она вышла на свет в 1835 году. Другие источники считают, что в 1832 году. Она сама утверждала, что родилась в 1841 году, но многие ее фотографии опровергают это утверждение, ибо последние ее портреты изображают уже не очень молодую женщину. Представляется куда более вероятным, что она умерла в возрасте тридцати трех или тридцати четырех лет.

² В 1856 году она вышла замуж за музыканта Александра И. Менкена; в 1859 году — за богача Джона Кармела Хинза; в 1862 году — за циркаря Роберта Х. Ньюза. Двос детей, которых она произвела на свет, умерли. Младшего (родился в 1866 году, умер годом позже) она хотела символически сделать крестником Жорж Санд, то есть согласно американским обычаям дать ему в качестве второго имени фамилию его крестной. Аде Менкен было известно, как и всем, что Аврора Людован вступила в интерпретацию под псевдонимом Жорж Санд, однако она не знала того, что девочка фамилию родителей брала Дюпен. Записав в метрической книге ребенка мужского пола под именем Луиза Людован Баркли, она фактически сделала его крестником названного мужа писательницы, Казимира Людована.

да, Дюма-отец явился к ней в уборную, чтобы поздравить ее. Она бросилась ему на шею. Одинаково жадные до рекламы, оба — и он и она — охотно выставляли напоказ свою эффектную любовь с первого взгляда. Дюма торжественно возвестил о своей победе; Ада появлялась всюду рядом с ним. Он показывал ей старый Париж и открывал Париж современный. Она испытывала тщеславное удовлетворение оттого, что связала свое имя с именем писателя-титана. Любить его она не могла, но он развлекал ее и льстил ей. На несколько недель он вернул себе молодость, ваяя наездницу в кабачки Буживаля, куда сорок лет назад приходил с белошейвой Катрин. С реки по-прежнему доносились песни лодочников.

В те годы фотография была еще в диковинку, и Аде Менкен доставляло удовольствие позировать перед объективом вместе со всеми знаменитостями, игравшими роль в ее жизни. Это был своего рода ритуал, которому она была страстно привержена. Дюма допустил оплошность, позволив запечатлеть себя на фотографии без сюртука, со своей подругой в трико на коленях.

На другой фотографии он обнимал ее, а она сидела, прислонясь головой к могучей груди старика. Он казался смущенным, но его живые глаза излучали бесконечную доброту. Он словно говорил: «Да, я знаю, это смешно, но ей этого хотелось, а я так люблю ее!» Фотограф Либерт, которому Дюма был должен небольшую сумму, решил, что, распродав эти фотографии как сенсацию, возместит себе потерянные деньги. Он выставил их во многих витринах Парижа. Молодой Поль Верлен написал по этому поводу триолет:

С мисс Адой рядом дядя Том.
Какое зрелище, о Боже!
Фотограф тронулся умом:
С мисс Адой рядом дядя Том.

Мисс может гарцевать верхом,
А дядя Том, увы, не может.
С мисс Адой рядом дядя Том,
Какое зрелище, о Боже!

Сатирический журнал «Суматоха» поместил балладу: «Все-гда он!» Эпиграфом к ней служила фраза Жан-Жака Руссо:

«Кто посмеет поставить природе четкие границы и сказать: «Вот куда может идти человек, но ни шагу дальше!»

Она наездницей была,
Писателем был он.
Она цвела, его ждала
Катились под уколон.

Она была свежа, легка,
Была в расцвете сил,
А он чуть меньше бурдюка
Животик отстал.

Она брюнеткою была,
Был седовласый он,
И вот судьба их там свела,
Где слышен рюмок звон.

Как мушкетер и экс-герой,
Что неизменно мил,
Он, позабыв про возраст свой,
Ей поцелуй влепил.

«Тубо! Не к месту этот жар!» —
Воскликнула она. —
Хотя ты толст, хотя ты стар,
Добьца не жирна
Какая выгода с тебя?»
«Всех выгод и не счесть:
Мое внимание привлеч —
Уже большая честь!»

Она в ответ: «Писатель мой,
Чтоб мне не сплывать,
Ты на колени предо мной
Немедля должен встать.
Тебе поверю я тогда,
Мы славно заживем...»

Вы в лавках можете всегда
Увидеть их вдвоем.

Жорж Санд — Дюма-сыну, 30 мая 1867 года:

«Как Вам, должно быть, неприятна вся эта история с фотографиями! Но ничего не поделаешь! С возрастом обнаруживаются печальные последствия божественного образа жизни. Какая жалость!..»

Выслушав сыновнее нравоучение, Дюма-отец ответил: «Мой дорогой Александр, несмотря на свой преклонный возраст, я нашел Маргариту, для которой играю роль твоего Армана Дювала».

Он был без ума от этой замечательной женщины, от ее голубых с поволокой глаз, длинных черных волос, великопелной фигуры; ее рассказы приводили его в восхищение. Эта неутомимая Шахерезада создала себе в воображении необычайное прошлое и рассказывала всякие фантастические истории. Неправда, что на Дальнем Западе она охотилась на буйволов вместе с ковбоями, но правда, что она с одинаковой осведомленностью говорила о теологии и о верховой езде. Никогда не была она ни танцовщицей в Опере, ни трагической актрисой в Калифорнии (поскольку Ада Менкен во всех странах семь лет подряд играла одну и ту же роль — в «Мазепе»); зато сущая правда, что она свободно читала по-гречески и по-латыни. История о том, как ее захватили в плен краснокожие и как она их «загипнотизировала», исполнив перед ними «танец змеи», была всего только красивой легендой. Переодетая мужчиной, она была в Дайтеме (Огайо) вовсе не гвардейским капитаном, а всего-навсего карнавальным «гусариком». Вместе с тем Чарльз Диккенс и Данте-Габриэль Россетти писали ей дружеские письма, которые она с гордостью демонстрировала своим французским поклонникам. Она выслушивала пылкие объяснения своего шестидесятипятилетнего поклонника, Александра Дюма-отца: «Если правда, что у меня есть талант, как правда то, что у меня есть сердце, — и то и другое принадлежит тебе...» Отъезд Ады в Австрию, где она получила ангажемент (она должна была играть в «Мазепе» в Театр ан дер Вин), положил конец этой связи, которая своей скандальностью ухудшила и без того не блестящее положение старого писателя.

Из-за своих сумасбродств он переживал денежные затруднения. Сын охотно помог бы ему, но отец не любил призываться в своих невзгодах. Он основал новую газету — «Д'Артаньян», которая должна была выходить три раза в неделю. Он просил своих друзей создать ей рекламу: «Мне не приходится рассказывать вам, что это за ловкий малый. Он, слава Богу, заставил достаточно говорить о себе; но важно, чтобы люди узнали следующее: он воскрес и снова обнажил шпагу, чтобы защищать прежние принципы...» Но «Д'Артаньян» не имел успеха. Дюма написал императору, еще раз

прося помочь ему основать театр. Император отказал. Вре- мя чудес миновало. Старость жестока к чудотворцам.

В 1868 году в Гавре была устроена морская выставка, и Дю- ма пригласили туда прочитать несколько лекций. Он выступал также в Двеппе, Руане, Казне. В Гавре он отыскал свою дочь Микаэлу — ее мать жила там со своим мужем Эдвардом. Род- ды пятерых детей, Адмирал ухитрилась наконец выйти замуж. В Гавре Дюма встретил также Аду Менкен: в Англии судьба ока- залась к ней немилостива, и теперь, едва оправившись после падения с лошади, она вернулась в Париж, где получила ангаже- мент в Шатле. Вначале речь шла о пьесе, которую собирал- ся написать для нее Дюма. Однако директор театра Остен счел более выгодным возобновить «Пиратов саванны», — декора- ции и костюмы еще сохранились. Во время релетившей наезд- ница тяжело заболела. 10 августа 1868 года она умерла.

Ее горничная, грумы, несколько актеров (всего пятнадцат- цать человек) и ее любимая лошадь — вот и весь похорон- ный кортеж, который следовал за ее гробом с улицы Ко- мартэн на кладбище Пер-Лашез.

О смерти актрисы Дюма узнал в Гавре. Когда он воз- вратился домой на бульвар Мальзерб, чувствуя себя со- вершенно разбитым, он нанял секретаршу — маленькую робкую женщину; он пичкал ее сладостями и с утра до ве- чера рассказывал ей о задуманных пьесах и романах. Одна- ко наступил день, когда мысли его утратили ясность и рас- сказы сделались сбивчивыми. Тогда он заперся у себя в комнате и стал перечитывать свои старые книги.

«Каждая страница напоминает мне, — говорил он, — один из ушедших дней. Я подобен дереву с густой лист- вой, в которой прячутся птицы; в полдень они спят, но по- том пробуждаются и наполняют безмолвие гаснущего дня хлопаньем крыльев и песнями».

Сын пришел к нему и увидел, что он с увлечением чита- ет какую-то книгу.

— Что это?

— «Мушкетеры»... Я давно решил, что когда буду стари- ком, то постараюсь уяснить себе, что стоит эта вещь.

— Ну и как? Где ты читаешь?

— Подхожу к концу.

— И как тебе показалось?

— Хорошо!

Перечитав также «Монте-Кристо», он заявил:

«Не идет ни в какое сравнение с «Мушкетерами»».

С того дня, когда Дюма-старший бросил Катрину Лабс с ребенком на руках, вся ее жизнь могла бы служить образцом добродетели. Неудивительно, что Дюма-младшему, доктри- неру и моралисту, пришла мысль соединить своих преста- релых родителей и, быть может, даже поженить их. Дюма- отец, уведомленный об этом проекте, поддался искушению. В Нейи он наконец обрел бы семейный очаг и хозяйку, спо- собную содержать в порядке его дом и принимать его дру- зей. Несомненно, он надеялся и на то, что его престарелая сожительница, которой он долгие годы пренебрегал, будет покорно носить его последние шалости.

Отказ исходил от Катрины Лабс. «Мне уже за семьдесят, — писала она приятельнице, — и вечно нездоровится; живу я скромно с одной-единственной служанкой. Г-н Дю- ма перевернет вверх дном мою маленькую квартиру... Он опоздал на сорок лет...» История с Адой Менкен вызвала у нее улыбку. «Ах, — сказала она, — она все такой же; годы ничему его не научили». Катрина умерла 22 октября 1868 года; ей было семьдесят четыре года.

Дюма-сын — Жорж Санд, 23 октября 1868 года:

«Дорогая матушка! Моя мать скончалась вчера вечером без всякой мучений. Она не узнала меня, а значит, не ведала,

что покидает. Да и вообще, покидаем ли мы друг друга?»..»

Дюма-сын в сопровождении своего друга Анри Лаува, хранителя императорской библиотеки, отправился в мэ- рию Нейи, чтобы составить там акт о смерти. Он заявил, что усопшая была «незамужняя, без определенных заня- тий», и назвал себя, ответил, что является «ее единствен- ным сыном Александром Дюма Дави де ла Пайетри». Но в рубрике «дочь таких-то» в регистрационном листе значи- лось: «имена и фамилии отца и матери (усопшей) нам со- общены не были». Это свидетельствует о том, что Катрина была внебрачным ребенком неизвестных родителей.

Дюма-сын — Жорж Санд, Сеньелье-Оксэрт, Ионн (ко- нец октября 1868 года).

«Мы в Бургундии, у друзей. Здесь я узнал печальную но- востью и сюда возвратился, исполнив печальный долг. Я много плакал и до сих пор плачу. Мне надо выплакаться — вот уже двадцать с лишним лет, как я не плакал. От слез мне становится легче. Сказано, что мать продолжает делать сы- ну добро, даже испустив последний вздох... Книга Мориса лежала у меня на столе в ту ночь, которая предшествовала за- горестным событиям. Единственное, что я пока мог сде- лать, — это разрезать ее. Она здесь, со мной. Я начну читать ее, как только буду способен что-либо воспринимать...»

Дюма-отец провел лето 1869 года в Бретани, в Роскове. Он искал спокойный уголок, чтобы написать «Кулинарную энцик- лопедию», заказанную ему издателем Лемером. Он привез с собой хухарку Мари, которой Росков не понравился. «Ах, су- дарь, — сказала она, — в таком месте мы оставаться не мо- жем». — «Весьма вероятно, что вы здесь не останетесь, Мари, но что до меня, то я останусь». — «Сударю нечего будет есть!»

Вечером жители Роскова, которых расправило от голод- сти, что к ним приехал великий Александр Дюма, притащили ему дары: две макрели, омара, камбалу и ската величиною с зонтик. Но если рыбы были довольны, то артишоки оказались твердыми, как пушечные ядра, зеленая фасоль — водяни- стой, масло — несвежим. «Вот и весь тот ассортимент про- дуктов, на основании которого приходится писать книгу о ку- линарии». От этого Дюма работал с меньшим пылом, чем обычно, но рассвирепевшая Мари взяла расчет. Тогда Дюма стал гостем всего Роскова: он обедал то у одних, то у других, и люди изошрялись, чтобы приготовить ему самые изыскан- ные кушанья. «В этом старании угодить мне было нечто та- кое, что трогало меня до слез». В марте 1870 года рукопись (неоконченная) «Большой кулинарной энциклопедии» была передана издателю Альфонсу Лемеру. Это монументальное произведение было издано только после войны, при участии «молодого сотрудника Лемера» — Анатоля Франса.

Весною 1870 года Дюма уехал на юг; он чувствовал, что силы его на исходе, и надеялся, что солнце вольет в него новую жизнь. В Марселе он узнал, что объявлена война. Известия о первых поражениях докочали его.

Полупарализованный после удара, он с трудом добрал- ся до Пио и позвонил у дверей сына. «Я хочу умереть у те- бя», — сказал он. Его встретили с любовью. «Мне привезли отца, он парализован. Скорбное зрелище, хотя эту развяз- ку можно было предвидеть. Избегайте женщин — таков вы- вод...» То было возвращение Блудного Отца! Его поместили в самой лучшей комнате. Приехал, он сразу лег и заснул.

Его продолжал волновать вопрос о ценности его творче- ства. Однажды утром он рассказал сыну, что во сне видел себя на вершине горы, и каждый камень этой горы был его книгой. Вдруг гора осыпалась под ним, как песчаная дюна. «Послушай, — сказал ему сын, — спи спокойно на своей гранитной глыбе. Она головокружительно высока, долговечна, как наш язык, и бессмертна, как родина». Тут лицо старца

прояснилось: он пожал руку своего мальчика и поцеловал его. Возле его постели на столике лежали два лудора — все, что осталось от заработанных им миллионов. Однажды он взял их, долго разглядывал, потом сказал:

— Александр, все говорят, что я мот; ты даже написал об этом пьесу. Видишь, как все заблуждают? Когда я впервые приехал в Париж, в кармане у меня было два лудора. Взгляни... Они все еще целы.

Юная Микаэла, жившая со своей матерью в Марселе, в семейном пансионе, написала отцу, чтобы узнать, как его здоровье. Ответил ей Дюма-сын:

Дюма-сын — Микаэле Кордые:

«Мадемуазель! Я получил те три письма, которые Вы написали моему отцу и которых я не мог ему передать, поскольку Вы говорите там о его болезни, а я (если возможно) скрываю от него, что он болен. То ласковое имя, каким Вы его называете, доказывает, что Вы любите его со всей силой, на какую способен человек в Вашем возрасте, и что он был привязан к Вам. Впрочем, мне кажется, что я несколько раз видел Вас у него, когда Вы были совсем маленькой.

Я взял на себя труд сообщить Вам о его состоянии, так как сам он не в силах этого сделать. Он был крайне тяжело болен. Теперь ему немного лучше... Если он поправится настолько, что сможет читать присылаемые ему письма, я Вас извещу об этом... Я пере пишу Вам его ответ.

Так как Вы любите моего отца, мадемуазель, само собой разумеется, что я приложу все усилия, чтобы сделать Вам приятное».

Вскоре больной почти перестал говорить. Он не страдал, он чувствовал, что его любят, и больше ничего не желал. В хорошую погоду его вывозили в кресле на пляж, и он целыми днями молча смотрел на море, которое в блеклом свете зимнего солнца сливалось на горизонте с серым облачным небом.

Время от времени какое-то произнесенное им слово, какая-то фраза показывали, что он думает о смерти. «Вуй!» — говорил он. — Я принадлежу к тем обреченным, которые, уходя, прощают навеки». О чем он думал, когда к ногам его подкатывала зеленая волна? Быть может, о своем героях, о Мушкетерах и Сорока Пяти, о Бурланде и Антони, об актерах, игравших его пьесы — о Дорваль и Бокаже, о Фредерике Леметре и мадемуазель Жорж, о мадемуазель Марс и Фирмене; быть может, о пыльной канцелярии Пале-Рояля, где, случайно раскрыв книгу, он нашел сюжет для своей первой пьесы; о маленькой комнатке, где он любил Катрину Лабе; о лесах Вилле-Коттре, о первой подстреленной дичи, о крытой шифером островной колокольне, о генерале Дюма — опальном герое, обезоруженном великане; быть может, о том дне, когда он скакал верхом на сабле Мирота.

Александр Дюма-сын — Шарлю Маршалю:

«Дорогой друг! В ту минуту, когда пришло Ваше письмо, я собирался писать Вам, чтобы сообщить о постигшем нас несчастье, неизбежность которого стала ясна нам еще несколько дней назад. В понедельник, в десять часов вечера, мой отец скончался, вернее — уснул, так как он совершенно не страдал. В прошлый понедельник, днем, ему захотелось лечь; с этого дня он больше не хотел, а с четверга уже не мог вставать. Он почти беспрерывно спал. Однако, когда мы обращались к нему, он отвечал ясно, приветливо улыбаясь. Но с субботы отец стал молчалив и безразличен. С этого времени он всего один-единственный раз проснулся, все с тою же знакомой Вам улыбкой, которая ни на секунду не покидала его. Только смерть могла стереть с его губ эту улыбку. Когда он испустил последний вздох, черты его застыли в непреклонной суровости.

Разум, даже остротнее не изменили его до конца. Он выказал много интересных мыслей — я спешу сообщить Вам

некоторые из них, ибо Вы используете их наилучшим образом. Хочу дать Вам представление о желании шутить, которое не покидало его. Однажды, поиграв с детьми в домино, он сказал: «Надо бы что-нибудь давать детям, когда они приходят играть со мной, — ведь это им очень скучно». Живущая у нас русская горничная преисполнилась нежности к этому тяжело больному, неизменно улыбочивому и доброму, который был беспомощен, как ребенок. Однажды моя сестра сказала отцу: «Аннушка находит тебя очень красивым». — «Поддерживайте ее в этом мнении!» — ответил он.

Наконец он произнес едва ли не самые прекрасные и поэтические слова, которые только можно сказать, — они относились к Ольге, она часто навещала его. Вы замечали, что она немного напоминает «Святую деву» Перуджини — длинные платья, тонкие руки, и наша малышка, которую она обычно водит за собой или носит на руках, еще усиливают сходство, это и прежде всегда поражало моего отца, и он наблюдал по отношению к Ольге черемужно, даже почти-тительную вежливость. В один прекрасный день, когда он дремал, она зашла к нему, но, увидев, что он спит, удалилась. Он открыл глаза и спросил: «Кто там?» — «Это Ольга», — сказала моя сестра. «Пусть войдет!» — «Ты любишь Ольгу?» — «Я почти не знаю ее, но ведь девушки — это свет».

Всякий день он находил веселые или трогательные слова в духе тех, что я только что Вам сообщил. Недавно я спросил его: «Хочется тебе работать?» — «Нет!» — ответил он с выражением, на которое ему давало право воспоминание о том, сколько пришлось ему работать в течение сорока лет.

Вот, друг мой, некоторые подробности, которыми Вы можете воспользоваться, если будете говорить о нем... Они послужат ответом на распространявшиеся слухи о размягчении этого могучего мозга, который не требовал больше ничего, кроме покоя. Отец отдыхал на лоне природы и в лоне семьи, вида перед собой безбрежное море и безбрежное небо, а вокруг себя — детей. Он по-настоящему любил Колетту. Наконец-то он чувствовал себя счастливым в этой покойной и уютной обстановке, которая столь редко встречалась ему в его рассеянной и расточительной кочевой жизни, что он наслаждался ей всем своим существом... Нам сообщили, что пруссаки сегодня вступили в Дьепп! Итак, он жил и умер в историческом романе.

...Пишу Вам эти несколько слов вопреки перед отпеванием, которое состоится в маленькой Невильской церкви, недалеко от Дьеппа, сегодня, 8 декабря, в одиннадцать часов. Вероятно он будет покоиться там».

Микаэла узнала о смерти своего отца в марсельском пансионе из беседы за табльдотом. Она залилась слезами; мать одела ее в траур. Жорж Санд находилась в Ноане, отрезанная от Нормандии немецкой армией. Тем не менее ее «младший сыночек» попытался известить ее.

Дюма-сын — Жорж Санд, Пюи, 6 декабря 1870 года:

«Мой отец скончался вчера, в понедельник, в десять часов вечера, без мучений. Вы не были бы для меня тем, что Вы есть, если бы я не сообщил Вам первой о его смерти. Он любил Вас и восхищался Вами более, нежели кем-либо другим...»

Она могла выразить свое сочувствие только много позже, по окончании военных действий.

Жорж Санд — Дюма-сыну, Ноан, 16 апреля 1871 года:

«Вам присписывают следующие слова о Вашем отце: «Он умер так же, как жил, — не заметив этого». Не зная, что Вы это сказали или что это вкладывают в Ваши уста, я написала в «Рево де Дё Монд»: «Он был гением жизни, он не почувствовал смерти». Это то же самое, не правда ли?..»

Дюма-сын — Жорж Санд, 19 апреля 1871 года:

«Слова эти подлинны. Я написал их Гаррису и вспоминаю о том, что они принадлежат мне лишь потому, что наши мысли —

Ваши и мои — совпали, хотя и в разных выражениях. Я постараюсь найти здесь (или если не найду в Дюппе, то выпишу из Лондона) Вашу статью о моем отце. Вы понимаете, что мне не терпится ее прочитать. Как это Вам не пришла в голову добрая мысль послать мне ее? Или хотя бы сообщить дату ее опубликования? Меня очень мало трогает мнение, которое может высказать г-н де Сен-Виктор или какой-нибудь другой насмешник о моем отце (чь книги он, вероятно, не читал), но Ваше суждение для меня очень ценно. Быть может, и я когда-нибудь, отринув свои сыновние чувства, выскажу то, что думаю про этого необыкновенного, исключительного человека, для которого у современников нет мерила, этого своего рода добродушного Прометея, которому удалось обезоружить Юпитера и насадить его коршуна на вертел. Здесь нашелся бы интереснейший материал для изучения вопроса о смешении рас, любопытнейший феномен для анализа. Вправе ли я заняться таким физиологическим исследованием? Об этом можно будет судить, когда я его сделаю. Если оно окажется удачным, убедительным, полезным, я буду оправдан, в противном случае мне осудят. Пока что я читаю и перечитываю его книги, и я раздавлен его воодушевлением, эрудицией, красноречием, добродушием, его остроумием, милосердием, его мощью, страстью, темпераментом, способностью поглощать вещи и даже людей, не подражает им и не обкрадывает. Он всегда ясен, точен, ослепителен, здоров, наивен и добр. Он никогда не проникает глубоко в человеческую душу, но у него есть инстинкт, заменяющий ему наблюдение, и некоторые его персонажи испускают шекспировские крики. Впрочем, если он и не погружается в глубину, то часто вспарывает к высотам идеала. И какая уверенность, какое стремительное движение, какая восхитительная композиция, какая перспектива! Каким свежим дыханием овеяно все это, какое разнообразие всегда безошибочно точных тонов!

Приглядитесь-ка: герцогиня де Гиз, Адель д'Эрве, госпожа де При, Ришелье, Антони, Якуб, Бурридан, Портос, Арамис и «Путевые впечатления»... И все и всегда увлекательно! Кто-то однажды спросил меня: «Как это получилось, что Ваш отец за всю жизнь не написал ни одной скучной строчки?» Я ответил: «Потому что ему это было бы скучно». Он весь, без остатка, перевоплотился в слово. На его долю выпало счастье написать больше, чем кто бы то ни было; счастье всегда испытывать потребность писать для того, чтобы воплотить самого себя и столько других людей, счастье писать всегда только то, что его увлекло. Во время Ваших ночных бдений дайте себе труд прочесть то, чем Вы, вероятно, никогда еще не читали: «Путешествия по России и Кавказу». Это чудесно! Вы продлеаете три тысячи лет по стране и по ее истории, не переводя дышания и не утомляясь... Вас всего трое в этом веке: Вы, Балзак и он. А за вами больше нет, да и не будет никого!..»

Еще одна женщина после войны великодушно отозвалась о нем: то была Мелани Вальдор, пережившая на сорок лет все «сломанные гераны».

Мелани Вальдор — Дюма-сыну, Фонтенбло, 20 апреля 1871 года:

«Когда я думаю о твоём отце, которого я никогда не забуду, я неизменно думаю о тебе, мой дорогой Александр. Я увезла с собой два твоих письма, которые очень взволновали меня, прочли мне в самую душу, — в особенности то, что от 18 октября, столь прекрасное по своей простоте и правдивости, что я часто его перечитываю, стремясь мысленно вновь очутиться с твоим отцом и с тобой — с теми, кого я никогда не переставала любить. Я знаю, ты веруешь в потустороннюю жизнь и изучил много священных книг. В них только и можно почерпнуть силу и утешение на долгие времена... Если жил когда-либо человек неизменно добрый и сострадательный, то это был, без сомнения, твой отец. Только его талант мог сравниться

с его доброжелательностью и неизменной готовностью помогать другим. Господь благословил его, ниспослав ему в час тяжких бедствий для Франции безмятежную кончину в кругу его детей. Он не изведаль безграничной, неуשתной скорби — смерти существа, которому он дал жизнь.

Прощай, дорогой мой сын. Я еще очень слаба и не позволяю воспоминаниям увлечь меня... Когда же мы сможем без страха вернуться в Париж? Хочу, чтобы, дожидаясь этого более или менее отдаленного времени, ты знал, что видеть тебя и говорить с тобой будет для меня почти материнской радостью.

Твой старый и самый искренний друг

М. Вальдор».

Дюма-сын написал Маке, чтобы сообщить о смерти своего отца и вместе с тем чтобы осведомиться о финансовых взаимоотношениях двух соавторов. В последних разговорах с сыном Дюма-отец бормотал что-то о «тайных счетах». Дюма-сын, высказывая свое недоумение, спрашивал, не заключили ли соавторы какого-либо тайного соглашения?

Огюст Маке — Дюма-сыну, 26 сентября 1871 года:

«Дорогой Александр! Печальная новость, которую Вы мне сообщили, глубоко огорчила меня. Что касается пресловутых «тайных счетов», то это плод воображения. Ваш отец не решался заговорить со мной об этом, а когда все же заговорил, довольно было и пяти минут, чтобы заставить его отступить...

В самом деле, дорогой Александр, Вы лучше кого бы то ни было знаете, сколько труда, таланта и преданности предоставил я в распоряжение Вашего отца за долгие годы нашего сотрудничества, подготовившего мое состояние и мое имя. Знайте также, что еще больше вложил я в это дело деликатности и великодушия. Знайте также, что между Вашим отцом и мною никогда не было денежных недоразумений, но что нам никогда не удалось бы рассчитаться, ибо получил я даже полимиллиона, я все равно не стал бы должником.

Вы деликатно просили меня сказать Вам правду. Извольте, вот она — я излил Вам свое сердце, надеясь передать Ваше. Примите уверения в моей давней и неизменной привязанности.

О. Маке

Что касается каких-то таинственных счетов, о которых Вам говорил Ваш отец, не верьте этому. Он и сам никогда в это не верил!».

Дюма-отец был похоронен в декабре 1870 года в Невилье-Полле, на расстоянии километра от Дюппа. Директор Жимназа Монтини, также укрывшийся в Пюи, произнес надгробное слово от имени друзей. Когда война кончилась, Дюма-сын перевез останки в Вилле-Коттре. На похороны приехали барон Тейлор, Эдмон Абу, Мейсонне, сестры Брон, Го и даже Маке. Могила была вырыта рядом с могилами генерала Дюма и Мари-Луизы Лабуэр¹.

После всех речей несколько слов сказал Дюма-сын: «Мой отец всегда хотел покинуться здесь. Здесь у него остались друзья, воспоминания, и это его воспоминания и его друзья встретили меня здесь вчера вечером, когда столько преданных рук тянулись к гробу, чтобы сменить носильщиков и самим отнести в церковь тело их великого друга... Я хотел бы, чтобы эта церемония была не столько скорбной, сколько праздничной, не столько похоронами, сколько воскрешением...»

Какая удивительная смесь людей и событий: нормандский маркиз, черная рабыня, трактирщик из Валуа, швед, помещанный на театре, помощник начальника канцелярии — знаток литературы, учитель, интересующийся историей, романтическая эпоха, демократическая пресса... И все это вместе дало жизнь величайшему рассказчику всех времен и народов.

¹ На четвертой надгробной плите теперь можно прочесть: «Жанни д'Оттерие, урожденная Александр-Дюма (1867-1943)».

Часть девятая

БОГ-СЫН

Приобщил ли ты Дюма-сына к культуре искусства? Если это так, то ты великий волшебник.

*Гюстав Флобер,
Письмо к Фейдо*

Старого бога-сатира не стало. На его месте публика увидела благородного и столь же могучего человека, который унаследовал его славу. В сознании народа «Три мушкетера» были почти неотделимы от «Дамы с камелиями». Апофеоз отца стал апофеозом сына: он пользовался огромным престижем. Война 1870-1871 годов и разгром Франции разожгли гнев моралиста и дали ему новую пищу. Как Ренан, он станет теперь объяснять пораженные упадком нравов. В своих пьесах он будет клеймить пороки времени, а в своих эссе предлагать от них лекарство. Он станет светским национальным пророком.

15 июня 1871 года он писал в газете «Ла Сарт»: «Необходимо, чтобы Франция сделала могучее усилие, чтобы воля и энергия всех французов слились воедино, чтобы весь народ жил одной мыслью — неотвязной, маниакальной — оправдаться перед внешним миром, залечить раны внутри страны. Необходимо, чтобы Франция обрела себя на лишениях; чтобы она была собранной, скромной и терпеливой; пусть работает отец, пусть работает мать, пусть работают дети, пусть работают слуги — до тех пор, пока не будет восстановлена честь семьи. А когда во всем мире услышат шум этого усердного и неустанного всеобщего труда и кто-нибудь спросит: «Что это за шум?» — надо, чтобы каждый мог ответить: «Это Франция трудится ради свободы и благоденствия».

Самое трудное для моралиста — жить согласно своей морали. Частная жизнь Дюма была далека от его идеала. Без сомнения, он любил своих дочерей, у него были верные друзья, но Надежда — нервная, раздражительная, ревнивая и вспыльчивая — перестала быть для него настоящей подругой. Многие женщины, и нередко — очаровательные, претендовали играть в жизни человека, слышавшего лучшим знакомом женского сердца, ту роль, которую больше не могла играть его законная жена. Лыцки ласкали укротителя. Дюма сопротивлялся, а если и уступал натиску, то это совершалось в такой тайне, что о его слабостях почти ничего не известно. И все же искусный было более чем достаточно. И некоторые искусительницы были прелестны. Один из наиболее интересных случаев — это история его отношений с Эме Декле.

ГЛАВА ПЕРВАЯ Эме Декле и «Свадебный гость»

Что делаешь ты на поверхности,
О женщина из бездны?

Жюль Супервьель

Бывают актрисы, которые начинают свою карьеру блестяще, но никогда не достигают высоты гения; другие же после бледного дебюта расцветают в пламени страстей и изумляют критику. Такова была история Эме Декле. Дочь адвоката, она выросла в среде крупной буржуазии и воспитывалась, как все девицы ее круга. Но ее отец, запутавшись в делах, разорился. Надо было на что-то жить. Кра-

сивая Эме Декле была превосходной музыкантшей и могла бы стать певицей; она решила, что ей будет легче добиться успеха на драматической сцене. Она поступила в Консерваторию, но училась кое-как и, выступая на конкурсном экзамене в роли графини из «Женитьбы Фигаро», не получила никакой награды. Ее изящная фигура понравилась жюри, но красивые глаза ничего не выражали, — ей недоставало огня. И все же Монтины взял ее в Жимназ за красоту, надеясь, что она сможет дублировать Розу Шери в «Полусвете». Она не имела никакого успеха. Казалось, всем своим видом она говорит: «Не знаю, зачем я сюда пришла». Неприязнь публики, автора и товарищей озлобила этого балованного ребенка. Она ушла из Жимназ в Водевиль, потом, ожесточившись, опускалась все ниже и дошла до того, что стала выступать полубожанная в каком-то ревю на сцене Варьете.

Ей было 23 года, она была очаровательна и окружена поклонниками. Она решила оставить театр и жить за счет своих обожателей. Зачем перегружать себя трудной и неблагодарной работой, когда столько мужчин предлагают ей состояние только ради того, чтобы удостоиться ее благосклонности? Она меняла одного возлюбленного за другим; ее остроты стали цитировать, она прослыла одной из самых умных женщин Парижа. В 1861 году смерть Розы Шери, казалось, открыла ей возможность вернуться в театр на видные роли, но она уже чувствовала себя оторванной от искусства. Она исколесила весь мир; переезжала из Бадена во Флоренцию, из Спа в Санкт-Петербург. Многие женщины легкого поведения завидовали ей, однако после исполнения очередной прихоти ее прекрасные разочарованные глаза словно говорили: «Нет, это все еще не то». На костюмированном балу, который устроили артисты Жимназ и куда она явилась в костюме маркитантки, она встретила Александра Дюма-сына в костюме Пьеро. Это был грустный маскарад. Ни он, ни она не веселились. Она показала ему ослепительной, рассеянной, мечтательной. «Она походила, — сказал он, — на принцессу из сказки, которую преследует злая судьба и которая ждет принца-избавителя».

«Я испытала, — сказала она ему, — какие-то удовольствия, какие-то радости, но никогда не знала счастья».

В 25 лет она пережила кризис и решила уйти в монастырь. «Священник, которому, по-видимому, была неизвестна притча о заблудшей овце, оттолкнул меня, сказав, что я недостойна войти в дом Божий...» Наскучившая (как в свое время Жюльетта Друэ и Мари Диоплесси) капризами богатых покровителей, она решила снова пойти на сцену и стать независимой. Она вернулась в театр смирившаяся, готовая терпеть и покоряться, готовая играть самые маленькие роли. Но актрисе нелегко бороться с дурной репутацией. Ее не приняли всерьез. Никто не предложил ей помощи. Что делать? Отправиться в турне? Директор одного из театров, Мейнадьё, увез ее в Италию и доверил играть лучшие женские роли в пьесах Дюма-сына. «Труппа Мейнадьё привезла к нам сюда красоту Декле, — писала Бертону его мать. — Ты не представляешь себе, какие она сделала успехи...» Игра Декле отличалась теперь искренностью, ибо она страдала. В Италии она имела огромный успех как у публи-

ки, так и в свете благодаря своему объяснению, изяществу, уму и таланту. Дюма-отец, находившийся тогда в зените своего габрибальдийского приключения, открыл ей в Неаполе «свои объятия, свое сердце, свой дом».

Эме Декле — Дюма-сыну.

«Я представила неаполитанцам всех обаятельных женщин, созданных Вами; меня превозносит до небес. Мы часто говорим о Вас, и я от всей души благодарна Вам за то счастье, которое выпало на мою долю...»

Продолжая работать без устали, она вела в Италии с 1864-го по 1867 год все такую же бурную жизнь и по-прежнему искала «принца» — человека, который мог бы ее спасти. Но пропасть между ее сокровенными желаниями и ее образом жизни становилась все глубже. В 1867 году импресарио Декле привез ее в Брюссель, где она снова стала играть Диану де Лис в театре Галери Сен-Юбер. Она написала Дюма-сыну, который в то время также находился в Брюсселе в связи с тем, что в театре Парка начали репетировать «Друга женщин», и просила его прийти ее посмотреть. «Везде говорят, что я делаю успехи, но я не верую в это, пока не услышу Вашего мнения...» Он пришел скорее из вежливости, чем из любопытства, и без всякой надежды. Но стоило ей пробывать на сцене пять минут, как он, к своему великому изумлению, открыл в ней большую артистку. «Необычный, протяжный, чуть гунаувый голос, напоминавший пение арабов, вначале казался монотонным, потом захватывал. У нее была изящная фигура, гибкая талия (она не носила корсета) и большие черные глаза; ее лицо отражало внезапные переходы от нежности к ярости, а под искусственным рюмлянцем можно было угадать мертвенную бледность от внутреннего страдания. Худые плечи, грудь почти плоская — короче говоря, это была одна из тех женщин, о которых все другие говорят, что она безобразна, и рядом с которой все красавицы кажутся ничтожными...»

Он пошел поздравить ее и, как только вернулся в Париж, завил Монтиньи, что тот должен немедленно пригласить Декле в Жимназ. Монтиньи не проявил энтузиазма: Дюма говорил, как о новой Дорваль, об актрисе, от которой у него, директора театра, осталось очень бледное воспоминание. Он предложил ей ангажемент на довольно невыгодных условиях. Дюма просил Декле принять их, обещая, что напишет для нее новую пьесу. Она ответила, что Париж внушает ей страх, что за границей она уверена в обожании публики, что там она играет, как считает нужным, без наблюдения и без контроля, что ей нравится жизнь богемы и что, кроме того, парижане найдут ее безобразной, глупой и т. д.

Дюма-сын — Эме Декле:

«Вы не старая, не безобразная, не глупая; Вы женщина, а это значит — существо нервно, изменчивое и нерешительное. Стоит Вам совершить какой-нибудь поступок, и Вы сразу же спрашиваете себя, то ли Вы сделали, что нужно, и любопытство побуждает Вас испытать новое ощущение, которое даст тот же результат, что и предыдущее. Теперь Вы спрашиваете себя, стоит ли Вам в самом деле поступить в Жимназ и, должно быть, Вы будете довольны, если кто-нибудь внушит Вам другое желание, чем то, что было у Вас вначале. Не рассчитывайте на меня. Поскольку мы начали откровенный разговор, то уж поставим все точки над «и». Знайте же, почему я интересуюсь Вами лично и Вашим талантом. Вы не только не слишком старая и не слишком безобразная для того, чтобы играть в моих или еще чьих-то пьесах, — Вы как раз находитесь на той ступени, на которой женщина, уже десять лет пребывающая на подмостках, может и должна стать артисткой. Время от времени Вы грустите, и это происходит оттого, что Вы переживаете сейчас ту фазу жизни, когда человек уже нацел оглядывается назад, не решаясь смотреть вперед; Вы спрашиваете себя, не были ли Вы

призваны Вашим инстинктом, Вашим вкусом, Вашим умом, Вашей душой к тому, чтобы заниматься совершенно другим делом. Быть красивой женщиной, выступать на сцене то здесь, то там, иметь одного или нескольких возлюбленных, выходить на вызовы публики после четвертого акта, расточать свою красоту, неизменно держа на замке свое сердце, до той поры, пока отыщется человек, достойный отомкнуть шкатулку, — а он никогда не отыщется, — все это может продолжаться какое-то время, может создавать иллюзию, заменяя действительную жизнь внешней светуей, но это не может длиться вечно. Наступает момент (и Вы подошли к нему), когда человек оглядывается назад, когда он спрашивает себя: «Для чего все это? — когда он насчитывает на своем пути уже немало похорон всех разрядов, когда упрежда кажется ему тяжелой, когда он сокрушается о несбывшихся мечтах, когда его отчаяние наупекает его: «Слишком поздно!» И вот как раз в этот момент природы поистине закаленные обретают новую силу, преобразуются, возрождаются — это период метаморфозы...»

Теперь, вместо того чтобы оставаться коячущей актрисой провинциальных и заграницных театров, которой передают лишь крохи после парижских премьер. Вы должны стать на твердую почву, сделать мышцащей и увлеченной артисткой. Когда же Вам посчастливится напасть на пьесу, где Вы обнаружите свои личные впечатления, свой опыт, свои интимные чувства. Вы достанете из шкатулки Ваше сердце, до тех пор дремавшее, и отдадите его на растерзание публике, а она потом вернет его Вам целым и невредимым для другого Вашего творения. Это не то счастье, мечту о котором Вы лелеяли в тайниках Вашей души, это не абсолютное благо, но уже и не зло. Вы будете воздействовать на ум, на чувства, на порывы, на самые благородные побуждения человеческой души. Ваши средства — нечто мимолетное, неуловимое, но действие их будет долгим, подобно действию солнечного луча или капли дождя, упавших в надлежащее время. Кто любит, тот знает, чего он хочет; тот, кого любят, чувствует, что не ради одного только наслаждения — большего или меньшего — один живой труп отдается другому живому телу в пароксизме самовоспроизведения. Вы не ожидали этой маленькой лекции. Я прочел ее Вам, ибо считаю, что Вы способны понять ее и достойны ее выслушать. Вы как раз достигли той самой точки, так не упустите момента. Вы сейчас на перекрестке, откуда расходится множество путей, — выберите правильный, то есть тот, который я Вам указываю. Вы скажете мне спасибо, когда действительно будете старухой...»

В этой тираде была известная доля великолепной самоверности господина де Риона или Оливье де Желана, но в основе своей она была искренней.

Декле повиновалась. Она возвратилась из Флоренции и отправилась с визитом к Монтиньи. Тот был разочарован.

— Что это за женщину вы заставили меня принять в театр? — спросил он у Дюма. — Она явилась ко мне в шерстяном платье в серо-зеленую клетку, в платье со сборчат-ным капюшоном, какие носят нормандские крестьянки... Помилуйте! Меня страх берет. Никогда ей не быть ни Дианой де Лис, ни Фру-Фру!

— Терпение, терпение, — отвечал Дюма. — Вы еще увидите. Он был прав: новый дебют Декле стал ее триумфом. Дюма-сын после нескольких репетиций возвратился к себе в Плюи. Напрасно Декле послала ему очаровательное письмо, прося его присутствовать 1 сентября 1869 года на премьеру.

Эме Декле — Дюма-сыну:

«В среду в Жимназ дают прекрасную пьесу; небо зятя-нута тучами, самое время ходить в театр. Все болше и болше шумят о дебюте молодой актрисы; газеты в один голос объявляют ее очень милой. Будто бы в горле у нее —

музыкальный инструмент. Те, кто слушал ее, хотят услышать вновь. Неужели это правда? Человек, который зайдет к Вам в Пюи и передаст это письмо, обещал мне привезти Вас, но можно ли верить обещаниям этого человека? Господин Александр Дюма-сын, я Вас люблю.

Ваша маленькая служанка Эме Декле».

Он не приехал. Она послала ему полный отчет:

«Свершилось. Уф! Я появлялась на сцене в красивейших платьях всевозможных цветов, с плюмажем в волосах, который делал меня похожей на дрессированную собаку. Зал был набит до отказа... Весь вечер я спрашивала свою публь — не ушел ли он, — ничего подобного, он был спокойный и ровный. Ни тревоги, ни страха, ни радости — ничего. Мне казалось, я возродилась к новой жизни; и вот опять пустота. О я несчастная! После спектакля директор сказал мне: «Получилось не хуже, чем у Розы». Это немалый комплимент. Он хотел, чтобы я, не сходя с места, продлила контракт... Коротче говоря, г-н Монтиньи собирается Вас покинуть, потому что сама я не очень толком не знаю, кроме одного: мне доставляет несказанное удовольствие беседовать с Вами, мой нежный духовник...»

Возбуждение «Дианы де Лис» закрепило успех Декле. «Какая метаморфоза! — писали критики. — Теперь это говорящая душа». Ее хвалили за верность тона, прелесть неожиданных переходов, безукоризненную технику. Говорили, что она много работала, пережила жестокие потрясения и что знание театра позволило ей «продемонстрировать свой суровый жизненный опыт». Дюма, гордый своей находкой, стал ее духовником. Ей хотелось бы большего: «Я так сильно и так давно люблю Вас...» Но он боялся любви из благодарности, которая кончается размолевой, он поддерживал отношения на уровне нежной дружбы. Она не чувствовала себя оскорбленной и даже благодарила его за то, что он отверг в ней любовницу и сохранил друга. «Как хорошо, что все устроилось таким образом! Мне не доставило бы ни малейшей радости предложить Вам жалкую рюхлядь — тело старой женщины, но я испытываю бесконечное блаженство, любя Вас всей душой...» Этой старой женщине было тридцать лет.

Она не знала счастья.

«Если не считать те годы страданий, когда я была девой радости, хотя и казалась благовоспитанной девицей, — с тех пор как я сбегала с этой галереи, мне не на что и не на кого жаловаться. Сколько женщин на моем месте благословляли бы небо! Я чувствую себя хорошо; зал каждый вечер полон, цветов и оваций столько, что они могли бы насытить всех театральных минотавров — и что же? Мне все это безразлично... Как бы там ни было, этим относительным счастьем, отсутствием малейшей тревоги, независимым положением — всем этим я обязана Вам... Кроме того, нравится это Вам или нет, мне кажется, что я люблю Вас больше всего на свете...»

Он был бы рад, если бы мог стать для нее «принцем», но он изверился в любви вообще, а в особенности — в любви автора и актрисы. «Я прошел весь свой путь, не нарушая этого тривиального запрета».

В театре, полагал он, есть порядочные женщины; есть и такие, что способны увлечься офицером, финансистом, атлетом, актером; но между автором и актрисой существует профессиональный барьер. Актрисы слишком заинтересованы в авторе, чтобы верить в искренность своей любви к нему; он же, столько раз видевший, как они играли трагедию, вполне способна перебарывать шутками со своими партнерами, в то время как зрители плакали, — он не может в своей частной жизни принимать всерьез те излияния, которые сам же корректировал из сублимской буди. Он должен взволновать не сердце, а ум актрисы. За гранью сердца он вновь находит простодушие и искреннюю дружбу.

Декле утешала себя, измышляя роман, который мог бы сложиться у нее с Дюма-сыном; он же видел в ней только гениальную актрису, чье дарование должно было развиться за счет подавленных страстей. Он рекомендовал ее своим друзьям Мельяку и Галеви на главную роль в пьесе легкого жанра, хотя и трогательной «Фру-Фру». Она имела в этой роли необычайный успех и благодарила за него Дюма:

«Знаете ли Вы, чем я обязана Вам, дорогое мое превидение? Во-первых, Вы меня придумали; во-вторых, были для меня поддержкой после всех моих неудач; Вы возвратили мне чувство собственного достоинства, уважение к себе. Расплатившись за проезд, я, несчастная Мария Египетская», брела ошупью в поисках дороги; Вы указали мне цель, и вот благодаря Вам я достигла ее. Многие люди, да и Вы сами, говорили мне, что меня считают богатой. Не знаю, откуда взялась эта басня. Я и богата? Это не является. Разве может женщина, подобная мне, сколотить состояние? Не бывает мужчин, которые дают по доброй воле, но бывают женщины, которые умеют заставить их давать... Я бедна и горжусь этим. Однако г-н Монтиньи прислал мне уже третий контракт, условия — превосходные. Итак — долой сплин, долой монашества! Я зарабатываю на жизнь! А еще — я Вас люблю и умоляю: позвольте мне любить Вас, ибо если человеку обеспечен хлеб насущный, если желудок может спать спокойно, то его сосед — несчастное сердце — переживает жестокий кризис. Огромное напряжение, необходимо тратить себя каждый вечер не только не утомляют его, а, наоборот, возбуждают. Любовный угар доходит у меня до мозга, дурманит меня, и слова любви готовы сорваться с моих губ. Я испытываю такую жажду нежности, ласки, что мне страшно. Это маленькое жесткое тело таит в себе неисчерпаемые богатства, они душат меня. Кому отдать их? Кому они могут быть нужны? Их не оценят по достоинству. «Эти люди недостойны Вас», — не раз говорили Вы мне. Я верила этому; потом утратила себя в гордости, в высокомерии и заставляла себя снизойти до какого-нибудь фата; но очень скоро я приходила в себя, вовремя вспомнив Ваши слова. Наконец-то я свихнусь с Вами и Вы поддержите меня, ибо я хочу и впрямь быть достойной Ваших благословений...»

В промежутках между спектаклями эта знаменитая и одинокая женщина жила за городом в обществе своих птиц, своего пуделя и своей старой служанки Цезарины. Она чувствовала себя несчастной, никому не нужной; ее переполняло горячее желание отдать себя кому-нибудь. Она просила Дюма вернуть ей силы и волю.

«Вы испытываете на себе теперь неизбежные последствия, логически вытекающие из положения независимой женщины — для женщины самого тягостного. Женщина рождена для подчинения и повиновения: сначала родителям, затем — мужу, со временем — ребенку, и всегда — долгу. Когда по собственному побуждению или под дурным влиянием окружающих она выходит за рамки своих естественных обязанностей, когда она совершает акт освобождения, то, если она по натуре своей порочна, она будет все больше и больше деградировать, пока не погибнет, истощив свои силы в разврате. Если же ее просто свели с пути, если она просто не устояла, то наступает минута, когда она вдруг чувствует, что у нее есть другое назначение, когда она страшится бездны, в которую увлекает ее стремительное падение, и когда она зовет на помощь...»

...Так думают и говорят женщины в Вашем положении, и коль скоро в пределах их досягаемости или в поле их зрения оказывается мужчина, который не вполне походит на окружающих и который еще вырастает в их глазах из-за охватившей их экзальтации, они восклицают: «Вот он — спаситель, мессия! Спасите меня! Спасите меня!» Я не безумец и не бог и потому не могу быть ни Вашим любовни-

ком, ни Вашим спасителем. Вы хотели бы ребенка. К счастью, Вы не можете его иметь, ибо для Вас его появление на свет было бы весьма кратковременным развлечением, для него же — весьма большим несчастьем.

Дети становятся мужчинами — женщины не делают об этом ни когда они хотят детей, ни когда они их производят на свет... Вы бесплодны, тем лучше. Вы не подарите жизнь ни развратнику, ни несчастному...

Что Вам остается делать? Вам остается пользоваться преимуществами той жизни, которую Вы себе устроили. Вы еще молоды. Вы красивы... Вы обладаете большим запасом жизненных сил... У Вас оборвочительный голос, Вы очень умны. Будьте кокетливы, предельно кокетливы — это и послужит Вам развлечением, станет Вашей защитой и Вашей мстостью и, поскольку Вы обладаете настоящим талантом, очертая голову бросайтесь в работу... Настоядитесь своей независимостью, чтобы никогда больше не продавать себя, и старайтесь никому не жертвовать собой...

В заключение, дорогое дитя, скажу Вам: человек не меняется, он приспосабливается к жизни. Приспособьте к жизни все свои достоинства и недостатки... Станьте большой артисткой, то есть человеком, чье сердце — в голове, а душа — в голосе, человеком, который играет на людских чувствах, как на инструменте. Оставьте же, наконец, «роскошную женщину», по Вашему выражению, все более и более шлифуя себя в обществе людей интеллигентных, в среде которых Вы можете жить. Кочерче, не пытайтесь стать Лукрецией или Магдалиной. Довольствуйтесь тем, чтобы днем быть Ниной, вечером — Рашелью. Это будет прекрасно...

Это был не добрый совет, но добрых советов не бывает. Никто не знает, что потребно другому, никто не может навязать другому определенный образ жизни. Иногда влияет пример, но стареющий писатель не может служить примером для молодой женщины, умирающей от тоски. Ею снова овладевает прежний демон, принявший облик человека из «высшего света», высокого, белокурого, с маленькой бородкой, сильного, мужественного.

Декле — Дюма-сыну.

«Наконец-то, мой добрый духовник, я перестала быть ангелом... Теперь я думаю, что целомудрие несовместимо с моей профессией. Да и к тому же я слишком похудела...»

Добрый духовник ответил на это, как сделал бы Виктор Гюго, — доброжелательным нравоучением, не лишенным ораторского пафоса.

Дюма-сын — Эме Декле:

«Ах, бедная душа, как ты бынешься!.. Насколько сильнее тебе хочется плакать, чем смеяться, и как хорошо ты знаешь, что все это обман!.. Ты потеряешь теперь первые перья из твоих крыльев, только начавших отрастать. А ты еще всерьез намереваешься уйти в монастырь. Зачем? Ты там не останешься. К тому же для человека, у которого есть воля, всюду монастырь. Настоящий монастырь — это уважение к себе. Здесь не нужны ни решетки, ни замки, ни исповедальни, ни священники. Ты не любишь человека, которому отдались, и хочешь оправдать себя, насмеявшись над ним! Люби его по крайней мере, иначе запахи твоей постели — благоухание, когда есть любовь, зловоние — когда ее нет, — одурманят тебя и, проснувшись в одно прекрасное утро, не зная, как выбраться из всей этой грязи, ты напишешь красивое письмо, где перечислишь все свои неосуществленные идеалы, и поконишься с собой. Это будет конец, а быть может, и начало...»

Жюльетта Друз тоже однажды слышала обращенные к себе слова: «Мой ангел, у которого отрастают крылья».

Крылья беспомощно повисли, повисли навсегда, и Дюма перестал заниматься Декле. К тому же война и смерть отца на

несколько месяцев отрезали его от Парижа. Но в октябре 1871 года он поручил Декле роль в одноактной пьесе, которую она называла «маленьким чудом» и которая по сей день сохраняет свою власть над публикой: «Свадебный гость». Пьеса отвечала одному из самых сильных чувств Дюма. Идею ее выражала фраза: «Вот все, что остается от адюльтера, — ненависть у женщин, презрение — у мужчины. Но тогда зачем это? Приблизительно то же высказал позднее в «Парижанке» Анри Бек. Требовалось известное мужество, чтобы защищать этот тезис перед изрядно развращенным обществом, считавшим, что любовь до гроба, которая в глазах Дюма только и была настоящей любовью, невероятна и смешна. Влиятельный критик Франсис Сарс возражал. «Зачем?» — повторял Сарс вопрос Дюма. И отвечал: — Ах, да хотя бы затем, чтобы быть счастливым полгода, год, десять лет — сколько-нибудь». Он восхищался твердостью руки, мастерством воплощения; он лишь упрекал Дюма в цинизме: «Его недостаток заключается в том, что он не любит женщин или — если хотите — Женщину. Для него она не что иное, как объект для вскрытия... Все это сухо, как веревка повешенного».

Диагноз был точный. Дюма-сын не любил женщин: на одном он жаловался, других осуждал. Что касается актрис, то они были для него только исполнительницами. Ему хорошо хорошо изучить женщину, чтобы добиться от нее, как от актрисы, нужных ему акцентов. Какое дивное искусство театр — оркестр из живых инструментов, палитра из трепещущих красок! Героиня «Свадебного гостя» Лидия, возмущенная трусостью своего бывшего возлюбленного, который оставил ее, чтобы жениться, но был готов обманывать с ней свою жену, обмахивается носовым платком, словно ей нечем дышать, потом вытирает рот и бросает платок на стол с возгласом «фу!». После этого она говорит: «Ах, если бы раньше знала, что я узнала платок!.. Фу!». Надо избавиться от этого господина, не так ли? Никогда больше не слышать о нем, считать его мертвым, забыть, что он когда-либо существовал! Мне не хватает воздуха! Я задыхаюсь!.. Никогда не думала, что можно так презирать человека, которого так любила...»

Это «фу!» на репетициях Декле произносила «поверхностно». Дюма настаивал, чтобы она нашла «в самой глубине своего нутра» тот возглас, которого он от нее ждал. Она противилась, ибо чувствовала, что это будет для нее физиологическим потрясением.

«Однажды, когда задета была только актриса, а женщина молчала, у нас происходила настоящая борьба. Она страшилась того состояния, в какое ее повергла бы на весь остаток дня интонация, которой я от нее добивался, и с помощью всевозможных уловок от этого увиливала. Я не уступал, и в конце концов она исторгла из своего нутра нужный мне крик, — я знал, что найду его там. «Нате, вот он, ваш крик, — сказала она мне усталым голосом. — Вы ведь знаете, откуда он исходит, раз спектакль получается?» Тогда она в полубормороке опустилась на стул, держась руками за сердце. «Он прав, — сказала она через несколько секунд, — так и надо со мной обращаться; иначе я ни на что не буду годна...»

Крик, вырванный автором у актрисы, был вознагражден тремя взрывами аплодисментов и вызовом после ее ухода со сцены в середине акта. И он и она хорошо знали, каков источник этого рокового «фу!»: отвращение к прошлому, которого она стыдилась; ужас, внушаемый ей мужчинами, ее недостатками; муки души униженной, тщетно сопротивляющейся унижению. Декле «пачкали», обливали грязью, позорили, оскорбляли». Из этого прошлого она слепила в конце концов произведение искусства. Но прежних страданий было бы недостаточно. Требовался огромный труд. Интонация была найдена;

работа должна была закрепить ее. Искусство театра требует этой бесцелочной химии, сердце здесь дает пищу ремеслу.

Эдмон Абу — Дюма-сыну, 10 ноября 1871 года:

«Ах, друг мой, какой Вы восхитительный художник! Я читал и перечитывал Вашу пьесу и все же не знал ее, ибо как нельзя более верно, что подлинные драматические произведения рождаются только в свете лампы! Рукопись очаровала меня — спектакль потряс. Эта декле — я видел ее впервые — вначале показалась мне уродливой, худой, вульгарной, а голос ее — силным, но через несколько минут это была уже не она, а нечто в тысячу раз более значительное и прекрасное — Ваша пьеса в сером платье...»

Моя жена и я были одни в ложе бенуара; как гостицы, мы не хотели делиться впечатлениями от такого спектакля с людьми равнодушными. Мы вышли из театра ошеломленные. Алекс сказала: «Твой друг устроил бал на полторы тысячи человек на туго натянутом канате, — я спрашиваю себя, каким чудом мы все не сломали себе шею; но это не имеет значения — я довольна, что пошла туда». Что касается меня, то я пока еще не рассуждаю и не размышляю; мне кажется, что на меня хлынул целый поток мыслей, что я попал в водоворот и оплошню не сразу. В ожидании этой минуты я наслаждаюсь вполне бескорыстной радостью, какую испытывает всякий честный человек, встретив личность более значительную, чем он сам, более значительную, чем все остальные, — совершенный ум, который природа творит один раз в пятьдесят лет...»

Это письмо характерно: в 1871 году Дюма-сын считался непогрешимым. У него самого было ощущение, что он выполняет некую священную миссию. Модной тогда художнице Мадлен Лемэр, которая попусту растрачивала силы своей души, он с невероятной суровостью писал.

Дюма-сын — Мадлен Лемэр:

«Вы, без сомнения, наиболее достойны жалости из всех, кого я знаю. Письмо, которое я получил от Вас, новое тому доказательство. У Вас слишком мужской ум, чтобы Вы могли довольствоваться тем, чем довольствуется большинство женщин, но Вы и слишком женщина для того, чтобы не интересоваться этим вовсе. В итоге Вы сердитесь на женщин, чувствуя или понимая, что они счастливее Вас, и сердитесь на мужчин, не сумевших дать Вам счастье, на которое Вы, по Вашему мнению, имеете право.

Отсюда та внутренняя горечь, которая пробивается сквозь Вашу напускную веселость, выражая себя иронией и подчас зловещим, недостойным такого изысканного ума, как Ваш. Ибо в виде возмещения Вы получили от природы чрезвычайно изысканный ум, чрезвычайную широту взгляда и восприимчивость.

С Вами можно говорить обо всем. Вы способны все понять, хотя Вам и не дано все воплотить в Вашем творчестве. Вы — художник до кончиков Ваших красивых пальцев, и Вы цепляетесь за работу, чтобы не впасть в отчаяние или в разврат, какой есть не что иное, как отчаяние плоти. Вы испробовали многое, но все это опротивело и наскучило Вам, не дав того, что, казалось, сулило сначала. Короче, Вы находитесь на распутии, которое лесники называют звездой. Десять дорог разбегаются в разные стороны от того места, где Вы стоите, словно спицы колеса, которые лучами расходятся от ступицы к ободу и, как быстро ни вертелось бы колесо, никогда не сойдутся.

У Вас слишком много таланта, и Вы слишком пристрастились к работе, чтобы позволить теперь любви занять в Вашей жизни первое место. Ибо любовь, будучи одним из начал, хочет быть полновластной хозяйкой и, подобно Цезарю, предпочитает быть первой в провинции, нежели второй — в Риме. Любовь ради развлечения — не любовь. Это флирт, и Вы достаточно много занимались им, чтобы знать, какое омерзи-

тельное чувство и какую пустоту он оставляет в душе. Вы не можете теперь отдаться свободно, душой и телом, как хотят и как должны отдавать себя те, кто любит по-настоящему. Обязательства перед обществом, которые Вы взяли на себя, заставили бы Вас любить урывками, в определенные часы и в определенном месте, с определенными ограничениями. Ваш разум, а иногда и чувство собственного достоинства подкашивают Вам, что этого недостаточно и что это грязь. Если бы Вы обладали чувственностью, то довольствовались бы этими мелкими радостями при условии частого их повторения, но Вы лишены чувственности, Вы томитесь тоской, которая характерна для женщин Вашего склада.

Что же должно служить Вам точкой опоры? Много ума и немного чувства. Чем можно удовлетворить и то и другое? Первое — работой, второе — ребенком. Вот почему я посетовал Вам заняться Вашими картинами и Вашей дочерью. Ваша жизнь быстро обретет весомость, которой Вы еще не знали и которая, не мешая Вам смеяться, сделает Ваш смех более искренним и более веселым... Вы займете место среди значительных людей нашего времени. Это самый почетный выход. И тогда Вы, без сомнения, встретите на своем пути ту большую мужскую дружбу, которая обычно венчает судьбу подобных женщин и которая поднимает их на такую высоту, куда не достигают уже ни глупость, ни пошлость, еще окружающие Вас сегодня и мешающие Вам жить.

Вот Вам моя лекция, прекрасный друг. Она, быть может, чересчур торжественна, но она основана на множестве уроков, которые мне преподала жизнь и которыми я время от времени охотно делюсь с дорогими мне людьми — к их числу принадлежите и Вы.»

Эта высокомерная и любвеобильная суровость не отталкивала кающихся грешниц.

ГЛАВА ВТОРАЯ

От «Княгини Жорж» до «Жены Клавдия»

Бедствия Франции довершили превращение Дюма в апокалипсического пророка. Он склонился «над котлом, где плавятся души», — Парижем — и увидел, как из бурлящего города вышел зверь с семью головами и десятью рогами. Этот зверь держал в своих руках, белых как молоко, «золотую чашу, наполненную мерзостями и нечистотой» Вавилона, Содомы и Лесбоса... А над десятью диадемами, среди всяческих «имен богоухальных», ярче всех других пылало слово проституция...

Большинство людей одержимо какой-нибудь одной навязчивой идеей; врач обычно усматривает в любой болезни именно ту, которую открыл он сам.

Начиная с 1870 года Дюма обдумывал пьесу, где намеревался изобразить ученого — патриота и честного человека; его предаст распутная жена — она похищает у него одновременно честь и тайну государственной важности. Поскольку эта женщина давно была являлась новой Мессалиной, мужу надлежало зваться Клавдием*, жене — Цезариной; пьеса называлась «Жена Клавдия». Развязка была отдана в руки Мистията. Надо было, чтобы мужчина уничтожил Зверя, чтобы муж убил жену. Но в ту минуту, когда Дюма собирался написать сверху чистого листа бумаги «Действие первое, сцена первая», ему внезапно представилась совершенно другая пьеса: безупречная женщина вышла замуж за слабого человека, который позволил авантюристке увлечь себя. Муж последней узнает, что у нее есть возлюбленный, и клянется убить его. Княгиня Жорж де Бирак (имя героини) знает, что граф Термонд (оскорбленный супруг) ждет в засаде человека, который должен прийти к его

дий — более чем совершенство, Цезарина — более чем чудовище. В начале своего творчества Дюма использовал личные воспоминания, интимные чувства и соединял, создавая вполне приемлемый сплав, субъективный взгляд с объективной реальностью. Теперь же, одержимый несколькими отвлеченными идеями, он написал тенденциозную пьесу, не имевшую ничего общего с действительностью.

В «Жене Клавдия» он вывел одно лицо — еврея Даниэля, мечтающего о возрождении своего народа на земле Палестины. Хотя он был изображен с симпатией, многие зрители-евреи заявили протест. В своем пылком французском патриотизме, особенно сильноном в пору бедствий Франции (многие из них были эльзасцы), они и думать не хотели о другой родине.

Дюма-сын — барону Эдмунду Ротшильду:

«Если какой-либо народ сумел в десяти коротких стихах создать кодекс морали для всего человечества, он поистине может называться себя народом Божиим... Я задавался вопросом: принадлежи я к этому народу, какую миссию возложить бы я на себя? И в ответ я сказал себе, что мною всецело владела бы одна мысль — отвоевать землю моей древней родины и восстановить Иерусалимский храм... Именно эту мысль я и воплотил в образе Даниэля...»

Критика наравне с публикой невысоко оценила «сложную символику» «Жены Клавдия». Кювйе-Флери, критик академического толка, не лишенный таланта, распекал автора пьесы в «Журнале де Деба», зывая как божеским и человеческим законом, которые запрещают убивать. «Но что же мне тогда делать?» — спрашивал себя Дюма.

«Если я прощаю Даму с камелиями — я реабилитирую куртизанку, если я не прощаю Жену Клавдия — я проповедую убийство... Принято считать, что я представляю и прославляю на сцене только негодяев, мерзких выродков, что тем самым я потерял право говорить о добродетели и о чести, что не то иной, как я, развратил современное общество, до меня оно-де было стадам белых овец, и довольно было пастушьего посоха, увиденного розовыми лентами, чтобы направлять его от рождения до смерти. Я, мол, защищаю недоказуемые тезисы, а главное — в таком месте, которое создано для развлечения добропорядочных людей... Наконец, что я стал общественно опасным элементом, поскольку я нападаю на законы моей страны и дохожу до того, что рекомендую мужьям убивать своих жен...»

Кювйе-Флери спрашивал: «А по какому праву г-н Дюма ярится в тогу моралиста? Живет ли он сам в согласии с той моралью, которую проповедует? Имеет ли он право на то доверие, которым пользуется законодатель, прорицатель и судья?» Ответив сам на им же заданные вопросы — обычный полемический прием, — Кювйе-Флери заявил: «Нет». Дюма возмутился. Почему нет? Только потому, что он не судья, не священник, не член Академии? Но судьи и священники осудили на смерть Жака Каласа», — частное лицо, писатель Вольтер отомстил за забитого. По той же причине частное лицо, писатель Дюма, считал своим долгом говорить правду людям, собравшимся в театре. Мольер совершил свой подвиг — подвиг гения — без чьего-либо разрешения. Что касается его самого, Дюма, то он считал себя тем более вправе судить наши законы, что сам страдал от них. Адресуясь к Кювйе-Флери, он написал подробный рассказ о своей трудной жизни: об уникальном детстве внебрачного сына, об издевательствах товарищей по пансиону. «Родившись в результате ошибки, я был призван бороться с ошибками».

Затем он рассказывал о своей жизни с Александром Дюма-отцом.

«Вы, сударь, знали моего отца. Вы помните его жизнерадостность, его неизменную и неискажамую веселость,

его расточительное отношение к своим деньгам, своему таланту, своим силам, своей жизни. Он сердцем восполнил те отцовские права, в которых ему отказал закон, и я стал его лучшим другом... Когда мне исполнилось восемнадцать лет, мы вместе с ним — его склонность к изливательству вступила в союз с моей молодостью и любознательностью — охулились в светские развлечения, да и не только светские. Шокин! Не правда ли?

Но, ей-богу, пища для наблюдений есть повсюду, а в тех местах, где бывали мы с отцом, пожалуй, можно почерпнуть больше жизненной мудрости, нежели в пухлых философских трактатах...»

Тогда-то он и столкнулся с женщинами, которые сблизись с пути.

«Так как у меня не было состояния, которое я мог бы промывать с этими женщинами, то к тем трагам, что были мне по карману, я добавлял немного жалости. Я сочувствовал отчаянию, принимал исповеди, видел, как среди всех этих фальшивых радостей текут потоки искренних горячих слез... Роман «Дама с камелиями» был первым итогом этих впечатлений. Когда я написал его, мне был двадцать один год...»

Он осмотнительно выбрал тему, которой собирался посвятить все свое творчество, ибо как раз на эту тему он мог сказать больше всего. Темой этой была любовь. Научные проблемы? Политические проблемы? В этих вещах он признавал себя некомпетентным. Нравственные проблемы, отношения между мужчиной и женщиной? Вот здесь он почил себя знатоком. Однако в театре он столкнулся со сложившимся положением вещей: там нельзя было показывать превосходство мужчины над женщиной. В театре женщина берет реванш у сильного пола, который угнетает ее в жизни. Она, всегда только она. Все ради любви и через любовь.

Дюма увидел, что он замкнут в этом круге. Напрасно пытался он из него выйти. В наделавшей много шума брошюре «Мужчина — Женщина» он переходил в наступление.

«Женщина никогда не уступает ни разумным доводам, ни доказательством, она уступает только чувству или силе. Влюбленная или побиата, Джульетта или Мартина* — другого ничего нет. Я пишу это исключительно для сведения мужчин. Если после этих разоблачений они по-прежнему будут заблуждаться в отношении женщин, я буду в этом неповинен и поступаю, как Пилат...»

Существует два типа мужчин: те, кто знает, что такое женщина, и те, кому это неизвестно. Первые встречаются редко; их долг — просвещать остальных. Своего сына (воображаемого, того самого Дюма-внука, которого Надин так и не произвела на свет) он поучал, что совершенная чета, мужчина — женщина, может быть создана, только когда соединятся два безупречных существа, дав друг другу нерушимую клятву в абсолютной верности. Он, знавший столько развращенных, лживых или полубезумных женщин, советует сыну избрать жену набожную, целомудренную, трудолюбивую, здоровую и веселую, чуждую иронии.

«И если теперь, несмотря на все твои предосторожности, осведомленность, знание людей и обстоятельств, несмотря на твою добродетель, терпение и доброту, ты все же будешь введен в заблуждение наружным видом или двоедушьем, если ты свяжешь свою жизнь с женщиной, тебя недостойной... если, не желая слушать тебя ни как мужа, ни как отца, ни как друга, ни как учителя, она не только бросит твоих детей, но с первым встречным будет производить на свет новых; если ничто не сможет помочь ей бесчестить своим телом твою мать... если она будет препятствовать тебе выполнять Богом данное назначение, если како, присвоившей себе право соединять, открывает себе в праве развешивать и объявляет себя бессиль-

ным, провозгласи себя сам, от имени Господа твоего, судьей и палачом этой твари. Это больше не женщина; она не принадлежит к числу созданий Божьих, она просто животное; это обезьяна из страны Нод¹, подруга Каина — убей ее...»

Такова была мораль Дюма-сына. Но драматург понимал, что терять контакт с публикой. Он сошел со своего треножника и написал «Господина Альфонсо». Главную роль в этой пьесе он предназначал Декле, но актриса чувствовала себя очень плохо. Она жаловалась на боли в боку; некоторое время спустя врачи определили у нее злокачественную опухоль. Несчастная женщина, уставшая от своих триумфов, с печалью близкой смерти на лице, искала теперь только покоя.

Эме Декле — Дюма-сын.

«Я подпишу контракт только в том случае, если Вы мне категорически прикажете, да к тому же Вам придется поддерживать мою руку. Видите ли, в конце концов я уйду в монастырь, это твердо — у меня навязчивая идея. Что мне здесь делать? К чему мне вся эта суета, ухищрения, бесполезные занятия, все это ремесло паяца?»

После провала «Жены Клавдия», сильно нуждаясь в деньгах, Декле дала тридцать представлений в Лондоне. Она вернулась оттуда без сил. «Я тону у самого берега», — сказала она. Ей прописали ванну в воде — в Сали-де-Беарн. Насмешка над умирающей! Последние дни жизни она провела в своей квартире на бульваре Мажанта, на четвертом этаже. Она ничего не могла есть. Лицо ее выражало теперь лишь самое жестокое страдание. «Покой! — молила она. — Убейте меня!» Пеан считал операцию бесполезной. Декле была обречена. Священник, который исповедовал ее, сказал: «Это прекрасная душа».

Она умерла 8 марта 1874 года. Со дня похорон Рашели Париж не видел ни такого стечения народа, ни такой всеобщей скорби. Тысячи людей остались за дверью церкви святого Лаврентия. На кладбище Пер-Лазез Дюма-сын произнес речь: «Она трогала наши сердца, и это свело ее в могилу — вот и вся ее история...» Он закончил душераздирающей риторической фигурой: «Диана, Фру-Фру, Лидия, Северина! Где ты? Ответа нет. Закройте глаза, взгляните на нее в последний раз очами вашей памяти — больше вы ее никогда не увидите. Вслушайтесь последний раз в далекий звук этого загадочного голоса, который обволакивал и опьянял вас, словно музыка, словно благовонное курение, — больше он никогда не зазвучит для вас».

Своей сопернице Бланш Пьерсон Декле завещала дорогой веер; Дюма она оставила другое наследство — достойный восхищения образец высокого искусства, питаемого всегда лишь подлинными чувствами.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Набережная Конти

Дюма-сына спросили, кому он наследует в Академии. Он отвечал:
«Моему отцу».

Тысяча восемьсот семьдесят третий — тысяча восемьсот семьдесят девятый годы. Францией правят нотабли. Третья республика с самого начала своего существования оказалась более солидной, нежели Вторая империя, от которой даже в годы благодеяния поглаживало авантюры. В период президентства Адольфа Тьера власть принадлежала частью родовой аристократии, частью денежной олигархии. Средние классы под водительством Гамбетты только начинают завоевывать республику. Светская жизнь не утратила блеска; известные клубы — Жокей-клуб, Ювон — по-прежнему сохра-

няют свой престиж. Герои Дюма-сына еще не вышли из моды.

Сам Дюма-сын становится одним из персонажей своих драм. Журналисты, которые наносят ему визиты в его особняке на авеню де Вильер, 98, поражены «внушительным видом» дома. Строгий вестибюль кажется скорее порталом храма, чем входом в квартиру. Симметрично расставлены пузатые вазоны с экзотическими растениями. На потолке — чугунный фонарь, на стене — большое полотно Бонингтона «Улица Ройяль в 1825 году». Бюст Мольера. В столовой, обитой кордовской кожей, висят часы работы Буля. Стены гостиной, обтнутые атласом в золотую и красную полоску, обрамлены деревянными панелями. В рабочей кабинет льется поток света сквозь два больших окна, открывающихся в сад. Посреди комнаты — огромное бюро в стиле Людовика XIV. «Океан бумаг зармождает бюро. В этом беспорядке есть своя порядок... Возле большого книжного шкафа вы видите восхитительную модель надгробия Анри Реньо* из обожженной глины в натуральную величину. Главное украшение дома — большая галерея, очень просторная, разделенная на две гостиные: в одной стороне стоит бильярд, другую облюбовала для бесед госпожа Дюма. В этой галерее — бюсты Александра и Надин Дюма работы Карпо; в настоящее время они находятся в Малом дворе».

В доме более четырехсот картин, хороших и плохих: Диаса, Коро, Добиньи, Теодора Руссо, Воллона. Портрет молодого Виктора Гюго кисти Девериа; кошечки Эжена Ламбера, розы Мадлен Лемэр, «Спящая девушка» Лефевра, «Чудесная» Лемана. Картина Мейссоне «В мастерской художника» изображает бесстыдную Луизу Прудье, которая нагая позирует своему мужу. Воспоминания «юных лет, так быстро минувших». Статуэтки Гудона рядом с набросками Прудона. На бюро — бронзовая рука, рука Дюма-отца. На всех столиках и полках — руки, гипсовые, мраморные; руки убийц, актрис, герцогин. Странная коллекция!

Дюма рано встает и рано ложится. Утром он сам разжигает огонь и греет себе суп — на первый завтрак он кофе и чаю предпочитает суп. Потом он садится за стол, на котором уже лежат приготовленные голубая глянцевиная бумага и пучок гусиных перьев, и работает до полудня. За вторым завтраком он встречается с женой и двумя дочерьми: Колетта в 1875 году была четырнадцать лет, Жаннине — восемь¹.

Он с гордостью цитирует их остроты, достойные того, чтобы звучать со сцены. Одна дама спросила у его старшей дочери, за кого она хотела бы выйти замуж.

— Я? — переспросила Колетта. — За дурака. Я пожелала бы об этом, только встретив еще более глупого, — пожелала бы, что не выбрала этого, второго.

— Успокойся! — воскликнула Жаннина. — Уж глупее того, кто на тебе женится, не найдешь!

Как-то после одной из семейных ссор Дюма-сын спросил у Колетты:

— Если твой отец и твоя мать в один прекрасный день разойдутся, с кем из нас ты останешься?

— С тем, кто не уедет отсюда.

— Почему?

— Потому что не хочу трогаться с места.

За столом он пьет простую воду, но велит подавать ее в бутылке из-под минеральной воды — «чтобы обмануть своей жевалочкой».

После обеда он никогда не работает. Он присутствует на аукционах, заходит к торговцам картинами или вешает на стены приобретенные полотна. Когда его спрашивают, какой подарок доставил бы ему удовольствие, он отвеча-

¹ Ольга Нарышкина 28 августа 1872 года вышла замуж за Шарля-Камилла-Никола маркиза де Тьерри де Фаллетан.

ет: «Набор столярных инструментов». Да и на что ему подарки? Он богат, очень богат. Его гонорары весьма солидны, а гонорары его отца, с тех пор как старого сатира не стало и проматывать их некому, копятся у Мишеля Леви, и текущий счет Дюма-отца снова стал вполне кредитным.

Хотя Дюма-сын вызывает изрядное презрение к господствующему режиму, новые законы его интересуют. У него все те же навязчивые идеи: защита порядочных девушек от негодяев, вместе с тем установление отцовства и наследственных прав для внебрачных детей; защита порядочных мужчин от негодяек, вместе с тем борьба с prostituéeй замужних женщин и кампания за разрешение развода. Политические или экономические реформы его не занимают. В этих вопросах он плохо разбирается. Любовь, взаимоотношения мужчины и женщины, родителя и ребенка — вот его неизменные темы. Как бы мог он правдиво изображать рабочих, крестьян или мелких буржуа? Он живет в самом модном из богатых кварталов (равнина Монсо), среди мягкой мебели, статуй, растений. Таков его мир и его обстановка; таковы его границы.

Он вполне овладел своим ремеслом. «Господин Альфонс», поставленный в 1873 году в театре Жимназ, где Бланш Пьерсон, разумеется, получила роль, предначинанную несчастной Эме Декле, — крепко шитая пьеса. Она принесла Дюма особую честь; он обогатил французский язык новым словом. Слово «альфонс» будет впредь обозначать сперва продажного мужчину, потом — сутенера. Каков сюжет пьесы? Молодой развратник Октав сделал ребенка девушке по имени Раймонда. Он отказался вернуться в деревню и навещает его под именем господина Альфонса.

Раймонде удалось выйти замуж за морского офицера, значительно старше ее, капитана второго ранга де Монтельена; он ничего не знает о ее прошлом. Октав испытывает такую острую нужду в деньгах, что готов жениться на бывшей служанке кабачка Викторини Гишар, которая разбогатела, выйдя из *extremis* замуж за кабачкича. Он всячески старается скрыть от своей будущей жены, что у него есть внебрачная дочь. Но он веряет ребенка попечению Монтельена, который, разумеется, не подозревает, что маленькая Адриенна — дочь и его супруги тоже. Нетрудно догадаться, что Викторини Гишар и Марк де Монтельен узнают всю правду, что они прощают Раймонду, что ребенок остается с матерью, а Октав, или господин Альфонс, с презрением изгоняется всеми. Развязка была благополучная, и публика осталась довольна.

Предисловие — весьма существенное — содержит новую речь в защиту совершенной девушки и обличает соавритателя, а в особенности — законодателя, который снимает ответственность с отца и заявляет ему: «Ты хочешь остаться в тени? Очень хорошо, ты останешься в тени, ты сможешь произвести на свет других детей (законных), и никто не посмеет что-либо сказать тебе по этому поводу».

Однако человек, который уклоняется от своих отцовских обязанностей, — это дезертир куда более опасный, чем тот, который уклоняется от служения родине. Где средство против этого? Равноправие женщины и мужчины в сфере гражданской и даже политической. «Почему бы нет? Она живое существо, мыслящее, трудящееся, страдающее, любящее, наделенное душой, которой мы так гордимся, платящее налоги, как вы и я...»

Разве такое равноправие не вошло уже в обычай в Америке? Разве оно не прокладывает себе дорогу в Англии?

Противники Дюма обвиняли его в противоречии, ибо он хотел, чтобы женщина имела равные права с мужчиной в по-

литической сфере и подчинялась мужчине в семье. Он отвечал, что подчинение супруги супругу-покровителю должно быть добровольным и что он, Дюма, выступает в защиту огромного числа женщин, лишенных семьи. Женщине он говорил: «Мужчина создал две морали: одну — для себя, другую — для тебя; такую, что разрешает ему любить многих женщин, и такую, что разрешает тебе любить одного-единственного мужчину в обмен на твою навязчиво отнятую свободу. Почему?» Потом, поддавшись своей склонности к апокалипсическим пророчествам, он предсказывал конфликты между Востоком и Западом, битвы миллионов людей, в сравнении с которыми война 1870-1871 годов покажется деревенской потасовкой; он предвидел сражения под водой, битвы в воздухе, «молнии, которые испепелят целые города, мины, от которых взлетят на воздух целые материи». Сколько родится внебрачных детей в этом неслыханном столпотворении народов? Так не следует ли правительствам составить единую огромную семью со всеми теми, кто лишен семьи?

Этим страницам нельзя отказать ни в красноречии, ни в мудрости. Одним из первых воздал им должное на редкость преданный Дюма читатель, его преподобие господин Дюпанлу, орлеанский епископ и депутат Национального собрания. Епископ был незаконнорожденным, и это обстоятельство делает понятной снисходительность прелата к безбожнику. Господин Дюпанлу был внебрачным сыном бедной девушки из Шанбери, покинутой ее соблазнителем. Эта героическая мать не только вырастила сына сама, но и дала ему отличное воспитание. Поступил в возрасте двадцати лет в Сен-Сюльпис, он стал священником, ректором семинарии, наставником сыновей Луи Филиппа, членом Французской академии. В Национальном собрании и левые и правые одинаково уважали его за его достойное поведение во время войны. У него были грубые, словно топором тесанные черты лица, и в своей лиловой сутане он весьма внушительно выглядел на ораторской трибуне. Человек независимого ума, он сочувственно следил за борьбой Дюма-сына. Он беседовал с Дюма о том, чтобы ввести в Гражданский кодекс закон об установлении отцовства. Гонкур записал слова орлеанского епископа, сказанные им в беседе с Дюма:

«— Как вы находите *«Госпожу Бовари»*? — спросил г-н Дюпанлу.

— Прекрасная книга.

— *Шедевр, сударь!*. Да, шедевр, это особенно очевидно тем, что исповедовал в провинции».

Г-н Дюпанлу всячески убеждал Дюма выставить свою кандидатуру во Французскую академию, где это предложение было принято чрезвычайно благосклонно. Имя кандидата было вдвойне прославлено, его человеческое достоинство — безупречно. Женщинам, которых он так часто бичевал, стояли за него горой. «Этот Александр Дюма поистине счастливец, — пишет Гонкур с некоторой горечью, — а всеобщая симпатия к нему безмерна...» Даже Гюго приехал в Академию, впервые по возвращении на родину, чтобы голосовать за сына своего старого товарища. Впрочем, эти двое не любили друг друга. Дюма-сын утверждал, что Виктор Гюго очень плохо вел себя по отношению к Дюма-отцу и что «Мария Тюдор» — плагиат «Христины». Гюго, считавший отца вульгарным, но гениальным, признавал за сыном только талант. Состоялось голосование. Дюма-сын был избран большинством в двадцать два голоса, в числе их был и голос Гюго. Вечером новоиспеченный академик приехал благодарить, но, не застав Гюго, написал на своей визитной карточке: «Дорогой учитель! Свой первый визит в качестве академика я хотел нанести Вам. Кесарю — кесарево... Целую Вас...» То был холодный поцелуй примирения.

¹ В последний момент (латин.). (Примеч. пер.).

Дюма-сын был причислен к лику «бессмертных» 11 февраля 1875 года графом д'Оссонвилем. Эдмон де Гонкур, никогда не присутствовавший при приеме в Академию, хотел «увидеть собственными глазами и услышать собственными ушами всю эту китайскую церемонию». День выдался очень холодный, но Дюма «сделал аншлаги», и притягивание в актипах разодетые дамы теснили мужчин с орденскими лентами. Принцесса Матильда, которая привезла Гонкура, занимала небольшую ложу, откуда был виден весь зал.

«Зал совсем невелик, а парижский свет так жаждет этого зрелища, что не увидишь ни пяди потерятой обивки кресел партера, ни дюйма деревянных скамей амфитеатра — до того жмутся и теснятся на них сановные, чиновные, ученые, денежные и доблестные зады. А сквозь дверную щель нашей ложи я вижу в коридоре элегантною женщину, которая сидит на ступенчатых лестницах, — здесь она прослушает обе речи...»

Люди, близкие к Академии — несколько мужчин и жены академиков, помещаются на круглой площадке, напоминающей арену маленького цирка и отделенной от остального зала балюстрадой. Справа и слева на двух больших трибунах рядами чинно восседают, словно выставленные напоказ, облаченные в черное действительные члены Академии. Солнце, решившее выглянуть, освещает лица, воздетые горь с той умильной гримасой, какая в церковных скульптурах обычно выражает небесное блаженство. Чувствуется, что мужчин обуревают восхищение, которое им не терпится выгласить наружу, а в улыбку женщин есть что-то скользкое. Раздается голос Александра Дюма. Тотчас же наступает набожная сосредоточенность, потому слышатся одобрительные смехи, ласковые аплодисменты, блаженные возгласы «ах!»...

Начиная свою речь, Дюма сказал, что если двери Академии сразу так широко распахнулись перед ним, едва он в них поступал, то объясняется это отнюдь не его заслугами, а фамилией, «которой вы давно уже собирились воздать почести и искали лишь повода для этого и которую вы можете теперь почитать только в моем лице... Позволяя мне сегодня возложить своими руками венец славы на этого дорогого усопшего, вы оказываете мне самую большую честь, о какой я только мог мечтать, и единственную честь, на которую я действительно имею право».

Воздав, таким образом, должное своему отцу, он перешел к своему предшественнику Пьеру Леброну, поэту стиля Империи, напыщенному и жеманному, который в двенадцатилетнем возрасте, в 1797 году, написал трагедию о Кориолане; умер он в 1873 году, в возрасте восьмидесяти восьми лет. Наполеон когда-то оказывал ему покровительство. «Этот Ахилл мечтал иметь при жизни своего Гомера. Ему было суждено обрести его только после смерти». Комплимент Виктору Гюго. Великой литературной битвой Леброна была его драма «Сид Андалузский», однако победа так и не досталась ему. Несмотря на участие Тальма и мадемуазель Марс, пьеса была сыграна всего четыре раза. Это послужило для Дюма поводом заговорить о другом «Сиде» — корнелевском, отзывом о котором Ришелье требовал у Академии.

«Замешательство было велико. Вы были всем обязаны основателю Академии и опасались не угодить ему; вам было известно, что он жаждет отрицательного отзыва, но вы в то же время не хотели своим пристрастным суждением преградить дорогу тому, чей первый опыт был произведением мастера...»

Дюма спрашивал себя, за что Ришелье преследовал Корнелья. Из зависти к собрату по перу? Следует ли подобным толкованием принижать двух великих людей? «Я убежден, что великий кардинал призвал к себе великого Корнелья и сказал ему: «Как! В то самое время, когда я пытаюсь изгнать и истребить все испанское, теснящее Фран-

цию со всех сторон, ты намерен прославлять на французской сцене литературу и героизм испанцев!.. Присмотришься к твоему «Сиду»: да, с точки зрения драматической — это шедевр; с точки же зрения моральной и социальной — это уродство. Какое общество смогу я основать, если девушки будут выходить замуж за убийцу своего отца, а командующие армией пожертвуют родиной, если их любовь останется без ответа?.. Ты и в самом деле утверждаешь, что храбрость великого военачальника и судьба великой страны в большей или меньшей степени зависят от того, насколько сильно любит молодая девушка?.. Ступай, поэт, и опиши героев, достойных подражания». И тогда Корнелья замыслил «Горация», то есть антитезу «Сиду», и эту трагедию он посвятил Ришелье».

К несчастью, продолжал Дюма, верх одержала идея «Сиды», а не «Горация».

«В самом деле, все битвы, в которых сражаются герои наших произведений, ведутся ради обладания какой-нибудь Хименой; она — награда победителю. Добившись цели, он женится на своей Химене и счастлив — тогда это комедия; если ему это не удается, он приходит в отчаяние и умирает — тогда это трагедия или драма... Театр становится храмом, где славят женщину; там мы восхищаемся ею, жалуем и прощаем ее; там она берет реванш у мужчины и слышит обращенные к себе слова, что вопреки законам, которые созданы мужчинами, она царица и повелительница своего тирана... Все благодаря ей! Все ради нее!»

Да, господа, такова наша слабость... Между нами и театральной публикой существует молчаливое соглашение, но мы будем говорить о любви... Жизнь, даруемая любовью, или смерть от любви — вот наша тема, всегда неизменная, и вот почему некоторые серьезные люди считают, что мы — люди несерьезные. Но если и не все мужчины на нашей стороне, то у нас есть могучий стихийный союзник — женщина... Кто бы она ни была — девушка, любовница, супруга, мать, — ею владеет один инстинкт, одна мысль, одно стремление — любить... Вот почему она без ума от театра; вот почему, завоевав женщин, мы уверены в успехе, вот почему Корнелья был прав, написав «Сиду», а Ришелье, как государственный деятель, был прав, когда выступил против него...»

Когда Грез писал портрет Бонапарта, он придавал императору черты мадемуазель Бабюти; Дюма-сын, намереваясь говорить о Леброне, возвратился к своим излюбленным идеям. Он напомнил, что Лебрен в 1858 году, посвящая в академики Эмиля Ожье, сказал: «В театре появилась склонность реабилитировать некоторых лиц, изгнанных из общества, склонность, которую я столь же мало могу понять, как и разделить. Вошло в моду предлагать вниманию публики падших и обесчещенных женщин, которых страсть облепает и возвышает... Этих женщин возводят на пьедестал, а нашим женам и дочерям говорят: «Смотрите! Они лучше нас».

Это было недвусмысленное осуждение «Дамы с камелиями». Дюма-сын защищал творение своей юности.

«Театр, — сказал он, — не создан для молодых девушек. Ни Агнессы, ни Джульетты, ни Дедемона, ни Розина не могут служить для них нормой поведения... И все же было бы весьма прискорбно, если бы из-за родителей, которые непременно желают водить своих дочерей в театр, не существовало бы ни Агнессы, ни Розины, ни Джульетты, ни Дедемоны. Одним словом, господа — это говорит вам человек театра, — никогда не приводите к нам ваших юных дочерей... Я слишком уважаю их, чтобы позволить им слышать все, что я имею сказать; я слишком уважаю искусство, чтобы низводить его до того, что им дозволено слышать...»

Так он взял некоторый реванш у своего предшественника. В конечном счете Лебрен не очень преуспел в театре. Не оттого

ли, что он слишком считался с условной моралью? «Если бы откровенным до конца, господи, — но я говорю вам это шепотом, — то ты — революционер». Лебрен слишком мало доверял своему искусству, публике и себе самому. В этом причина его поражения и преждевременного отхода от театра. «Да, господи, мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память писателя, которого нельзя назвать гениальным. Боже упаси меня от того, чтобы не оказать ему должного уважения, а я поступил бы так, поставив его выше того, что он есть на самом деле, пусть даже только в академическом похвальном слове».

Похвальное слово? Нет. То был смертный приговор. Но он был встречен аплодисментами и толпотом зала, опяненного восторгом. После короткого перерыва, говорит Гонкур, до ложи принцессы донесся «скрипящий голос старика д'Оссонвиля».

«И тут началась... эскизация кандидата, со всевозможными приветствиями, реверансами, ироническими ужимками и злобными намеками, прикрытыми академической вежливостью. Г-н д'Оссонвиль дал понять Дюма, что по сути дела, он ничтожество, что молодость он провел среди гетер, что он не имел права говорить о Корнеле; в его насмешках презрение к творчеству Дюма смешалось с презрением великожи к боге-ме. И, начиная каждую фразу с поношения, которое он выкрикивал звучным голосом, возвед лицо к куполу, жестокий оратор затем понижал голос и переходил на невнятное бормотание, чтобы произнести под конец фразы пошлый комплимент, которого никто не мог услышать. Да, мне казалось, что я сижу в балагане и смотрю, как Полишинель приседает в насмешливым реверансе, стукнув свою жертву ладью по голове...»

Должно быть, это впечатление было вызвано тоном речи, так как текст ее не кажется суровым. Граф д'Оссонвиль прежде всего опроверг утверждение, что избрание Дюма в Академию — это дань его отцу. «Мы не чувствуем за собой никакой вины по отношению к автору «Антони»... Не мы забыли его... Ваш знаменитый отец, без сомнения, получил бы наши голоса, если бы попросил их у нас...» Что касается господина Лебрена, то его критика наверняка не была направлена против «Дамы с камелиями», ибо в 1856 году на заседании имперской комиссии он предложил присудить премию Дюма-сыну «как самому нравственному драматическому поэту своего времени». Лично он, д'Оссонвиль, не боится в театре ни смелых выпадов, ни революционеров.

«Как это несправедливо — обвинять ваши пьесы в недостатке морали! Я скорее сказал бы, что мораль в них бьет ключом!.. Что бы там ни было, вы, сударь, вправе сказать себе, что вы сделали все возможное, дабы внушить женщинам сознание их долга и показать последствия их ошибок... Вы действовали убеждением и нежностью, но также огнем и железом... Помните, однако, их смущение. В последнем акте «Антони» любовник, чтобы спасти честь Адели, закалывает ее, восклицая: «Она сопротивлялась мне — я ее убил!» Вы говорите мужу недостойной супруги: «Убей ее немедленно». Но как же так? Если все женщины должны погибнуть — одни за то, что они сопротивлялись, другие — за то, что они этого не сделали, — то их положение становится поистине трудным...»

Анри Бек, не питавший особой склонности к Дюма-сыну, сказал об этом заседании, что это был прием Клавароша герцога де Ришелье. «Ибо у Дюма есть нечто от Клавароша — нечто от победителя и воина, любезного, блистательного, грубого и хвастливого». Выходя, марселец Мери заметил: «Разве это не забавно? Два человека обмениваются пулями — и вот один из них мертв. Они обмениваются речами — и вот один из них бесмертен». Марэ сказал: «д'Оссонвиль считает себя умным, потому что ему удалось жениться на мадемуазель де Брولى на условиях общности имущества». Парижские остроты.

Долгие годы Дюма хранил верность театру Жимназ. Следом за Французской академией его пожелал заполнить и Французский театр. Он в одно и то же время хотел и боялся этого. Боялся — ибо широкая, покрытая ковром лестница, швейцары с цепью на шее, по-монашески строгие билетерши, фойе, уставленное мраморными бюстами, придавали театру вид храма. Это был первый театр мира, дом Мольера, Корнеля, Расина, Бомарше. Дюма считал более благодарным дебютировать там посмертно. Хотел, ибо дом был достославный. Классика служила для актеров этого театра постоянной школой мастерства, поддерживая их вкус и талант на очень высоком уровне. В другом месте отдельный одаренный актер — какой-нибудь Фредерик Леметр, кака-нибудь Мари Довалье, Роза Шери или Эме Декле — мог достичь совершенства; но только в Комеди Франсез была труппа, был выдающийся ансамбль, способный на несколько вечеров придать современной пьесе очарование классики.

Подобно тому как барон Тейлор (которому теперь было восемьдесят пять лет) открыл некогда двери этого храма перед Дюма-отцом, так другой генеральный комиссар, Эмиль Перрэн, ввел во Французский театр Дюма-сына. Перрэн был высокий худощавый человек, неизменно одетый в черный пиджак. В театре его можно было застать с часу дня до шести вечера и с девяти до полуночи. Он принимал людей с ледяной вежливостью. Из-за его необычайного космопатия никогда нельзя было понять, куда он смотрит. Дебютант, поймав на себе косой взгляд Перрэна, начинал нервно тереть галстук. «Что это вы делаете? — спрашивал Перрэн. — Ведь у вас не в порядке ботинки». Его суровость порой оскорбляла, но он снял театр с мели — он ввел абонементы на определенные дни, которые чаще охотно раскупали, и возродил трагедию, пригласив Мунэ-Сюлли". В его программу входило привлечь в Комеди Франсез современных авторов. Сначала он предложил Дюма снова поставить «Полусвет», потом, после блестящего успеха этой старой пьесы, потребовал у Дюма новую. Дюма дал ему «Иностранку» — еще одно воплощение апокалипсического Зверя.

Героиня — американка, миссис Кларксон. Будучи возлюбленной вконец разорившегося герцога де Сетмона, она ищет ему богатую невесту и встречает негодяица Морисо, миллионера, который предлагает герцогу свою дочь Катрину и значительное приданое. В первом акте Катрина дает благотворительный бал; у миссис Кларксон хватает наглости туда явиться, а у герцога хватает дерзости представить свою возлюбленную жене. С точки зрения Дюма, миссис Кларксон и герцог де Сетмон «способствовали гибели общества». Герцог — существо бесполое, вредоносное — должен быть убит, это мера общественной безопасности. Муж миссис Кларксон, американец, стреляющий из пистолета так, как это умеют делать на Дальнем Западе, и совершает казнь. Таким образом Катрина получает возможность выйти замуж за инженера Жерара, сына своей учительницы, которого любит с юных лет. Все к лучшему благодаря лучшему из преступлений.

Пьеса такая же странная, как сама иностранка. Негодяица Морисо, который принес свою дочь в жертву snobизму, и Катрина, согласившаяся на эту сделку, — чем они лучше герцога де Сетмона? А этот последний — заслуживает ли он смерти? «Он мог бы ее избежать», — отвечал Дюма критикам, — в обществе, допускающем развод». Нерасторжимый брак обрекал недостойного мужа на гибель.

«Пусть палаты наконец дадут нам закон о разводе, и одним из непосредственных результатов этого акта будет не-

ожиданное и полное преобразование нашего театра. Со сцены сойдут мольтеровские обманутые мужья и несчастные жены из современных драм, ибо в условиях нерасторжимого брака было возможно лишь тайное мщение или публичные сетования жены-прелюбодейки... Если Станареля действительно обманула жена, он с нею разведется; Антони больше не понадобится убивать Адель, — полковник Эрве, узнав, что она изменила ему и ждет ребенка, вернет себе свободу и лишит ее своего имени Клавдию уже не придется стрелять в Цезарину, словно в какую-нибудь волчуху, и нам не понадобится привозить из Америки мистера Кларксона, чтобы избавить бедняжку Катрину от ее гнусного супруга. Наконец эстетика театра переживает полное обновление, и это будет не самое малое из благ, проистекающих из нового здания...

Пресса негодовала Сарса задыхался от злости. Даже «Ревю де Дё Монд» выпустило залп. Однако все эти неистовые нападки разожгли любопытство публики. Она толпой повалила в театр, где превосходно играли эту пьесу с блестящим диалогом. Комеди Франсез предоставила новому автору свои лучшие силы: герцогиню де Сетом играла Софи Круазет, женщина редкостной гордой красоты, с рыжей шевелюрой, удлинёнными косыми глазами, грубым, отрывистым голосом. «У нее, — говорил Сарса, — такая постановка головы, такие модуляции голоса, что она способна окондавать крокодила». Ее девиз гласил: «До победного конца!» Она окончила Консерваторию, где ее преподаватель Брессан ради нее вскоре забросил всех остальных учеников ее класса. Получив ангажемент в Комеди Франсез, она привлекла множество зрителей на спектакль «Сфинкс» по пьесе Октава Фейде, где с чудовищным натурализмом играла сцену агонии. Для этого она заставила себя наблюдать, как умирает собака, отравленная стрихнином. Казалось, что Софи Круазет самим провидением предугадала играть миссис Кларксон, но Перрэн поручил эту роль Саре Бенард и уговорил Дюма дать Круазет роль Катрины. За то долгое время, что шли репетиции, автор и актриса стали добрыми друзьями.

Софи Круазет — Дюма-сыну:

«Я считаю, что наше положение становится крайне тягостным; у меня совершенно такое же чувство, как если бы я находилась в зале ожидания и смотрела в окно на готовый к отправлению поезд. Мне хочется сесть в него, — ведь я для того и пришла на вокзал, и я не люблю ждать, но в то же время сердце у меня сжимается оттого, что я вот-вот уеду и впереди неведомое. И это неведомое для меня — герцогиня... Скажите, что будет, если я сойду с рельсов? Ах, Боже мой, Боже мой!.. Что касается Вас, то я хорошо Вас понимаю. Все это Вам безразлично. Пусть Ваши несчастные паяцы волнуются — Вы только смеетесь, упиавшая своей силой. Знайте же! Я думаю о Вас гораздо больше, чем Вы — о бедной Круазет...»

Актрисы считали Дюма очень сильным человеком, так как он держался от них на почтительном расстоянии.

В 1879 году Поль Бурже, молодой двадцатисемилетний критик, рано завоевавший авторитет, который все возрастал, нанес визит Дюма-сыну, собираясь писать о нем очерк. Он увидел человека «могучей и великолепной зрелости», с плечами атлета и взглядом хирурга, с повадкой военного. Голубые навывкате глаза словно заглядывали в душу собеседника. Полю Бурже, одержимому психологизмом, он сказал: «Вы производите на меня впечатление человека, у которого я спрашиваю, сколько времени, а он вынимает часы и разбирает их у меня на глазах, чтобы показать, как работает пружина». И он разразился звонким смехом. Знаменитый драматург и молодой романист стали друзьями. Супруги Бурже были приглашены в Марли.

Дюма-сын — Полю Бурже:

«Дорогой друг! Получив Ваше вчерашнее письмо, я послал Вам телеграмму, где указал время отправления поезда 10 часов 5 минут. Но я не подумал, что для г-жи Бурже это слишком рано и лучше ехать поездом в 11 часов 15 минут. Только желание скорее увидеть Вас побудило меня совершить эту психологическую ошибку. Когда молодая женщина, живущая на улице Мосье и желающая позавтракать на лоне природы, имеет возможность выбрать один из двух поездов, которые отправляются с Западного вокзала с интервалом в час, ее не заставляют ехать первым. Еще раз простите меня за это. Итак, если Вы можете приехать, я буду встречать поезд, отправляющийся из Парижа в 11 часов 15 минут.

Ваше письмо тронуло меня до глубины души. Я Вас очень, очень люблю за Ваш талант, за Ваш характер, — все, что я говорил Вам в прошлый раз, служит тому доказательством. Я опасался — и не зря, ибо это едва не случилось, — что могут задеть Ваше писательское и человеческое достоинство. Что касается нас с Вами, то мы никогда не поссоримся. Когда такие люди, как мы, любят друг друга, они не ссорятся. Нежно любящий Вас...»

Он охотно затракал также с молодым Мопассаном, сожалея, что не ему довелось воспитать этот талант. «Ах, если бы ко мне в руки попало такое дарование, я сделал бы из него моралиста!» Флобер пытался сделать из него художника. «Флобер? — говорил Дюма. — Великан, который валит целый лес, чтобы вырезать одну штакетку. Штакетка превосходна, но обошла нас поистине дорого». Флобер в свою очередь ворчал:

«Господин Дюма метит в депутаты... Александр Дюма украшает газеты своими философскими сентенциями... В театре — то же самое. Его интересует не сама пьеса, а идея, которую он собирается проповедовать. Наш друг Дюма мечтает о славе Ламартина или, скорее, о славе Равиньяна*. Не позволяйте задирать юбки — вот что стало у него навязчивой идеей...»

Очевидно, что морализующий пафос Дюма не мог раздражать Флобера. «Какова его цель? Исправить род людской, написать прекрасные пьесы или стать депутатом?» Флобер с отвращением говорил о «пазах великого человека, о нотациях публике, от которых несет Дюма». Бурже был более проникновен. За менторским тоном он угадывал сомнения и глубокую усталость. Несмотря на успех своих пьес, Дюма не был счастлив. Этот верный друг видел, как уходит дружба — один за другим. Несчастный Мастодон — Маршалль, потеряв поддержку Жорж Санд и чувствуя приближение слепоты, в 1877 году покинул с собой. Моралист, осуждавший адюльтер, имел возлюбленную, красавицу Оттилию Флао. В ее замок Сальнёв, возле Шатийон-сюр-Луэн, в департаменте Луэрэ, он частенько наезжал, чтобы поработать. «Я полагаю, — писал он капитану Ривьеру, — что если в жизни есть какая-то видимость счастья, то это любовь. Только кто любит?.. У всех женщин теперь одинаковый почерк, одинаковый цвет волос, одинаковые ботинки и одинаковый телеграфный стиль в любви...» Его враги говорили, что он «самый аморальный из моралистов», и называли его Дунайским Тартюффом, что было совершенно несправедливо. Жизнь терзала его, как она поступает со всеми людьми. Книгиней овладевала все более черная тоска, у нее случались приступы отчаяния и ревности, граничившие с безумием. Тем не менее каждое утро он заходил к ней в комнату, садился к ней на кровать и подолгу терпеливо с ней беседовал. Каждый вторник они давали обед для друзей, восседая за столом как хозяин и хозяйка.

Горести его падчерицы Ольги печалили Дюма, который предвидел их, но не смог предотвратить. Незаирая на предостережения отчима и матери, «Малороссия», едва достигнув

совершеннолетия, обвенчалась с неким охотником за приданным, расточительным и развратным. От этого элзасского брака родились две девочки, а отец семейства понемному проматывал наследство Нарышкина. Ольга играла в жизни ни мало ни много роль принцессы Жорж или Катрины де Сетмон и, без сомнения, обогатила эти персонажи некоторыми чертами.

Дюма выезжал в свет один. Он служил украшением салона госпожи Обернон, охотницы за львами, которая носила в волосах миниатюрный бюст Дюма наподобие диадемы. Госпожа Арман де Кайяве (за брата которой в 1880 году вышла замуж Коллетта), исподволь подбиравшая знаменитостей для своего будущего салона, видела в Дюма звезду первой величины. Он ходил также, как говорит Леон Доде, «систематически принимать яд у принцессы Матильды в обществе Тана, Гонкура и Ренана...». За столом «он отпускал колкие словески», сопровождаемые охами и ахами обедающих дам. Он разговаривал как персонажи его комедий.

Некая наглая особа спросила его по поводу пьесы, в которой он изображал светских женщин: «Где вы могли их узнать?» — «У себя дома, сударыня», — отвечал Дюма. Какой-то скудный человек, которого Дюма протравил «индийской пощотой» за то, что рассказав его не было конца, начинает очередную историю, потом останавливается и говорит: «Простите, дальше не помню...». На это Дюма со вздохом облегчения: «Ах, тем лучше!» говорят о Дюрантоне, чью пьесу «Элоиза Паранке» Дюма переделал. Кто-то спрашивает: «Кто он такой, это господин Дюрантан?» — «Видный адвокат», — отвечает Дюма, — «и драматург — в мое свободное время». Он рассказывает, что недавно встретил мадемуазель Дюверже, которую знал тридцать лет тому назад. «Да, — замечает он, — она мне напомнила мою молодость, но отнюдь не свою».

После такого фейерверка Вистлер говорил с сатанинским смехом: «Он хочет подобрать патроны, хе, хе, но нехотеры из них уже отсырели...»

Леон Доде, слегка раздраженный нападками великого человека на адюльтер, находил, что в нем есть что-то от «неудавшегося протестанта», но признавал за ним отвагу и незаискуемость: «Он не лизал пятки высокопоставленным лицам... Он твердо держался своей манеры — угрюмо принимать комплименты... В общем, несмотря на некоторые оговорки, которые можно сделать, у него было много обаяния...»

Это обаяние могущественно действовало на женщин. Он по-прежнему противился их домогательствам. С Леопольдом Лакуром, молодым преподавателем из Невера, написавшим очерк о его пьесах, он был откровенен. Дюма пригласил его к себе пообедовать. Лакур был очень взволнован встречей с этим истинным королем французской сцены.

«Я воспользовался пасхальными каникулами (1879), чтобы отправиться по его приглашению на авеню Вильер, 98, где у него был особняк средней величины и весьма простого вида — он напоминал загородный дом среднего буржуа. Единственную его роскошь составляла довольно изрядная картинная галерея на втором этаже, но в первое свое посещение я ее не видел и должен сразу же сознаться, что в тот день, когда он повел меня туда, очень гордый своей коллекцией, мне понравилась в ней едва половина картин. Наряду с картинами, пейзажами и портретами бесспорной ценности (а именно, если мне не изменяет память после стольких лет, полотнами Теодора Руссо, Дюпре, Бонна) в большинстве своем там были вещи, ценные не сами по себе, а по стоящим под ними именам, которые высоко котировались во времена Второй империи. Они были не более чем любовныты. Но сам он — с той минуты, как мы с ним остались с глазу на глаз в его рабочем кабинете, где вместо стола бы то ни было украшений над обыкновенным черным бюро висела прекрасная картина До-

биньи, — сам он восхитил меня необыкновенно. Я никогда не видел его раньше. Высокий, широкоплечий, очень стройный, он выглядел величественно; вьющиеся волосы с едва заметной проседью — ему было всего пятьдесят пять лет — обрамляли лицо властителя, лицо, о котором я уже писал и которое в такой мере способствовало его репутации гордеца. Впрочем, никакого схождения с отцом. Его незаконнорожденный брат, гигант Анри Бауэр, — вот кто позднее явил мне живой портрет автора «Монте-Кристо...». После новых изъяснений благодарности, без всякой лести, он расспрашивает меня о моей преподавательской работе, о любимых книгах, затем вдруг, к моему изумлению, задает вопрос: «Известно ли вам, почему Иисус завоевал мир?» — «Прежде всего, — осмеливаюсь я возразить, — он завоевал не весь мир, а только его часть», — «Пусть так! Но эта часть как раз и представляет наибольший интерес с точки зрения современной цивилизации. Итак, я повторяю свой вопрос». — «Да потому, что Иисус был распят за проповедь своего учения о бесконечном милосердии и всеобщей любви». — «Несомненно, но главным образом потому, что, проповедавая любовь, он умер девственником». (Дюма был одержим идеей — я не знал этого — написать пьесу под названием «Мужчина-девственник».)

«Лучшая из женщин, самая преданная, рано или поздно причинит Вам посильное зло. Г-жа Литтре, святая женщина, ждала сорок лет, а боготворил то, что на словах предавал анафеме; поэтому он был любим столкими женщинами. Удивительно зрелище являл собою этот драматург, выслушавший перед актрисами в роли проповедателя, — зрелище в общем трогательное, ибо чтобы не пасть, он вынужден был читать проповеди самому себе.

В зрелые годы Дюма очень бесстрастно возвращается к теме «Мужчина-девственник» — Дюма давно мечтал об этой пьесе. «Я вложу в нее всего себя», — сказал он Леопольду Лакуру. «Всего себя?» — подумал тот. — «Для самоочищения? Но не подвергается ли искушению сам очищающийся?»

На деле Дюма любил и боготворил то, что на словах предавал анафеме; поэтому он был любим столкими женщинами. Удивительно зрелище являл собою этот драматург, выслушавший перед актрисами в роли проповедателя, — зрелище в общем трогательное, ибо чтобы не пасть, он вынужден был читать проповеди самому себе.

В зрелые годы Дюма очень бесстрастно возвращается к теме «Мужчина, бегущий от Искусительницы». Существует любопытная коллекция его писем неизвестной Трешице. Начинается она с ответа на просьбу устроить ангажемент. «Мое дорогое дитя... Я ничего не могу сделать для Вас во Французском театре. Вот уже два года, как я добиваюсь у Перрэнна ангажемента для одной актрисы, который рассчитывал получить без всякого труда, но до сих пор так и не получил. Я больше не могу и не хочу у него ничего просить...»

Засим следует прекрасное письмо о мадемуазель Деллапорт — очаровательной и скромной инженеру, одной из ближайших приятельниц Дюма, которой без всяких к тому оснований считали его любовницей.

«М-ль Деллапорт имеет полное основание так говорить обо мне. Это женщина, которую я, несомненно, уважаю больше всех других. Я не встречал женщины более примерной, более достойной, более мужественной. Мы питали друг к другу очень большую привязанность и очень высоко уважение. Каких только отношений нам не приписывали, — но ничего подобного не было; и я рад, что люди заблуждались. Вообще мнение о том, что для действительного обладания женщиной необходимо обладать ею физически, — одно из великих человеческих заблуждений. Как раз наоборот: материальное обладание — если только оно не облагорожено и не

освящено браком, взаимными обязательствами, семьей — несет в себе причину и зародыш взаимного отталкивания. Правда, при сближении одних только душ не бывает опьянения, но нет также и пресыщения, и впечатления, возникающие при этом, такие чистые и свежие, что они, так сказать, не дают физически состариться двум людям, их испытавшим...

Этот портрет, по мысли Дюма, должен был служить образцом для Грешницы, но какая женщина согласится признать, что нет другая причина подражания? Грешница дала понять, что ей скучно, что возлюбленный, а в особенности знаменитый возлюбленный, мог бы вдохнуть в ее жизнь дыхание романтики. Ее поставили на место:

«Я долго изучал жизнь, знаю ее не хуже, а быть может, и лучше других. Результат моих наблюдений таков — самые большие шансы на счастье сулит благополучие. Вы материально независимы; пользуйтесь этим. Вы гадаете ко мне доверие, это единственное слово, которое я в моем возрасте могу употребить. Вы называете это любовью, потому что Вы женщина, Вы молоды и восторжены, а так как Вы восторжены, молоды и Вы женщина, то Вы способны понять что-либо только через любовь. Все, что есть в Вас хорошего и чему никто не нашел применения, открылось мне по первому моему слову — искреннему и доброжелательному, — и за это Вы благодарны мне настолько, что полагаете, будто никого, кроме меня, не любили. А я должен воспользоваться этим, чтобы попытаться сделать Вас в будущем более счастливой, чем Вы были в прошлом, и если мне это удастся, разве не все средства окажутся хороши?»

Доброй ночи, мадемуазель, спите спокойно...

Она упрекала его, что он впустил ей любовь к себе. Он оправдывал это тактическими соображениями:

«Прежде всего надо было привлечь к себе эту душу, внушить ей доверие, а единственным средством, которым он располагал, чтобы воздействовать на женщину в Вашем положении, была любовь. Женщины легче поддаются впечатлению, чем доводам рассудка, лучшая политика по отношению к ним — это внушить любовь к себе. Стоит им только полюбить, как они готовы все понять, ибо человек, которого они любят, в их глазах соединяет в себе все обаяние и весь ум...»

Это приключение кончилось так же, как история с несчастной Декле. Грешница, разочарованная сопротивлением своего кумира, отдалась недостойному фату, про-

должая, по ее словам, любить Дюма. Моралист произнес над этой любовью суровое надгробное слово:

«Старая пословица гласит: «Из мешка с углем не добудешь муки». По отношению к Вам это значит: нечего сразу ждать любви, добродетели, верности, искренности и платонических чувств от женщины, которая целых пятнадцать лет жила так, как Вы. В такой жизни некоторые струны души неизбежно гложут. Вы жертва Вашей семьи (если такое можно назвать семьей), Вашего происхождения, Вашего нездорового воспитания, Вашей развращенной среды; жертва неудачной первой любви, продажной любви в дальнейшем. Поскольку Вы лучше большинства окружающих Вас женщин, поскольку у Вас еще осталось немного души, Вы прилагали немалые усилия к тому, чтобы вылезть из той грязи, в которой Вы увязли. Высоко над вершиной горы виднелся клочок голубого неба... но чтобы взобраться на эту гору в одиночку, у Вас не хватало сил. Женщина ни на что не способна, пока у нее нет партнера. В лице одного из наших собратьев Вы обрели спасителя, спутника. Он, конечно, женился бы на Вас или хотя бы удержал возле себя. Но Вы ухитрились скомпрометировать себя с комедиантом, с фиглярюм, и Ваш спаситель покинул Вас; Вы пали снова... Ваше сердце, которое еще не до конца развращено, и чувство собственного достоинства, которое иногда пробуждается в Вас, в равной мере страдают от этой связи, а Ваше несчастное тело, служащее во всех этих перипетиях полем битвы, страдает в свою очередь. Вы зовете на помощь — напрасно. На дороге больше нет ни одного прохожего. Сделайте огромное усилие: спасайте себя сами, ибо если Вы опуститесь и на сей раз, безусловно, пойдете на дно, туда, где тьма...

Если у Вас не хватает мужества посвятить себя работе и ребенку — не Вашему ребенку — и если у Вас в самом деле есть мистические склонности, бросайте все и откажитесь идти в монастырь. Будьте Ла Вальер от сцены. Это место еще свободно...

Последний листок из этой переписки содержит соблазнительные слова, которые Дюма адресует Грешнице в связи с каким-то несчастьем:

«Я никогда не верил в Вашу любовь; я никогда не сомневался в Вашем сердце. Поэтому я глубоко сочувствую Вам в постигшем Вас горе...»

По сути дела, он мало изменился со времен «Дамы с камелиями». Да и меняемся ли мы вообще?

Часть десятая

ЗАНАБЕС

Бог придумал начало; он сумеет придумать и развязку, и вряд ли она окажется в духе Анисе-Буржуа.

Дюма-сын,

Письмо к Анри Ривьеру

ГЛАВА ПЕРВАЯ На покой

Д о последнего года своей жизни Дюма-отец ни разу не почувствовал себя старым — ни как писатель, ни как возлюбленный. Дюма-сын, еще не достигнув шестидесяти лет, начал поговаривать об уходе на покой. Уже в предисловии к «Иностранке» он выражал грусть и разочарование. «С годами, — писал он, — по мере того как драматург обогащается знанием человеческого сердца, его почерк теряет живость,

яркость, энергию... Нам хочется тогда все глубже проникать в характеры и анализировать чувства. Мы часто становимся тягловесными, непонятными, напыщенными, уточненными — скажем без обиняков: скучными. Когда драматург достигает определенного возраста — увь, того самого, в каком я нахожусь сейчас, лучшее, что он может сделать — это умереть, как Мольер, или отказаться от борьбы, как Шекспир и Расин. Это дает возможность хоть в чем-то уподобиться великим. Театр можно сравнить с любовью. Он требует хорошего настроения, здоровья, сил и молодости. Стремиться быть неизменно люби-

мым женщинами и обласканным толпой — значит подвергать себя самым горьким разочарованиям».

Мрачная мудрость. Уходить на покой — тягостно и далеко не всегда благотворно. Дюма перестал писать предисловия, но заменил их открытыми письмами Альфреду Нака (о разводе) или Гюставу Риве (об установлении отцовства). Вопреки своему решению он вновь обратился к драматургии, написав в 1881 году «Багдадскую принцессу». Пьеса имела посвящение: «Моей любимой дочери г-же КоLETTE Липпман! Будь всегда порядочной женщиной — это основа основ». Мысль верная; стиль плоский.

Премьера пьесы вызвала большой шум; пресса была неблагоприятной. Дюма объяснял неудачу политической неприязнью; ему-де не могут простить его «Писем о разводе». Может быть, в этом действительно заключалась одна из причин возмущения светского и буржуазного общества; но главной причиной было другое: «Багдадская принцесса» страдала той нереальностью, которую сам Дюма так осуждал в творчестве стареющих писателей. Где и когда существовал набоб, подобный Нуради? Этот Антони-миллионер казался более староданным, чем Антони, созданный полвека назад. Разве какая-нибудь женщина когда-либо произносила такие слова, как Лионетта де Юн — дочь багдадского короля и мадемуазель Дюрантон? Связь с действительной жизнью оказалась нарушенной.

Лучшие пьесы Дюма были автобиографическими. «Дама с камелиями», «Диана де Лис», «Толусвет», «Внебрачный сын», «Блудный отец» были основаны на воспоминаниях. Несомненно, что Маргарита Готье, баронесса д'Анж, как и всякий драматический персонаж, которому суждено жить на сцене, представляли собою не портреты, а упрощенные фигуры, четко определенные типы. Иногда они были плодом непосредственных наблюдений. Лионетта де Юн (так же как миссис Кларксон — «Иностранка») была уже не типом, а символом, аллегорией. Как мог Дюма, ясно сознавая всю опасность такой ошибки, все же допустить ее?

«Достигнув определенного возраста, или скорее — определенного успеха, — писал Фердинанд Брюнетьер, — многие авторы изолируют себя от окружающего мира, перестают наблюдать и смотрят уже только в самих себя. Они покончили с тем, что Гёте называл «Годами учения»; они дают волю фантазии». Автор «Багдадской принцессы» дал волю фантазии. Однако фантазия плохо развивается в пустоте; так же как кантовской голубке, для полета ей необходимо сопротивление среды. Что знал, достигнув зрелого возраста, этот король сцены? Литературный мир и высший свет. Ничтожную часть Парижа. Общество, «изысканное в пороке и утонченности». Литература, создаваемая писателями этого мира, есть не что иное, как «коллекция патологических случаев... Ничего по-настоящему здорового и по-настоящему простого».

В «Багдадской принцессе» вновь зазвучали навязчивые идеи Дюма — те же, что в свое время подказали ему не имевшему успеха «Иностранку»: преклонение, смешанное со страхом, перед разлагающей властью денег; преклонение, смешанное с ужасом, перед властью женщины. Но идеи бессильны породить живые события.

Барбэ д'Оревлии сурово осудил «Багдадскую принцессу»: «Пьеса провалилась, как будто написал ее не г-н Дюма. Вещь столь же удивительная, как если бы с потолка театрального зала свалились люстры и разбилась вздрезбег...»

¹ 2 июня 1880 года Коlette Диана вышла замуж за Мориса Липпмана, брата госпожи Арман де Кайево, урожденной Леонтины Липпман. От этого брака у нее родились два сына: Александр и Серж Липпман; 25 мая 1892 года Коlette разошлась с мужем. 2 октября 1897 года она вторично вышла замуж за русского врача Ашшу Мата.

На следующий вечер, на абонементном спектакле, провалившаяся пьеса так и не нашла костылей, чтобы подняться. Но означает ли это конец некоего царствования? По праву или не по праву, общественное мнение сделало из г-на Дюма маленького драматического Наполеона нашей эпохи, токующей по своему Наполеону. Я, конечно, не говорю, что «Багдадская принцесса» — его битва при Ватерлоо, но это его «Прощание в Фонтенбло».

После этого провала Дюма долгое время хранил молчание. За четыре года из-под его пера не вышло ни пьесы, ни романа. Жил он по-барски, зимой — на авеню Вильер, летом — в Марли, в имении «Шанфлур», которое предоставил ему в пользование старшей жене его отца Адольфу де Левен, собираясь со временем завещать его Дюма. Он прибрал картины, давал обеды или, подобно Виктору Гюго, собирал у себя «элиту своего времени», а также писал своим «официальным» почерком, унаследованным от отца, бесчисленные письма. Письма, интересные своею откровенностью и высокомерным тоном. Это был Оупитер, громыхавший со своего Олимпа.

Неизвестному писателю:

«Мой дорогой собрат! Я не мог бы объяснить себе Ваше письмо, не зная я, что бедность обидчива. Вы бедны, Вы трудолюбивы, у Вас в тысячу раз больше достоинств, чем у некоторых людей, которые преуспевают; поэтому у Вас есть все основания удивляться, обижаться, даже жаловаться, когда кто-либо из Ваших счастливых собратьев, богатый, преуспевающий, по всей видимости, избегает Вас и не делает для Вас того, что, по Вашему мнению, обязан был бы сделать, что было бы естественно от него ждать. Дело обстоит именно так, не правда ли?»

Теперь соглашайтесь войти в мое положение.

Таких писем, как Ваше, я получаю, без преувеличения, от сорока до пятидесяти в месяц. Вы не единственный в мире человек, кому приходится работать, ждать, чей талант пропадет втуне. Вы не единственный, кто обращается ко мне. Если я отправляюсь на два дня на охоту, то смею Вас заверить, — я это честно заслужил. Какой помощи хотите Вы от меня? Что бы я предложил Французскому театру или еще какому-нибудь театру поставить одну из Ваших пьес? Знаете, что мне ответят? «Вы считаете ее хорошей?» — «Да». — «Ну что же, тогда поставьте под нею свое имя. Мы немедленно ее сыграем». Однако ни Вы, ни я не хотим, чтобы я ставил под нею свое имя. Вы хотите побеседовать со мной? Я не желаю ничего лучшего. Назначьте день, час, я буду Вас ждать. Что еще? Скажите, чего Вы хотите от меня. Я готов это сделать. Я сделал бы это для Вас, если бы во всем мире были только Вы да я — и если бы мир принадлежал мне. Я с превеликим удовольствием отдал бы Вам полмира, даже три четверти его.

Но существуют другие люди, и у других людей есть свои интересы, свои пристрастия, свои заблуждения, свои привычки. Над другими я не имею никакой власти... Все, что и сам в силах сделать, я делаю, но я не люблю и не хочу получать отказ, даже прося за другого».

Написано не без изощрения — лучше, чем «Багдадская принцесса». А вот письмо журналисту монархистского толка, которого шокировала пьеса, написанная Дюма-сыном по мотивам романа «Жозеф Бальзама» Дюма-отца.

Пуи, 24 сентября 1878 года:

«Мы живем в такое время, когда никто не может сказать правду, не рискуя оскорбить убеждения какой-либо группы... Поскольку мы живем в республике, в настоящее время среди роялистов принято считать, что все монархи были ангелами — даже Людовик XV. Нашлись люди, заявившие мне, что г-жа Дюверри была очень хорошо воспитанной особой, и что, приписывая несколько скабрёзные слова этой женщине, гово-

рившей королю: «Франция, твой кофе сбежал к чертовой матери» — а г-же де Лавальер, когда последняя после восшествия на престол Людовика XVI принесла ей приказ об изгнании: «Чертовски скверное начало царствования», — нашли люди, заявившие, что я оклеветал эту бывшую публичную девку, о которой так замечательно сказал Ламартин: «Так умерла эта женщина, обесчестив одновременно и трон и эшафот».

Что я, по-вашему, должен ответить на это? С одной стороны, нарисовав Жильбера, я оклеветал народ, добрый народ, который, убив г-жу де Ламбаль¹, тут же отрубил ей голову и надругался над останками. В настоящее время считается также, что все люди из народа, поскольку все они избиратели, тоже ангелы. Всеобщий рай! Другие заявили, что, изобразив Марата и приписав ему слова, которые я, кстати, заимствовал из романа — ибо, в конце концов, пьеса написана по книге, которая принадлежит не мне, — я призывал к организации Коммуны. Все мы в настоящий момент ходим на голове, ногами вверх. Что я могу поделать? Это пройдет. Следующая революция восстановит равновесие, отрубив ноги вместо головы.

Моей стране, чтобы быть счастливой, достаточно всеобщего избирательного права, речей Гамбетты и «Корневильских колоколов». Я не встаю против этого и не претендую на то, чтобы развлекать ее моими пьесами, романами и идеями...

Когда Наэк провел в Палате закон о разводе, которого так долго ждал и добивался Дюма-сын, сенатор от Воклюза в письме, опубликованном газетой «Вольтер», призвал Дюма отдать свои симпатии республике, которой Франция обязана такой важной реформой. Но писатель упорно держался за свою независимость.

«Я никогда не давал никаких обязательств. Я не принадлежу ни к какой партии, ни к какой школе, ни к какой секте, не поддерживаю ничьих честолюбивых замыслов, ничьей ненависти, ничьей надежды... Вы, сударь, один из тех людей, которые особенно ратовали за всеобщую свободу, можете быть горды и счастливы: я обладаю этой свободой — полной, окончательной, непреступной, и каждый мог бы обладать ею, как я, без прокламаций, без шума, без мятежей и насилия. Для этого требуется ни много ни мало — труд, терпение, уважение к себе и к другим...»

Он не верил в политические этикетки и отказывался носить на себе какую-либо из них.

«Что касается правительства, которое будет управлять нашей страной, то меня мало заботит его название и его структура. Пусть оно будет, каким хочешь или каким может быть, — лишь бы оно сделало Францию великой, почитаемой, свободной, единой, спокойной и справедливой. Если республика достигнет этого результата — я буду с республикой и готов поручиться, что в этом случае на ее стороне окажутся все честные люди».

И в этом он был искренен, хотя в глубине души и сожалел о мире Второго империи, который был миром его юности.

ГЛАВА ВТОРАЯ

«Дениза»

Атлетическая фигура Дюма, его суровость, его слава, память о «Даме с камелиями», романтический брак с русской княгиней — все это продолжало притягивать к нему женщин, искавших общения с писателем. Среди них одной из самых интересных была Адель Коссэн, очень богатая коллекционерка, которая жила на Тильзитской улице, в особняке с четырьмя фасадами и с сотней окон, смотрев-

ших на Триумфальную арку, особняке, заполненном произведениями искусства. Ей суждено было вдохновить Дюма на создание новой пьесы. Он вернулся в театр.

Адель Коссэн, которую чаще называли Кассэн², дочь красильщика, родилась в Коммерси в 1831 году и в юности была чтицей у одной знатной сицилианки. Как подлинная героиня Дюма-сына, компаньонка забеременела от старшего из четырех сыновней семейств Монфорте (потомка того Монфора, которого Карл Анжуйский привез с собой в Сицилию в XIII веке). На время родов она укрывалась в родной Мэзе, и там появилась на свет девочка — Габриель.

Тогда-то и началось существование «Госпожи Кассэн» — женщины умной, честолюбивой и очень красивой. Банкир Эдуард Делессер, кое-кто из Ротшильдов и основатель Галереи Жорж Пети дали ей возможность приобрести один из прекрасных «маршалских особняков» между Елисейскими полями и площадью Звезды. Там она собрала свою знаменитую коллекцию картин, где, кроме работ итальянских и испанских мастеров, были «Каштановая аллея» Теодора Руссо и «Саломея» Анри Реню. Портрет самой Адели в атласном платье цвета слоновьей кости и портрет ее дочурки с распущенными волосами были подписаны именем Гюстава Рикара³.

Госпожа Кассэн не была баронессой д'Анж. Она вела жизнь по видимости безупречную. У нее обедали люди из высшего света, правда, они не приводили на Тильзитскую улицу своих жен. Министры республики, например Гамбетта и Рибо, художники, например Гюстав Доре и Леон Бона, были ее друзьями. Она добилась того, что некий блоннамеренный бордосец, носивший полуристоркратическое имя, узаконил ее дочь, и в 1869 году госпожа Кассэн выдала ее замуж за графа Рудьверга Монфорте — самого младшего брата ее собственного бывшего возлюбленного, который теперь стал герцогом Лаурито. Таким образом, Габриель в замужестве получила то имя, которое должна была носить по рождению. Получив богатое приданое, она поселилась во Флоренции и почти порвала со своей матерью, которая сама дала себе прозвище «матери Горио».

В 1880 году госпожа Кассэн познакомилась с Дюма, чьи пьесы она давно любила. Они беседовали о живописи; она показала Дюма свою галерею; он ей — своего Мейсонне, Маршала и Тассера. Он очень носился с этим художником, который в 1874 году покончил с собой, будучи всю свою жизнь живописцем слез — как бы Грезом во вкусе Дюма. Полотно Октава Тассера назывались: «Несчастная семья», «Старый музыкант», «Две матери». В течение второго периода своего творчества он писал обнаженных женщин («Купающаяся Сусанна», «Купающаяся Диана»). Самостоятельно повисило его престиж: Дюма-сын, который купил для него навечно участок на кладбище Монпарнас, с гордостью заявлял: «У меня сорок полотен Тассера, в их числе его автопортрет, более прекрасный, чем прекраснейшие вещи Жерико». На авеню Вильер одна большая комната — все четыре стены — была расписана Тассером. Дюма чрезвычайно этим гордился.

После визита к Дюма Адель Кассэн отравила ему картину Тассера и свое первое письмо: «Позвольте мне положить эту вещь к Вашим ногам... Она принадлежит Вам по праву. Весь Тассер должен быть у Вас». Она добавляла, что не решилась принести картину сама: «Мой нотариус донес бы на Вас моим наследникам, а герцога де Монфор любю все, что принадлежит мне...»

Дюма хотел в свою очередь преподнести дарительнице какую-нибудь картину, она воспротивилась: «Прошу Вас, не

¹ Эти две картины были переданы в Малый дворец маркизом Манделамо Каркано. «Каштановая аллея» Руссо находится в Лувре; «Саломея» Реню — в нью-йоркском музее «Метрополитен».

посылайте мне никаких картин. Прошу Вас, оставайтесь для меня тем же, кем Вы были до сих пор, — человеком, который ничем не обязан мне, а которому, напротив, я обязана пережитыми волнениями. Как это плохо, что Вам ничего не надо от меня! Чем я заслужила такую суровость? Уделите мне хотя бы одну стотысячную долю Вашей дружбы — и это будет для меня щедрым даром...» Несколько дней спустя она писала: «Вы, сударь, самый справедливый и уравновешенный человек из всех, кого я знаю... А главное — Вы человек, которого я уже сильно люблю».

Потом она разоткровенничалась:

«Это будет благословение Божье, если Вы уделите мне частичку Вашей дружбы, мне — женщине, которая всегда внушала мужчинам лишь то, что Вы называете любовью!.. Мне кажется, только я одна никогда не знала того, что испытывают другие женщины, — как следом за любовью приходит дружба. Я всегда вижу, как самые превеличественные и фальшивые чувства сменяются ненавистью. Трудно представить себе, какую необычайную привязанность может внушить богатая женщина! Прошли годы. Я успела стать бабушкой, а вокруг меня по-прежнему разыгрываются все эти комедии, делающие мою жизнь до крайности печальной и пустой, ибо в основе ее нет искренности. Мне бы ничего не стоило считать себя счастливой, если бы я послушала тех, кто уверяет меня, будто деньги дают все! Господь Бог, создавая меня, сказал: «Ты будешь богата, все твои начинания ждет успех, тебе будет нечего желать, но сверх этого ты не получишь ничего...» Вот Вам, сударь, совершенно интимное письмо. Г-жа Кассэн просит у Вас прощения за него — она вроде тех замерзших растений, что жаждут капельки тепла...»

Ей не повезло — она встретилась с человеком, который обладал достаточной мерой тепла, но кичился тем, что не передает его другим. Напрасно рассказывала она ему о своих страданиях — страданиях «матери Горю» — и описывала жестокость Габриели. Дюма вверял в нее свои «стальные зрочки», которые, как она говорила, «насквозь пронзали душу». Позднее он сказал ей, что ответственность за воспитание дочери несет она одна. «Вы больно хлещете, когда беретесь за это дело!..» — отвечала она, но, как все другие, униженно покорялась.

Адель Кассэн — Дюма-сыну:

«Через несколько дней я уезжаю в Биарриц. Вы будете очень любезны, если напишете мне, как Ваше здоровье, а также скажете, что за все это время Вы не забыли меня. Вы знаете, что нужны мне. Вы — могучее дерево, на которое я теперь опираюсь. Не оставляйте меня, это было бы поистине слишком печально. В великом одиночестве моей жизни в настоящее время Вы — все. Я знаю, что в наших отношениях нет ничего от плоти, но я все-таки женщина и нуждаюсь в Вашей защите — чисто моральной...»

Она описывала ему своих многочисленных поклонников. В пятьдесят лет она была еще достаточно богата и красива, что бы привлекало их. Лорд Паулетт, шестой earl¹ Паулетт, увез ее в Хинтон-Сент-Джордж, графство Сомерсетшир, где у него был замок и поместье площадью в 22 129 акров, приносящее ежегодный доход в 21 998 фунтов стерлингов. Этот благородный лорд представил Адель своей матери и всему gentry² графства и умолял очаровательную французку выйти за не-

го замуж (он дважды овдовел, обе его графини умерли молодыми). Госпожа Кассэн рассказала Дюма об этой поезде. Хотя она и благодарила его за то, что он не ухаживает за ней, она выказывала бешеную ревность к госпоже Флао³. Он резко высказывал ей за чрезмерную чувствительность, она возмущалась цинизмом, который он выставлял напоказ.

20 сентября 1881 года:

«Неужели Вы можете говорить подобные гнусности: «Любвных огорчений не бывает»? Вот опять что-то новое, и Вам придется взять на себя труд объяснить мне это. Я Вам поверила с грехом пополам, когда Вы написали мне, что не бывает моральных страданий. Это может показаться истиной, потому что Вы прибавили к этому: «Бывают только органы, неспособные переносить боль» и т. д. Но зависть, что не бывает любовных огорчений! «Какое варваричество!» — сказал бы герцог Оссун⁴. И это говорите Вы! И Вы смеете говорить это мне! Либо Вы смеялись, когда писали мне это, либо Вы были до сего времени счастливейшим из счастливых! Как? Вы никогда не знали сердечных мук?»

По правде говоря, он знал их, но гордость заставляла его их подавлять; он хорохорился, чтобы не впасть в отчаяние. Они долгое время оставались друзьями. Адели были известны нелады в семействе Дюма, капризы «Княгини», которую она, так же как когда-то Жорж Санд, называла «Особой», постоянные угрозы свихнувшейся Надин кончить с собой. Быть может, Адель уже несколько лет лелеяла мечту занять место «Особой» в жизни Дюма. Но он разревал все ее иллюзии. Тогда она стала подумывать о браке с герцогом де Монфором, которого настоятельно требовала ее дочь Габриель.

Коммерси, 6 мая 1886 года:

«Я ищу путь, который вывел бы меня из этого печально го положения. Я вижу только одно средство: перестроить свою жизнь на совершенно новый лад, выйдя замуж за герцога, если он еще желает этого, — ведь я уже много лет вожу его за нос. Быть может, тогда я брошу покой, потребный моему несчастью, измененному сердцу...»

Дюма резко порицал ее: «Бронзовые двери высшего общества, — сказал он (как выразился бы Оливье де Жален), — окажутся закрыты перед Вами!» Она незамедлительно ответила.

Отель Кайзергоф, Киссинген:

«Сдаעת мне, что Вы поставили себе целью унижать меня в моих собственных глазах. Ах, как Вы жестоки!.. Разумеется мне не чужд дух смирения (он был у меня всегда), однако Вы заходите слишком далеко.

Я буду герцогиней, говорите Вы, только для моих поставщиков и слуг. Подобную вещь могла бы сказать себе я, но зачем Вы говорите мне это с такой жестокостью! Для моего внука⁵ я наверняка буду герцогиней де Монфор, а это все, на что я могу трезво рассчитывать в этом мире. Если бы дядей моих дорогих девочек был какой-нибудь Жак или Жан, я испытывала бы те же чувства: он в такой же мере был бы корнем дерева, под сенью которого я должна укрыться. Но он ведет свой род от Плантагенетов. Вы считаете, что я поступлю «глупо», выйдя за него замуж? Надеюсь, что мои внуки будут другого мнения. К своей незамужней бабушке они не придут никогда, а к супруге своего дяди герцога побегут вегом!

Возможно, что мое теперешнее положение внушает мне иллюзии; очень возможно также, что Вы из дружбы ко мне сгущаете мрачность того будущего, которое я себе уготовила. Но если я и заблуждаюсь, то во имя простительной цели, и если на меня обрушатся все те несчастья, которые Вы предсказаете, то никто не будет от них страдать, а что бы утешиться, мне до-

¹ Граф (англ.). (Примеч. пер.)

² Дворянство (англ.). (Примеч. пер.)

³ Отпущила Гелди вышла замуж за художника Леона Флао. У госпожи Флао, женщины бесспорной скульптурной красоты, был длинный нос. Ее прозвали «дочерью Венеры и Павлинцеля».

⁴ Педро де Алькантара — тринадцатый в роде герцогов д'Оссун, испанский гранд, был своим человеком на Тильзитской улице.

⁵ У госпожи Кассэн были три внука (Джованни, Каралина, Маргарита). Старшей из них в 1886 году было шестнадцать лет.

статочно будет вспомнить последние, недавно пережитые мною годы и убедиться, что все еще обернулось к лучшему

Г-жа де Лавальер говорила: «Если в монастыре кармелитки я буду чувствовать себя несчастной, мне понадобится только вспомнить, сколько страданий причинили мне все эти люди...»

Как же Вы не понимаете этого и не помогаете мне своей дружбой, коль скоро Вы питаете ко мне дружбу? Что же это за дружба, если она отказывает мне в утешении?»

Авторитет Дюма взял верх. Госпожа Кассэн не вышла замуж за герцога. Тем не менее Дюма, отчасти вдохновленный воспоминаниями своей приятельницы — хотя после «Багдадской принцессы» он и поклялся порвать с театром, — написал наконец новую пьесу, «Дениза», которую отдал в Комеди Франсез. Клятвы драматурга стоят не больше, чем клятвы пьяницы. Сюжет? Вариант «Взглядов госпожи Обрз». Молодая служанка, соблазненная сыном своих хозяев, родила ребенка; ребенок этот умер. Это обстоятельство хранится в тайне, известно оно только родителям Денизы Бриссо. Через несколько лет ей случилось полюбить порядочного человека — Андре де Барданна; и он полюбил ее. Она честно и откровенно рассказывает ему о своей ошибке. Он женится на ней — развязка, которая в 1885 году казалась чудовищной дерзостью.

В Комеди Франсез «Дениза» была поставлена очень хорошо. Совсем юная актриса Юлия Бартз продемонстрировала в спектакле высокое и трогательное благородство; Вормс поделил Барданна своим красивым голосом, Коклен и Го оставались Кокленом и Го*. Бланш Пьерсон, покинувшая Жимназ, показала себя достойной своих новых товарищей.

Публика приняла спектакль куда более благосклонно, чем «Багдадскую принцессу», потому что эта пьеса была более человечна и потому что — так объяснил бы Дюма — моралист на сей раз решал конфликт в пользу женщины.

Граф Примоли, старый друг автора, писал в одном из итальянских журналов: «Дама с камелиями» — произведение молодого человека. «Дениза» — произведение зрелого человека. Пьесы эти между собой никак не связаны, но, быть может, для того, чтобы понять Денизу, надо было любить Маргариту...» А главное — для этого надо было быть сыном одной Денизы, побежденной, не сумевшей начать свою жизнь заново, и уверенным другой Денизы — победившей и все же отчаявшейся.

Успех был такой блестящий, какого, по словам Перрэнэ, Комеди Франсез не знала в течение тридцати лет. Во время последнего действия публика рыдала. Каждый раз, как давали занавес, Дюма вытаскивали на сцену и устраивали ему овацию. Президент республики Жюль Греви пригласил его в свою ложу, чтобы поздравить. После спектакля автор поехал ужинать к Бребану со своей дочерью Колеттой, зятем Морисом Липпманом и своим другом Анри Казном, который крикнул, садясь в фиакр: «Кучер, в Пантеон!»

Надин Дюма, вынужденная по нездоровью остаться в Марли, получила двадцать восемь телеграмм, в которых ей после каждой парты сообщали впечатления публики.

Министр почт Кошери приказал не закрывать телеграф. Премьера пьесы Дюма стала событием национального значения.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ *Здравствуй, папа!*

В 1880 году был организован комитет под председательством Адольфа де Левена для сооружения на площади Мальзерб памятника Дюма-отцу. Но публика выказала себя неблагодарной по отношению к писателю, который так

сильно и так долго волновал ее чувства: подписка не оправдала ожиданий. Тогда Гюстав Доре великодушно предложил свой труд в дар и создал проект монумента, до воплощения которого он, к несчастью, не дожид: Доре умер незадолго до торжественного открытия памятника, состоявшегося 3 ноября 1883 года.

Гюстава Доре вдохновил сын Дюма-отца, когда-то рассказанный им сыну: «Мне пришло в голову, что я стою на вершине скалистой горы, и каждый ее камень напоминает какую-либо из моих книг». На вершине огромной гранитной глыбы — точно такой, какую он видел во сне, сидит, улыбаясь, бронзовый Дюма. У его ног расположилась группа: студент, рабочий, молодая девушка, навеки застывшие с книгами в руках. С другой стороны, присев на цоколь, не сет караул д'Артаньяна.

Дюма-сын с глазами, полными слез, слушал речи ораторов, сидя рядом с женой и двумя дочерьми. Жюль Кларети сказал:

«Говорят, что Дюма разрежал три или четыре поколения. Он делал больше: он утешал их. Если он изображал человечество более великодушным, чем оно, быть может, есть на самом деле, не упрекайте его за это: он творил людей по своему образу и подобию...»

Эдмон Абу:

«Эта статуя, которая была бы отлита из чистого золота, если бы все читатели Дюма внесли по одному сантиметру, эта статуя, господа, изображает великого безумца, который при всей своей жизнерадостности, при всей своей необычайной веселости заключал в себе больше здравого смысла и истинной мудрости, чем все мы, вместе взятые. Это образ человека беспорядочного, который посрамил порядок, гуляки, который мог бы служить образцом для всех тружеников; искалеть приключений — в любви, в политике, в войне, — который изучил великие книги, чем три бенедиктинских монастыря. Это портрет расточителя, который, промотав миллионы на всякого рода дорогостоящие затеи, оставил, сам того не ведая, королевское наследство. Это сияющее лицо — лицо эгоиста, который всю жизнь жертвовал собой ради матери, ради детей, ради друзей, во имя родины; слабого и снисходительного отца, который отпустил поводья своего сына и тем не менее имел редкое счастье еще при жизни наблюдать, как его дело продолжает один из самых знаменитых и блестящих людей, которым когда-либо рукоплескала Франция...»

...Дюма-отец однажды сказал мне: «Ты не зря любишь Александра; это человек глубоко гуманной, сердце у него такое же большое, как голова. Не будем ему мешать: если все пойдет хорошо, из этого малого выйдет бог-сын». Сознал ли этот замечательный человек, произнося эти слова, что тем самым он присвоил себе имя бога-отца? Возможно, ведь у Дюма его собственное «я» никогда не вызвало отвращения, потому что он был всегда наивен и добр. Доброта составляет не менее трех четвертей в той удивительной, сложной и мильной смеси, которую являл собой его гений... Этот писатель, могучий, пылкий, неодолимый, как бушующий поток, никогда не дела г ничего из ненависти или из мести; он был милостив и великодушен по отношению к своим самым жестоким врагам: потому-то он оставил в этом мире одних только друзей... Такова, господа, мораль настоящей церемонии...»

Это был радостный день для Дюма-сына. После смерти Дюма-отца газеты поспешили опустить слово «сын», но он сразу же запротестовал: «Это слово — неотъемлемая часть моего имени; это как бы вторая фамилия, дополняющая первую».

Александр Второй увидел, как между его особняком и домом, где жил Александр Первый, вырос памятник его отцу, окруженному любовью, восхищением, поклонением. Все ораторы в своих речах объединяли этих двух людей. Сын на

какое-то мгновение позволил себе быть счастливым. В тот день он пожимал руки тем, с кем накануне не хотел здороваться. Вспомнили, что отец называл его «воим лучшим произведением» и что он, почти единственный среди сыновей великих художников, не только не был раздавлен своим именем, но еще приумножил его славу. Отныне каждый день, возвращаясь домой, он будет видеть это широкое, доброе лицо и говорить статуе: «Здравствуй, папа!»

Вечером в Комеди Франсез артисты возложили венок к бюсту Дюма-отца и сыграли его пьесу «Мадемуазель де Бель-Иль».

Единственной фальшивой нотой прозвучал голос Гайярде, соавтора «Нельской башни», — он возражал против того, чтобы название этой пьесы в числе других было высечено на пьедестале. Дюма ответил ему, что заранее разрешает использовать это название при сооружении памятника Гайярде.

В наши дни трудно даже представить себе, какое положение занимал Александр Дюма-сын в восьмидесятые годы в Париже. Всемогущий в театре, он царил также в Академии, где вел себя как мущкетер. Когда Пастер выставил свою кандидатуру, Дюма написал Легуве: «Я не допускаю, чтобы он пришел ко мне, — я сам приду благодарить его за то, что он пожелал быть среди нас...»

Луи Пастер — Дюма-сыну:

«Сударь, не могу выразить, как я тронут Вашей поддержкой и той поистине благосклонной и непосредственной манерой, с какой Вы по своей доброте мне ее предложили. Ваше письмо г-ну Легуве стало семейной реликвией. Его с радостным рвением переписывают для отсутствующих... Благодарю Вас, сударь, и с нетерпением жду того дня, когда, Бог даст, смогу с превеликой гордостью называть себя и подписываться «Ваш преданнейший собрат...»

По четвергам в Академии эти два человека, которых тянуло друг к другу, выбирали себе места по соседству. Пастер оценил «чуткость этого сердца, которое открывалось тем шире, чем достоиннее был повод...» Однажды Дюма, слушая лекцию, сделал из листка бумаги птичку. Пастер выпросил у него эту игрушку для своей внучки. Дюма отдал ему птичку, написав на крыле. «Одна из моих героинь, пока неизвестная».

Пастер знал, что Дюма, когда ему сообщали о чьем-то действительно бедственном положении, бывал щедр. Он слыл «прижимистым». Враги ехидно говорили о нем: «сын мота — жмот», и эти слова они приписывали Жорж Санд. Это ложь; госпоже Санд лучше, чем кому-либо, было известно бескорыстие человека, который написал за нее множество пьес и отказался от гонорара. Наученный горьким опытом отца, Дюма-сын считал деньги. Благодаримые — не купцы.

Врагов у него хватало. Его остроты, подчас жестокие, оскорбляли людей. У своего приятеля барона Эдмона Ротшильда он однажды спросил: «Не оттого ли, что я написал «Полусвет», вы сажаете меня за один стол с моими герзинями?»

Госпоже Эдмон Адам (Жюльетте Ламбер), которая хотела свести его с Анри Рошфором, он написал:

«Дорогой друг! Говорю Вам совершенно открыто... Этот человек, вечно встающий против всех и вся только потому, что все и вся стоят выше него; человек, оскорбляющий всех и вся только потому, что он всех и вся ненавидит; человек, который брызжет ядовитой слюной на своих прежних друзей, когда не может их укушить, человек, самым своим существованием обязанный людям, которым он готит убит; существование тем, кто его спас, выражается не иначе как руганью и клеветой, человек, выпускающий гнусную газету и сознающий, что она гнусная, — только ради того, чтобы зашибить деньги и обеспечить себе благополучие, которым он по-

прекает других, — этот человек достоин презрения и презираем по заслугам. Вы обладаете способностью дышать в подобной атмосфере, — это особое органическое свойство; что касается меня, то я выбил бы стекла, чтобы глотнуть воздуха...

Вы находите очень забавным сажать за один стол ваших сторонников империи и Вашего монстра, с которым пользуетесь случаем, Вы хотели бы примирить Вашего друга Дюма, так как Вам надоело и Вас раздражает, что первый так оскорбляет второго. Но есть типы, чьи оскорбления — благо, ибо в конце концов существуют люди порядочные и существуют совсем другие. Ваш приятель Рошфор — среди последних, и как бы Вы ни старались, Вам не удастся извлечь его из этого круга.

Что может делать такое чистое и светлое существо, как Вы, в обществе этого дитяща хаоса и грязи? Неужели же Вы надеетесь очистить эту клоаку и оздоровить это болото?»

Если гнев рождает стихи, то полемика заостряет прозу. Однако остроты Дюма, в то время приносившие ему все большую славу, нередко кажутся нам посредственными. Он украшал ими свои обеды по вторникам (там бывали Детай, Мейсонье, Лавуа, Миро, Мельяк) и обеды у госпожи Обернон.

— Я глухой, хоть и сенатор, — сказал ему маршал Канробер.

— Это самая большая удача, какая может выпасть сенатору, — ответил Дюма.

Молодой актрисе, которая, вернувшись со сцены, сказала ему: «Потрагуйте мое сердце, — слышите, как оно бьется? Как вы его находите?» — он ответил: «Я нахожу его круглым».

Когда ему сказали, что его приятель Нарре, став чересчур толстым, теперь немного поубавил в весе, он заявил: «Да, он худеет с горя, что толстеет».

Принцу Наполеону, который за глаза носил одну из его пьес, а при встрече с автором поздравлял его с удачей, он заметил: «Ваше высочество поступили бы лучше, говоря другим о достоинствах моей пьесы, а мне — о ее недостатках».

Так как его пьесы все еще шли с успехом, новые постановки всецело занимали и молодил его.

Знаменитому стареющему писателю отраднее предоставить свой опыт и свое мастерство в распоряжение молодых людей, таких, каким когда-то был он сам. Теперь «Даму с камелиями» играла Сара Бернар. В этой роли она была неподражаема и всякий раз вносила что-то новое. Когда по ходу действия пьесы понадобилась гербовая бумага, она симпривизировала: «Не ищите — у меня ее сколько угодно». Дюма-сын ее баловал и задиравал конфетами с ликером, которые она очень любила.

Когда Комеди Франсез возобновила «Иностранку», Дюма настоял, чтобы роль, которую играла Сара, поручили Бланш Пьерсон. Роль Круазет получила Бартз. Пьеса зазвучала по-иному — пожалуй, даже лучше. Драматург понимал, что жизнь пьесы зависит не только от нее самой, но и от прочтения, и ему приятно сознавать, что после его смерти его произведения будут меняться, а значит — жить.

Комеди Франсез стала теперь, как в свое время Жимназ, домом Дюма-сына. Смерть генерального комиссара Эмиля Перрэнна была для Дюма большой утратой. Этих двух людей — холодных и высокомерных — связывала прочная дружба. Когда Перрэн заболел неизлечимой и мучительной болезнью, Дюма часто приходил к нему, стараясь его ободрить. В один июньский день 1865 года Перрэн послал сказать Дюма, что он хочет как можно скорее увидеть его: «Я умру с минуты на минуту — я хотел бы пожать Вашу руку, проститься с Вами и поблагодарить Вас за последнее большую радость моей жизни — успех «Денизы». Вернувшись домой, Дюма сказал своей дочери: «Нельзя умереть более стойко, чем он».

Другим горем была смерть Адольфа де Левена — старейшего друга семейства Дюма. Страдавший раком желудка, Левен отказался от пищи и умирал с голоду, окруженный своими четырьмя собаками, которые лизали ему руки, и птицами, певшими в большой вольтере. Дюма приходил к нему три раза в день.

— Как вы себя чувствуете? — спрашивал он.

— Как человек, уходящий из этого мира. Я уже предрекаю иной мир. Я прожил достаточно; ничто из нынешних событий меня не занимает

Дюма требовал, чтобы он принял хоть немного пищи.

— Зачем? Мне выпало счастье умирать без мук. Если я восстановлю свои силы — кто знает, что со мною будет потом?

В свои восемьдесят два года Левен был худощавый, стройный старик с удлинненным, чуть красноватым лицом; он носил слегка набекрень шляпу с очень высокой тульей, большую отложной воротник и длинный галстук, несколько раз обвязанный вокруг шеи. Он одевался так же, как во времена Луи Филиппа, его борода в восемьдесят лет прямо оставалась черной. Нервный, раздражительный, он тем не менее отлично ладил сначала с Дюма-отцом, а потом и с Дюма-сыном. Он сделал Дюма-сына своим единственным наследником и оставил ему свое имя Марли в память тех счастливых лет, что они провели там вместе. Он приказал Дюма держать у себя его лошадей до их естественной смерти, чтобы им никогда не пришлось ходить в упряжке, тащить фикры или телегу. Каждый из своих собак он назначил содержание. Отвечали его в Марли, похоронили на кладбище Пек. Дюма произнес речь и зачитал отрывок из «Мемуаров» Дюма-отца, где автор «Антонин» рассказывал о своей встрече со шведом, который сделал из него французского драматурга.

«Все, кто знал Левена», — сказал Дюма-сын, — даже те, кто впервые увидел его в последние годы жизни, сразу же узнают его в этом портрете, где он изображен молодым. Напоминая ели своей суровой северной родины, которые всегда остаются стройными и зелеными, — всегда, даже когда они покрыты снегом, — наш друг до восьмидесяти двух лет оставался все тем же невысоким, стройным человеком, с изящной осканкой, аристократически непринужденными манерами, гордым и твердым взглядом. Что касается достоинства его души и его ума, о которых мой отец так часто говорит в своих «Мемуарах», то с годами они только умножились. Несколько холодный внешне, как все те люди, которые хотят жить, когда они дарят своей дружбой, ибо не могут дарить ее без уважения к человеку, дабы не лишит его потом ни того, ни другого, — несколько холодный внешне, Левен был самым надежным, самым преданным, самым нежным другом для тех, кому удалось растопить лед первого знакомства...

Утром 14 апреля мне показалось по некоторым признакам, что смерть решила вскоре дать ему покой, которого он от нее ждал. Я больше не отходил от него. «Если бы сегодня была хорошая погода!» — это последние слова, которые он был в силах пробормотать, и это единственное из его последних желаний, которое не могло быть исполнено. С этой минуты — только легкое пожатие руки, еще более шумное дыхание, движения головы и взгляды, означавшие последние прости... День угас, умолкли птицы; наступили сумерки. Его спокойное лицо со строгими чертами освещал теперь лишь слабый свет ночника. Дыхание его становилось все ровнее, все реже, все тише, и мне пришлось склониться над ним, чтобы убедиться, что он уснул вечным сном, без малейшего содрогания и без всякой борьбы. Я закрыл ему глаза, поцеловал его и не покидал до тех пор, пока слуги, плача и читая молитвы, не одели его в костюм, в котором он пожелал покоемся вечным сном.

Вот как покинул мир этот бесценный человек. Невозможно представить себе смерть более простую, более спокойную, более благородную, более достойную того, чтобы служить поучительным примером для людей беспечных и слабых. Что касается меня, то я исполнил его волю: он похоронен рядом со своей женой. Друга моего отца, которого он более шестидесяти лет тому назад нашел на живописной дороге, окаймленной боярышником и маргаритками, я с благоговением похоронил там, где он пожелал, — среди друзей, под холмом из цветов...»

После смерти Тейлора и Левена остался в живых только один свидетель молодости Дюма-отца — самый великий из них, Виктор Гюго. И он в свою очередь покинул мир в 1885 году Дюма-сын не слишком скорбел о нем. Сначала этих двух людей разъединили неприятные воспоминания, потом — политика. Гюго верил в прогресс, в республику, Дюма — в упадок, в тщетность всех усилий. Театральное шествие от Триумфальной арки до Пантеона раздосадовало Дюма.

«Если бы произведения Виктора Гюго, — сказал он, — были враждебны республике, вместо того чтобы быть враждебными империи, стихи его от этого не стали бы хуже, зато ему не устроили бы национальных похорон... Если бы он жил возле Тронной площади, а не возле площади Звезды, его талант не оскудел бы, но его тело не провезли бы под Триумфальной аркой. На похоронах Мюссе, который тоже был великим поэтом, не набралось и тридцати человек...»

В Академии по поводу похорон Гюго велась долгие споры. Должен ли Максим дю Кан, тогдашний старейшина, произнести речь от имени академиков? Некоторые из них полагали, что ввиду политических взглядов Максима дю Кана лучше не рисковать — возможна враждебная демонстрация.

«Академия, — сурово изрек Дюма, — должна быть выше общественного мнения. У нее есть свои правила. Пусть она их соблюдает». В этой высокомерной и воинствующей непримиримости был он весь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ «Франсиюн»

На место Перрэн в Комеди Франсез пришел Жюль Кларети. Это был еще не старый, ловкий человек с крючковатым носом. Он первым придумал раздел еженедельной хроники. Его «Парижская неделя», которую печатала «Тан», забавляла читателей резкими и неожиданными переходами. В Комеди Франсез он после сурового Перрэн казался бесхарактерным. Он всем все обещал. Ему дали несколько прозвищ: «Фридрих Барбарис», «Да-Если-Нет», «Антрепренер госпожи Церемонии». Карикатуристы изображали, как он бежит по коридору, спасаясь от сосьетеров. Но он продержался двадцать восемь лет.

Вступил на пост администратора, он первым делом обратился к Дюма за новой пьесой. «Гардию, введите в дело «гардию!» — кричал он. Дюма — «светло надежды и светоч мысли» — начал для него пьесу «Фиванская дорога», но работа продвигалась медленно. Он хотел довести замысел до совершенства. «Когда ты близок к тому, чтобы покинуть этот мир, надо говорить только то, что стоит труда быть сказанным...» Старость начинается в тот день, когда умирает отага. Близился срок, назначенный им самим для передачи театру «Фиванской дороги». Дюма понял, что пьеса не будет готова к этому времени. Однако Кларети на него рассчитывал. Как быть? Он вспоминает, что когда-то написал один акт на смелый и легкий сюжет. Женщина говорит мужу: «Если ты мне изменишь, я

возьму себе любовника». Муж ей изменяет: она едет на бал, увозит первого попавшегося молодого человека, ужинает с ним и, возвратившись домой, заявляет: «Я отомстила». Это не правда, но муж верит. Жена довела бы свою игру до конца и пошла бы даже на развод, если бы тот самый молодой человек не появился вновь на сцене в качестве нотариального клерка, вызванного для составления необходимых для развода документов. Он лучше кого бы то ни было знает, что ничего серьезного не случилось. Он бы заявил об этом, и ему удалось бы убедить мужа. Драма испергана; комедия кончается, как ей положено.

Дюма послал Кларети «Франсийона» со следующей запиской:

*«Кичено.
Очень опасно.
Очень длинно.
Очень устал.
Ваш
А. Д.»*

Тема была не нова. Луи Гандера когда-то давал Дюма читать пьесу «Мисс Фанфар» на тот же сюжет. Дюма перестроил ее первое действие. Гандера, которому больше нравились его собственная версия, сам разрешил Дюма воспользоваться для себя переделанным действием, которое и стало отправной точкой для «Франсийона». Шедевр ли это? Нет, но это удачная пьеса, одна из самых приятных в наследии Дюма-сына. Сам Гандера великодушно одобрил мастерство виртуоза.

«Александр Дюма — третьему носителю этого славного имени, уже исполнилось шестьдесят два года, но энергия его племени еще не истощилась в нем. Какой человек! Какой великолепный Негр! Он обращается с нами как с бельми. Он дает нам почувствовать свою силу, а иногда и жестокость; нас это вполне устраивает. Ведет он публику по правильной или по ложной дороге, он делает это рукою мастера. Он владеет и управляет ею примерно так же, как его дед управлял лошадьми. Если и есть какая-либо разница между молодым и сегодняшним Дюма, она состоит не в том, что теперь он слабее; она состоит в том, что, вволю наславившись своими природными данными и своим искусством, он предпочитает теперь упражняться одновременно и более простые и более трудные...»

Мир, который Дюма живописал в «Франсийоне», был его обычным миром, где мужчины при белом галстуке из гостиной своей супруги едут в клуб, а оттуда попадают в спальню «небезызвестных девиц». Фауна Дюма-сына здесь представлена полностью: тут и бесовестный муж, и оскорбленная жена, и друг — заведующий клубом, но при этом философ, и приятельница-резонерка; тут и аппетитная особа — наполовину традиционная инженерша, наполовину просвещенная девица образца 1887 года. Однако диалог был искрометный, действие стремительное, и публика бурно приветствовала своего покорителя.

«Франсийон» прошел на «ура». При поднятии занавеса публика рукоплескала художнику: «Странный аппарат из дерева и никеля» привлек все взгляды: еще ни разу до этого памятного вечера на сцене Французского театра не видели телефона! «Ну и смельчак этот Кларети!» — шептались зрители.

«Я был очарован, увлечен, взволнован не меньше, чем публика, — писал Сарсэ. — Первое действие ослепляет... Фейерверк острот. Остроты, обыгрывающие ситуацию, характер, блестящие каламбуры! Богатство, не поддающееся описанию!» Франсина де Ривероль в исполнении Юлии Бартэ походила на «задорную козочку, бьющую копытками».

Дюма-сын — Юлии Бартэ:

«Все целуют Вам руки, Вам, победившей вдвойне, — получаются стихи, которые я не способен продолжать. Оставайтесь долгие годы такой же. Это пожелание человека, который может теперь только желать...»

«Ах, уж этот Дюма, этот Дюма!» — злословили в гостиных. — Он хочет убедить нас в том, что светская женщина, будучи обманута мужем, способна подлить первого встречного и на другой же день начать хвастаться тем, что стала любовницей этого незнакомца. Ну и история!» Другие усматривали в пьесе определенный тезис: «Око за око, зуб за зуб!» — вот девиз Вашей героини, и Вы его одобряете. Вы провозглашаете право женщины на месть. «Убей ее!» — говорили Вы прежде, и по Вашей команде под аплодисменты присяжных вытаскивались револьверы... «Измени ему!» — говорите Вы теперь — и ночные рестораны сразу же распахивают свои двери и отпирают отдельные кабинеты».

Дюма не говорил: «Измени ему!» Наоборот. Однако он утверждал, что, хотя адюльтер не имеет для мужчины тех последствий, какие он имеет для женщины, и для него это далеко не пустяк.

Читателя нашего времени, видевшего немало куда более рискованных пьес, удивляет, что эту пьесу считали «грубой». В ней все же была правда. Общество, описанное в «Франсийоне», — это не общество Сен-Жерменского предместья, еще менее — общество квартала Марэ. Это мир Елисейских полей и равнины Монсо. «В этом районе Парижа добродетель встречается не так редко, как стыдливость. Там есть порядочные женщины, но жаргон, на котором они изъясняются, нередко с примесью площадных словечек, бросает вызов приличию Файф-о-клок в одной из гостиных этого мирка, или, вернее сказать, в холле, у молодой супружеской четы, в кругу близких друзей, вот тот маленький праздник, на который нас приглашает г-н Дюма...» — писал Луи Гандера.

И в заключение Гандера еще раз напомнил о происхождении Дюма, зная, что это не может не понравиться его другу:

«Еще больше, чем само произведение, поражает нас его автор — его сила, которую мы ощущаем в его виртуозности, его жизнерадостность, непосредственным выражением которой является бьющее через край веселье. Мы все — кто бы мы ни были — восхищаемся г-ном Дюма; мы его любим, и если нам есть за что прощать его, мы с радостью это делаем, ибо вник победителя при Бриксене слушать сорок лет — или около того — после своего литературного дебюта все еще являет нам с истинно негритянским темпераментом самый язвительный ум и самое блестящее, самое беспощадное и самое меткое остроумие, какое только может явить парижанин».

ГЛАВА ПЯТАЯ Любовь и старость

Талант не возмещает того, что уничтожает время. Слава молодит только наше имя.

Шатобриан

Действительно, в то время Дюма иногда казался необычайно веселым. Этот созерцатель любви вынужден был наконец сознаться себе, что влюблен, как шестидесятилетний мужчина может быть влюблен в молодую женщину — с отчаянной страстью, внушающей последнюю надежду. С очень давних пор он вел дружбу со старым, ушедшим на пенсию актером — почетным старшиной Комеди Франсез — Ренье де ла Бриером, которого называли просто

Ренье. Трудно представить себе более привлекательную чету, чем супруги Ренье. В прошлом актер высокого класса, затем архивариус Французского театра, профессор Консерватории, режиссер и, наконец, заведующий постановочной частью Оперы, прошел хорошую школу у ораторианцев. Это был маленький человек, любезный и саркастичный; его непосредственная и отточенная актерская игра в свое время и волновала и развлекала публику. «Он не гнался за эффектами, они сами шли к нему». Он написал несколько превосходных книг, в том числе «Тартюф и актер».

Его жена, женщина удивительной красоты, была дочерью Луизы Гревдон из Жимназ, некогда обожаемой возлюбленной Скриба.

Его дочь — еще одно чудо — в восемнадцать лет вышла замуж за архитектора Феликса Эскалье, который был в то же время и живописцем. Дюма-сын знал воспитательницу Анриетту еще ребенком. Он наблюдал, как вместе с нею растут ее очарование и изящество, — он восторгался ею. Ее брак с архитектором был прискорбной ошибкой. Казалось, только один этот каменный человек не боготворил эту женщину — свою жену, за которой безуспешно ухаживало столько других мужчин. Немало выстрадав, она разошлась с ним и теперь, разочарованная, упавшая духом, жила у родителей. Анриетта всегда восхищалась Дюма, но он внушал ей робость; перед ним она «чувствовала себя маленькой девочкой». Она спрашивала у него совета, что читать, и благодарила за жалость к ней. «Чувство, которое я питаю к Вам, вовсе не жалость, — отвечал он, — это самая безграничная нежность». Она жаловалась на одиночество и просила увенчанного славой драматурга, который, по ее мнению, был «прекрасен, как бог», чтобы он проводил с нею время и развлекал ее.

Дюма-сын — Анриетте Эскалье, ноябрь 1887 года:

«Мой прелестный маленький друг! Вы просите у меня золотую монету на одну из Ваших благотворительных затей — но отчего же Вы просите так мало? Неужто Вы верите в легенду, что я скуп? Во всяком случае, по отношению к Вам я таковым не буду. Пользуйтесь моим кошелеком волюю, но во всех случаях окажется больше, чем Ваши маленькие руки. Я всегда буду счастлив творить добро вместе с Вами, потому что Вы не захотите делать зла. Мой прелестный маленький друг, я у Ваших ног, — они, наверно, не больше Ваших ручек...

Если у Вас есть фотографии, где Вы похожи на себя, — дайте мне одну. Я верну ее Вам в книге, рассказывающей историю богини, на которую Вы, по-моему, похожи. Вы увидите, что все Ваши друзья придут к тому же мнению, но первым открыл это сродство я. Передайте Вашей матушке мой самый почтительный привет».

Портрет действительно был возвращен Анриетте в книге Лафонтена «Психея». Дюма переплел два томика в бирюзовый сафьян и наклеил фотографию Анриетты на внутреннюю сторону верхней обложки. К книгам было приложено следующее письмо:

«Мой дорогой маленький друг! Созовите семь греческих муз, соберите судей вреопага, присовокупите к ним Фидия, Леонардо, Корреджо, Клодиона и скажите им: «Мой друг Дюма утверждает, что я похож на Психею». Все они ответят — каждый на своем языке: «Что ж! Это правда».

Вот почему я преподношу Вам сегодня историю этой царской дочери, которую Амур сделал богиней, и прилагаю к ней Ваш портрет (который, я надеюсь, Вы мне возместите), дабы те, в чьи руки попадет эта книга, когда ни Вас, ни меня уже не будет в живых, убедились, что ни мудрецы, ни судьи, ни художники, ни я не ошиблись. Не ошиблись, открыв в Вас божественные черты той, что сделала Венеру ревнивой, а Купидона — постоянным.

Мой маленький друг, в награду за свои предположения я позволю себе поцеловать Вам руки».

Пораженный тем интересом, который совершенно явно выказывало к нему столь молодое и столь желанное создание, он не смел сорвать цветок улыбкушегося ему счастья. Давно уже он не верил в искреннюю любовь. Стоило ему начать анализировать чувства какой-нибудь женщины, как он обнаруживал гордость, тщеславие, потребность в защите, но никогда не находил той абсолютной и гордой верности, которая все еще оставалась для этого сдвоенного человека юношеской мечтой. Поэтому он безжалостно отталкивал от себя всех, кто его осаждал актрис и светских женщин, грешниц и каючихся. Примерно в то же время он отвечал одной юной девушке из Сета, предложившей ему себя:

«Дорогое дитя! Я понял Вас, хотя не желал пожимать, потому что не должен... Боже упаси меня от того, чтобы поставить всю Вашу жизнь в зависимость от Вашего первого увлечения и от моей последней иллюзии! Я давно уже покончил с любовью, Вы могли быть моей дочерью. Вы обяжете и обладаете тем, что я ценю превыше всего, — девственностью. Я не сделаю Вас похожей на других женщин, не ввергну во все беды, весь ужас падения и раскаяния. Я слишком хорошо знаю, что это такое и к чему ведет.

Я не хочу, чтобы Вы имели повод когда-либо жаловаться на меня или краснеть за себя. В сердце моем я отвел Вам достойное место — единственное, какое Вы можете занять там с честью.

Не ищите меня на что-либо, превышающее дружбу. Вам принадлежит то, что есть во мне лучшего.

Обнимаю Вас...»

Однако Анриетта Эскалье, искренне влюбленная, ослепленная авторитетом, славой и внешнею Дюма-сына, не теряла надежды победить его сопротивление. Ее решимость укрепили сведения о раздорах в семье Дюма, о клятве с расстроеными нервами, о том, что отношения Дюма с Оттилией Флао (которая стала бабушкой) приняли характер дружбы, и она отважно устремилась на приступ своего героя. В 1885 году Ренье умер, и Дюма теперь часто виделся с его женой и дочерью, удрученными скорбью, помогал им советом и делом. Вскоре он уже не сомневался в возможности одержать победу — отсветы ее горели в глазах Анриетты.

Победа? Не было ли это для него скорее поражением? Конечно, его искусство лучезарное лицо Анриетты, ее восхитительное тело, пленительная молодость. Воспоминания о маленькой девочке, которая еще так недавно плескалась в море у него на глазах, невинная и не осознавшая себя, смешивались с образом находившейся рядом цветущей женщины. Но что слугит Анриетте, думал он, связь со старым возлюбленным, слишком хорошо знающим женщин, чтобы не испытывать безумной ревности? Как она сможет вынести грусть, мизантропию, приступы отчаяния сложной натуры художника, считающего, что у него уже не хватает дыхания?

Он навсегда запомнил одну дату: 13 апреля 1887 года — день, когда она отдалась ему после первого поцелуя. «13 апреля 1887 года я слил свою судьбу с твоею на твоих губах». Она могла бы ответить, как Джульетта: «Я была слишком нежна, и Вы, пожалуй, могли опасаться, что, когда Вы на мне женились, мое поведение станет очень легкомысленным...» — Я все время спрашивал себя в то день, искренне ли это смятение, или наигранно, или же с тобою так бывает всегда и надо было только решительно подойти к тебе, чтобы взять?.. А! Если я впервые смуглил твои чувства, то ты могла бы похвастать тем, что впервые посрамляла мои психологические познания, ибо ты единственная женщина, которую я не могу почитать...» Единственная! О наивность Оливье де Желена!

Позднее он старался увидеть в той удивительной легкости, с какою Анриетта предложила ему себя, счастливое предзнаменование: «Когда меня охватывают сомнения, то непосредственность, с какою ты отдалась мне душою и телом, убеждает меня в твоей невинности. Женщина, которая уже отдавалась другому мужчине, не отдалась бы так скоро... Она опасалась бы, что, уступив так легко, вызовет подозрения и выдаст себя...»

Дюма-сын — Анриетте Ренье, октябрь 1887 года:

«До чего мы дойдем таким путем? До какого решения? До какой катастрофы? Я ничего об этом не знаю... Прошло уже полгода с того дня, как ты бросилась в мои объятия с тайным предчувствием, что во мне — твоё счастье и несчастье. Сколько бы мне ни осталось жить, я все мои силы и весь мой ум употреблю на то, чтобы сделать тебя счастливой. Не спорь, не задавайся вопросами, не мучай себя. Живи, не думая, и позволяй обожать тебя, как женщину, как ангела, как божиню, как ребёнка — как мне захочется. Ты больше не принадлежишь себе. Ты хотела иметь повелителя, и у тебя не может быть лучшего, чем тот, что есть. Чувствуешь ли ты, что ни одно создание в этом мире не люблю так, как ты?..»

Он действительно любил ее так, как не любил никого со времен Мари Дюплесси и Лидии Нессельворде, даже сильнее, ибо Анриетта Ренье больше всех походила на ту Сильфиду, которую он, как многие мужчины, тщетно искал. Ты неохотно вошла в мою жизнь, дав моему идеалу самое лучезарное воплощение... Ты была для меня не только женщиной, которую я обожал с момента ее появления, но и той, которую я всегда обожал втайне, вопреки всем образам, какие принимала человеческая самка, стоявшая между мной и Ею...»

Это была большая физическая страсть. Благодаря Анриетте он узнал на закате жизни счастье приходиться с трепетом на свидания, которых она никогда не пропускала. Кibility возлюбленного примешивалась почти отеческая нежность, с какою он опекал это молодое существо, следил за ее здоровьем, ее поступками. Если ему случалось присутствовать при том, как Анриетта, выйдя из себя, говорила резкости матери, которую она тем не менее обожала, на другой день он писал ей, предупреждая, что со временем она жестоко раскается, что огорчала госпожу Ренье. В 1890 году Анриетта развелась с мужем. Поскольку она уже много лет не жила с Эскалье, она, несомненно, надеялась сразу же связать свою жизнь с Дюма. Но как он мог на ней жениться? Мог ли он оставить шестидесятилетнюю, тяжелооблихную госпожу Дюма? Мог ли поставить под угрозу будущее их незамужней дочери Жаннины? Противник адюльтера увидел, что обречен на длительную тайную связь. Глубоко тревожась за репутацию своей возлюбленной, он обставил свои отношения с ней нелепыми предосторожностями и телеграммами, которые посылал ей, когда разлучался с нею, уезжая на отдых, подписывая именем ДЕНИЗА.

Счастье его отравляло, как всегда в этом мире, полным разлада, смутное недовольство собой. Эта любовь, на которую у него уже не хватало сил, валамугутила его жизнь — а ведь он хотел, чтобы она была безупречной!

«Вот уже семь лет, — писал он в 1893 году, — как не было ни единого часа, чтобы я не думал о тебе. Если бы звезда упала в море, она не произвела бы большего волнения, чем произвела ты, воровавшись в мою жизнь. Все, что я думал о любви, будучи убежден в том, что никогда не познаю ее в действительности, я познал в тебе физическое совершенство и возможность морального совершенства, — если верить тому, что ты утверждаешь... Ах! Сюзон, Сюзон, как ты заставляешь меня страдать!..»

Человек театра цитировал Бомарше. Просто человек страдал. Почему? Потому что он не верил в свое счастье:

«Вся моя жизнь уходит на то, чтобы воссоздать твою. Я ищу тебя в твоём прошлом, следую за тобой из года в год, говоря себе: «Что делала Анриетта в то время? Почему она была там-то и там-то?» И если мне что-нибудь неясно, если ты, как Феба?, у которой ты поизматывала перламутровую белизну, скрываешься за облаком, я терзаюсь подозрениями, тревожусь, страдаю...»

Госпожа Ренье сняла на лето домик в Лион-сюр-Мер, и дочь поехала туда с нею. Анриетта скучала на этом курорте, где безраздельно царил Жип". Дюма опасался молодых людей, игр на песке и в воде, ловушек, которые расставляет безделье. Чтобы успокоить его, Анриетта послала ему свой девичий дневник, где она уже много говорила о нем.

Дюма-сын — Анриетте Ренье, 22 сентября 1893 года:

«Напрасно ты не любишь море. Ведь как раз у моря я увидел тебя в первый раз на твоём ослике (в 1864 году)... Так начинаются английские романы. Почему Бог не дал тебе труда спуститься и шепнуть мне на ухо: «В один прекрасный день эта девочка полюбит тебя. Береги себя для нее». И тебе какой-нибудь ангел мог бы сказать: «Со временем этот человек будет бесконечно обожать тебя. Береги себя для него». Бог не сделал того, что должен был сделать, ангел прошелестел крыльями над тобой, не сказав ни слова, но ты все же заметила его, и у тебя осталось предчувствие. Когда я возвращаюсь к твоему прошлому благодаря тетрадам, которые ты мне дала читать, письмам, с которыми ты меня познакомила, я время от времени встречаю там свое имя, — оно притягивало тебя все более и более, пока ты не упала в мои объятия, чтобы никогда из них не вырваться...»

Но несмотря на эти трогательные предвестия, он продолжал терзаться. За свою жизнь он наблюдал столько powodов для ревности, что клятвы Анриетты ничуть его не успокаивали. «В самом деле, твои письма говорят за то, что это был первый раз, но Меркурий так коварен, а ты настолько женщина, от корнев волос до кончиков ногтей...»

К кому он ревновал? К мужу? Меньше всего. «Тот, кому ты была отдана в семнадцать лет, не ведая, что за этим кроется, ничего для меня не значит...» Нет, он ревновал к мужчинам, которых она могла выбирать сама, — к композитору Паладилю, который обучал ее пению, к салонным тенорам; однаково ревновал к прошлому и к настоящему, ужасно страдая при мысли о «малейшем осквернении». Она упрекала его в несправедливом недоверии к ней, в то время как она силилась избежать всех «искушений и покушений». Он оправдывался. Мог ли он быть другим?

«Я никогда не видел вокруг себя ничего, кроме порока, лжи, разложения во всех видах и формах. Мне удалось бессознательно, но могучим усилием вырваться из этого круга самому, без чьей-либо помощи... Но во мне осталось глубокое недоверие. Я встретил тебя в ту пору моей жизни, когда я должен был покончить со всеми иллюзиями, но ты в такой мере воплощала мечту моей ранней юности, что я не мог сопротивляться... От того, как поступали со мной и как еще могут поступить женщины, прошедшие через мою жизнь, — в том числе и та, что стала моей спутницей, — я не страдал, я не любил их. Я не был счастлив, но благодаря работе я был покоен. Не встречь ты меня, я вскоре забыл бы вообще, что на свете существуют женщины. Я никогда не отдавал им и частицы моей души, а мое тело испытывало отвращение и омерзение... Я родился целомудренным... Я не встречал женщины, которая не гнала бы. Почему бы и тебе не гнать, как другие?»

Когда госпожа Ренье почувствовала, что она очень больна и конец ее недалек, она призвала к себе Дюма и с треволгой сказала ему: «Анриетта остается одна на свете...» Ему было крайне тяжело, что в такой момент он не может стать посто-

янной законной опорой для растерявшейся молодой женщины. Он дал слово жениться на ней, если когда-либо окажется свободным. Это было вероятное предположение, так как в 1891 году Надин Александр-Дюма, обезумев от ревности, покинула особняк на авеню де Вильер и поселилась у своей дочери Колетты. Тем не менее Дюма не мог требовать развода у женщины с расстроенной психикой, у которой врачи определили неизлечимую душевную болезнь. Да и кроме того, был ли он уверен в том, что желает этого? Оливье де Жален снова колебался в выборе развязки.

Дюма-сын — Анриетте Ренье:

«Помимо всего возникло еще это осложнение — возможность свободы для меня. Ты не заблуждаешься касательно того, на какие размышления навела меня эта возможность. Я стал бояться этого события как несчастья, хотя вполне заслужил право желать его как реванша... Вот уже двадцать восемь лет, как я имел глупость исполнить свой долг: это едва не стоило мне жизни и, что еще страшнее, разума, но меня спасло сознание, что я чему-то повзвистил себя, и я верил в свою труд, в славу...»

Этому гордому человеку понадобилось пережить сильное потрясение, дабы сознаться в том, что он всегда скрывал от своих друзей, даже от Жорж Санда, — в трагической неудаче своего брака с зеленоглазой княгиней.

ГЛАВА ШЕСТАЯ «Фиванская дорога»

После «Франсийона» Дюма не написал ни одной новой пьесы. Восемь лет молчания — большой срок для знаменитого драматурга, находящегося еще в расцвете сил и настойчиво осаждаемого лучшими театрами. Но этого великана всегда легко было обескуражить. Внезапно нападаящая на него усталость напоминала неожиданные приступы подавленности, которые переживал в Италии и в Египте его дед-генерал. «С семилетнего возраста, — говорил он молодому Полю Бурже, — я сражаюсь с жизнью. В моем тоне не надо искать меланхолию — это усталость. Бывают моменты, когда я сыт всем этим, сыт по горло, и я охотно улетаю бы лицом к стене, чтобы не слышать больше никаких разговоров, в особенности разговоров обо мне».

Его интимная жизнь усугубляла его мрачность, но, кроме того, он сомневался и в своем искусстве. Некоторые из его младших собратьев преследовали его ядовитой ненавистью, в которой была и доля зависти.

В кулуарах Французского театра, поставившего недавно «Парижанку», Анри Бек, «короенатый», с жестким взглядом изпод густой соломки бровей, с усами щеткой и кривой усмешкой, читал эпиграммы, пересыпая их звучными: «А? Каково?»

Как было два Корнеля,
Так есть и два Дюма,
Но эти двое схожи
Не с Пьером, а с Тома.

Дюма ответил на это:

Тома Корнель, прости за дерзость Бека,
Ему и Пьер Корнель не по зубам:
Зевает Бек. Так повелось от века,
Когда зевать всех заставляешь сам.

Однако, если Бек находил горькую сладость в таких шутках, то Дюма, уставший от всего, считал их жалкими и пустыми

ми Он слишком хорошо знал, что восходит звезда Бека и Ибсена. Он знал, что молодые критики теперь с презрением говорят о «хорошо сделанной пьесе», слишком хорошо сделанной. Успех его прежних пьес — «Свадебного гостя», в котором Бартз играла вместо Декле и талантливо выплывала знаменитая «Фул»: «Друга женщин», где она воплощала Джейн де Смироз, умело соединяла нежность и дерзость, — не вернул ему веры в себя. Старая пьеса — не новая. Он написал одно действие пьесы «Новые сословия», о котором говорил: «Это будет мой Фигаро», и четыре действия «Фиванской дороги», где их должно было быть пять, — но так и не закончил ни одной из этих пьес.

Дюма-сын — Полю Бурже:

«Я снова являлся за «Фиванскую дорогу», но я не вижу развязки и очень боюсь, что никогда ее не увижу. Нет больше ни энтузиазма, ни увлеченности. Я хорошо знаю, что хочу сказать, но я без конца повторяю себе: «К чему говорить что бы то ни было?» Все дело в том, что я слишком давно знаю род человеческий...»

В действительности он проецировал на человечество свою собственную неудовлетворенность и считал весь мир дурным оттого, что, несмотря на весь свой жизненный и творческий успех, очень много страдал. Он мог бы отнестись к себе реплику одного из своих персонажей: «Вы, несомненно, человек очень сильный». — «Да, но очень несчастный».

Был ли он сам очень сильным человеком? Леопольду Лакуру, который в 1894 году спрашивал его о «Фиванской дороге» — ее с таким нетерпением ждали в Комеди Франсез, — он ответил:

«Окончу ли я когда-нибудь эту пьесу? Я все больше и больше сомневаюсь в этом. В нее надо вложить так много, слишком много! Для театрального писателя, который стремится не только развлечь зрителя, но и заставить его думать, ибо сам он думал, жизненный опыт, со всеми размышлениями, которое он влечет за собой, понемногу становится чересчур требовательным советчиком. Ведь у него уже нет той бесстрашной уверенности в себе, которая двадцатью годами раньше, возможно, позволила бы ему удовлетворить эти высокие требования. И кроме того, я никогда не был гордецом, заверяю Вас в этом, вопреки легенде, которая пришла по вкусу слишком многим людям, чтобы с нею можно было покончить. Но все-таки, даже не будучи слишком самоуверенным, я мог бы строить себе иллюзии насчет действительной ценности моих произведений, мог бы надеяться, что, умирая, не все их унесу с собой, я мог бы заблуждаться по причине — Боже мой! — да, по причине моего успеха, а в особенности из-за того уважения, которое вызывали мое светлые и могучие умы, как, например, Тэн. Однако я вижу, как меняется вкус публики, как одна часть молодежи переходит на сторону Бека и его учеников, другая приветствует Ибсена. Я присутствую при том, как приходят в упадок определенные формы искусства. Мой театр, весь мой театр погибнет...»

Его отец тоже говорил подобные вещи в последние месяцы жизни, но рядом с Дюма-отцом, утешая его, находился сын, который им восхищался. Леопольд Лакур был расстроган слабой и печальной улыбочкой, которой сопровождалась эти признания. Он сказал старому мэтру, что «Даму с камелиями», «Полусвет» будут играть всегда. Разве Сара Бернар не возобновила с успехом «Жену Клавдия»? Разве некий критик не писал: «Дюма был Ибсеном до Ибсена»? Грустная улыбка появилась снова.

«Вы говорите искренне, — сказал Дюма, — и я Вам благодарен. Но только я жил слишком долго; я слишком часто видел, как удача возвращается к человеку, чтобы потом покинуть его снова, уже навсегда. Наверное, только Саре — она много вы-

ше Декле — я и обязан этим реваншем, и было бы неблагоразумно считать его окончательным. Победы великих артистов, неожиданно возрождающие уже погребшую пьесу, сладостны для автора. Они не должны вводить его в заблуждение. Ему надо знать, подтвердит ли их будущее... Что стало с драматургией Волтера? Ее теперь даже не читают. А вместе с тем, каким драматическим поэтом восхитались больше, кому еще так курили фамилам, как автору «Заирь» и «Меропи»? Да и означает ли это продолжение жизни для драматурга, если у него еще находятся читатели и если в том некрополе, который нередко представляет собою история литературы, красуется, с позволения сказать, его памятник в прозе?

Продолжать жить в искусстве для такого автора не значит остаться в книгах; это значит жить на сцене по крайней мере в двух или трех подлинных шедеврах. И во французской драматургии XIX века я нахожу едва три-четыре таких шедевра; это не «оперы» Виктора Гюго — их словесное великолепие не спасет их для вечности — нет, это некоторые комедии Мюссе. Я ничего не говорю о моем отце; его талант был так же присущ ему, как хобот слону...

Возвратившись к себе, Леопольд Лакур отметил, что, несмотря на грустные речи, эта высоко поднятая голова была по-прежнему величественна:

«Холодный блеск его светло-голубых глаз не потускнел. Слегка покачивающаяся походка, когда-то модная, напоминающая идеал изящества во времена Наполеона III, заставляет его по-военному резко размахивать руками. Стало все-таки несколько меньше гибкости в движениях этого «кавалера», речь его теперь не так стремительна». Меланхолия случалась сумерки этой жизни, прежде казавшейся столь блестящей.

Другой журналист, Филипп Жиль, вынес такое же впечатление. Он спросил Дюма:

— Мы увидим «Фиванскую дорогу?»

— Подумайте сами! — ответил Дюма. — В моем возрасте отважиться на борьбу, зная, что меня ждет только колотушки! Нет! Лучше уж я оставлю «Фиванскую дорогу» в ящике. Я полагаю, что это одна из самых удачных моих пьес; я полагаю также, что никогда не отдам ее в театр.

Потом он заговорил о своих опасениях:

— Перед лицом ничтожности нашей жизни, тщетности наших усилий, безнадежности обращений к так называемому PROVIDENCE, которое ничего не PROVIDIT для нас, я всерьез помышлял о том, чтобы уйти в монастырь... Там по крайней мере человек далек от жизни. О! Успокойтесь: у меня никогда не хватит на это мужества... Стали бы говорить, что я ударился в религию под влиянием священников и женщин... И кроме того, я бы до смерти скучал.

Тем не менее Эмиль Бержера, зять Теофиля Готье, нашел, что Дюма одержим идеями христианства.

— Дорогой друг, вы совершаете две ошибки — курите и исповедуете пантеизм... Свет идет с Голгофы.

— Да, — ответил Бержера, — Магдэлина — это Дама с камелиями в пустыне.

— Не будем говорить о «Даме с камелиями» — это юношеское произведение... Настоящую женщину вы найдете в Евангелии.

Вошел лакей и сказал, что Х. просит луидор.

— Ах, бедняга! — сказал Дюма. — Дайте ему пять, это избавит его от четырех хождений.

Жюльо Кларети, комиссару Комеди Франсез, он прочитал четыре акта «Фиванской дороги», которые были уже написаны, и рассказал содержание пьесы. Каков сюжет пьесы? На дороге в Фивы Эдип встретил Сфинкса... Ученый-медик Дидье в конце своего жизненного пути встречает загадочную и опьяняющую красавицу Милиану Дюбрель, сестру всех тех

чудовищ женского пола, которыми изобилует драматургия Дюма-сына. Знаменитый врач Дидье олицетворяет автора. Писатель, дабы не изображать писателя, превращает их в художников и врачей, но маски оказываются прозрачными.

У Дидье, материалиста-безбожника, есть верующие жена и дочь¹ и неверующий ученик Матиаса. Дочь Дидье, Женевьева, любит Матиаса, но тот груб с нею и насмехается над ее верой.

— Твоя душа, — говорит он ей, — это лишь совокупность функций мозгового вещества... Если я ударю тебя вот сюда, в висок, что скажет твоя душа?

— Она простит тебя, — отвечает Женевьева.

В первом действии в доме Дидье, который в это время отсутствует, Матиас принимает молодого провинциала Доминика де Жюниака, переживающего тяжелый душевный кризис. Его отец из материальных соображений противится его женитьбе. Будучи страстно влюблен, молодой человек без колебаний нарушил бы запрет, но его невеста дала ему понять, что не выйдет за него замуж вопреки воле его отца. Потом она скрылась вместе со своей матерью, не оставив адреса. Доминик разыскивает беглянку в Париже, где, как он подозревает, они прячутся. Он сообщает врачу свою навязчивую идею: овладеть любимой девушкой или убить ее. Матиас дает чрезмерно возбужденному юноше несколько добрых советов и отпускает его, ни в чем не убедив. Возвращается доктор Дидье, и почти в ту же минуту на улице раздаются выстрелы. Матиас бросается к окну и узнает в стрелявшем Доминика, тот убегает.

Вводят пострадавшую — омаровательную молодую девушку; Дидье осматривает ее. Рана не опасна. Доктор предлагает девушке остаться у него в доме до выздоровления. Появляется полицейский комиссар. Выясняется, что имя молодой особы Милиана Дюбрель; ей двадцать лет. Ее мать уклоняется от прямого ответа: она якобы не знает стрелявшего. Она дает заведомо неверное описание молодого преступника.

Три недели спустя, во втором действии, выздоровевшая Милиана вместе со своей матерью живет в загородном доме Дидье. Никто и не помышляет об отъезде. Дидье поручает Милиане переписывать его труды; Матиас охотно беседует с нею на философские темы. Женевьева признается своей матери, что ревнует к незнакомке. Госпожа Дидье умоляет мужа не оставлять у них этих двух женщин. Он просит совета у Матиаса, который отвечает: «Вы влюблены в Милиану, сами того не зная». И действительно, доктор, которому и в голову не приходило пристыдить девушку уехать, говорит ей: «У меня есть потребность чувствовать ваше присутствие». Возмутительная споконьятия соглашается отложить свой отъезд.

Тем временем Дидье принимает делегацию скандинавских студентов, прибывшую засвидетельствовать ему свое почтение. Руководитель делегации, по имени Стефан, производит на учителя прекрасное впечатление, и он невольно начинает думать о том, что такой славный парень мог быть прекрасным мужем для его дочери Женевьевы.

Проходит два дня. В третьем действии снова появляется Доминик де Жюниак. Отец его умер; теперь ничто

¹ Жаннина Дюма, воспитанная в духе вальнудуинства, с большой горячностью приняла католическую веру. Ее бракосочетание с родовитым офицером Эристом де Отериван было совершено по обряду в приходской церкви Марли предводившим д'Юльстам. Одна фраза в проповеди этого священника, произнесенной во время венчания, вызвала безудержный смех публики: «И когда наступит час неизбежного расставания». Колетта Дюма в то время уже была близка к разводу; ее родители разнились и больше не жили под одной крышей; ее мать когда-то бросила Нарышкина, а ее сродная сестра Ольга жила в постоянном разладе со своим развратным мужем.

больше не препятствует его женитьбе. Матис спешит сообщить об этом Миляне; та, неприятно удивленная, решительно отказывается выйти замуж за человека, который хотел ее убить. Доминик размахивает на сей раз не револьвером, а письмами своей невесты, как будто бы очень нежными и обличающими известную близость... Тогда Миляна смело нападает на Матиса:

— Вы принимаете меня за сфинкса и стараетесь разгадать мою загадку. У меня ее нет. Вы уверены, что я полна коварных и преступных замыслов. Вы ошибаетесь.

И все же ассистент ее спрашивает, как бы она поступила, если бы ей предложили пятьсот тысяч франков, с тем чтобы она убралась отсюда. Она холодно отвечает:

— Потребовала бы миллион.

Четвертое действие. Женевьева изливает перед отцом душу, поверяет ему свое смутное. В ее сердце закрались сомнения. Она спрашивает ученого:

— Что находится за гранью этой жизни?

— Неизвестность.

— Неужели твоя наука не подтверждает ни одну из надежд, которые нам и дает религия?

— Ни одну.

— Это может привести в отчаяние.

— Иногда.

Тем не менее Дидье удаётся утешить дочь, и она уходит от него несколько успокоенная. Потом он обращается к неизменно загадочной Миляне. Конечно, она заметила его восхищение, она даже заявляет ему, что готова сделать все, что он захочет: все. И он отвечает:

— Я люблю вас. Вот уже три недели, как благодаря вам я снова чувствую себя двадцатилетним, а ведь в свое время я и не заметил, что мне было двадцать... Вы молоды, а я уже нет... Вы свободны, я — нет. Вы не можете меня любить. Так уезжайте, уезжайте и найдите благополучного богата молодого человека, который станет вашим супругом и которого я буду любить как сына...

Здесь рукопись обрывается.

2 апреля 1895 года в возрасте шестидесяти восьми лет на авеню Ньель, в доме своей дочери Коlette, умерла госпожа Дюма, а через несколько дней началась агония у госпожи Ренье в маленьком, построенном Эскалье особняке на Римской улице, где она жила вместе со своей дочерью Анриеттой. Дюма похоронил книжницу в Нейли-сюр-Сен, рядом с Катриной Лабэ, а 26 июня, меньше чем через три месяца с того дня, как он овдовел, женился на Анриетте в Марли-ле-Руа. Он любил ее с отчаянной страстью. В течение восьми лет он каждый день писал ей. И тем не менее от его соседа Сарду, с которым он делился, мы знаем, что, предпринимая этот решительный шаг, он терзался сомнениями. Не безумие ли со стороны человека, которого так давно преследовало апокалипсическое видение Греха, за порогом семидесятилетия связывать свою жизнь с молодой женщиной такой редкой красоты? Он знал это, но сдержал данное слово. У него было высокое и суверенное понятие о чести.

27 июля 1895 года он написал завещание:

«Сегодня я вступаю в семьдесят второй год своей жизни. Пришло время составить завещание, тем паче что по некоторым признакам мне представляется более чем вероятным, что конца этого года, в который вступаю, я не увижу... И все же ровно месяц назад я женился на женщине много моложе себя, я считаю своим долгом доказать ей таким образом мое уважение и мою привязанность, которых она во всех смыслах достойна. Я уверен, что она будет с честью носить мое имя столько времени, сколько ей суждено носить его после того, как меня не станет. Кроме того, она человек

энергичный и мужественный и сумеет выполнить мою волю, которую я выражу в этом завещании:

Я желаю твердо и определенно, чтобы меня похоронили без всякого церковного обряда; я хочу, чтобы над моей могилой не произносили никаких речей, и освобождаю Академию от воздания мне воинских почестей. Таким образом, моя смерть причинит беспокойство только тем, кто сам пожелает побеспокоиться.

Я желаю быть похороненным на кладбище Пер-Лашез¹ в склепе, содержащем только два отделения, где — чем позднее, тем лучше — рядом со мною упокоится госпожа Дюма. Я желаю, чтобы после моей смерти меня одели в одну из моих полотноных рубашек с красной каймой и в один из моих простых рабочих костюмов. Ноги пусть останутся голыми...

Все мои бумаги, письма, рукописи я оставляю госпоже Анриетте Александр-Дюма, которая приведет их в порядок и знает, как с ними поступить...

Он не боялся смерти, но мучился, думая о будущем Анриетты, о возможных конфликтах между его дочерью и женой, о своем незаконченном произведении. В августе он писал из Плюи Жюлю Кларети:

«Ваше письмо застало меня за переделкой последней сцены четвертого действия — главной сцены для всей пьесы и для Мунз-Соули. Если нам суждено провалиться, то мы провалимся именно в этой сцене; если же она удастся — нас ждет большой успех, несмотря на неблагоприятную развязку...»

В другом письме он писал о «Фиванской дороге»: «Вы получите ее через год, или я умру». Жорж Кларети, сын Жюль, рассказав в одной статье содержание пятого акта, который Дюма в его присутствии «читал в совершенно законченном виде» генеральному комиссару Французского театра:

«Внезапно Миляна влюбляется в Стефана — красивого и элегантного шведа, который возглавляет делегацию иностранных студентов. В тот самый день, когда она должна была бежать с Дидье, она покидает Париж с молодым скандинавом. Парижанка следует за соотечественником Исебна. Любовь — это привилегия молодости, — такова мораль драмы. Кризис миновал. Сфинкс исчез. Дидье, глядя на свою дочь Женевьеву, качает головой и бормочет:

— Быть может, и в самом деле существует душа?»

А Матис в своем углу играет на флейте в перерыве между двумя опытами, как Фридрих II между двумя сражениями, и отвечает учителю насмешливыми звуками своего визгливого инструмента...»

Нет ничего невозможного в том, что Дюма, пребывая в глубокой печали, в которую его ввергло нездоровье, подумывал о подобной развязке. Но 1 октября он слег, и ему стало ясно, что его последняя пьеса останется неоконченной.

«Представьте себе, что я уже умер, — сказал он Кларети, — и больше на меня не рассчитывайте».

Своей дочери Коlette он признался: «Не пойму, что со мной, весь день у меня в ушах трещит сверчок». Кровь заставляла вибрировать его утраченные эластичность артерии. Вскоре у него начались головные боли, и временами он впадал в странное забытьё, пугавшее его женой. Профессора не могли поставить диагноз. Одни предположили кровоизлияние, другие — опухоль мозга. В конце ноября крупнейшие врачи, собравшиеся в Марли у его постели, объявили, что он безнадежен. Как когда-то его отец, умми-

¹ Не на кладбище Пер-Лашез, а на кладбище Монмартр покоятся Александр Дюма-сын и его вторая жена (умерла в 1934 году), под камнями своим монументом, созданным скульптором Сен-Марса. По странной случайности могила Мари Дюпlessis находится в нескольких шагах от этого внушительного мавзолея.

равший на морском берегу Пюи, он проводил целые дни в смутных сновидениях.

Несколькими месяцами раньше, взявшись написать предисловие к роскошному изданию «Трех мушкетеров», он с нежными словами обратился к своему отцу, который был его гордостью и отчаянием:

«Вспоминают ли в том мире, где ты пребываешь теперь, о делах нашего мира — или же так называемая вечная жизнь существует только в нашем воображении, порожденная нашим страхом перед небытием? Мы с тобой никогда об этом не говорили, когда жили вместе, и я думаю, что метафизические размышления никогда тебя не тревожили...»

Потом он вспомнил о нескольких месяцах, проведенных ими после отъезда Иды вдвоем, в братской дружбе:

«Ах! То было прекрасное время. Мы были ровесниками, хотя тебе исполнилось сорок два года, а мне — двадцать. Наши веселые разговоры, взаимные излияния чувств!.. Мне кажется, это было вчера... А ты почти уже четверть века спишь под вековыми деревьями клумбица в Вилле-Коттре, между твоей матерью, которая служила тебе образцом для всех нарисованных тобою порядочных женщин, и твоим отцом, который дал право на существование всем твоим героям. Я же, кого ты, да и я сам, всегда считал ребенком в сравнении с тобой, сейчас сед как лунь, — каким ты никогда не был... Земля вертится быстро. До скорого свидания».

Пророческая ностальгия. Сыну суждено было вскоре последовать за отцом. 28 ноября ему как будто стало лучше. Осеннее солнце освещало красивые деревья парка. Сознание вернулось к нему, и он улыбнулся дочерям.

— Ступайте завтракать, — сказал он, — оставьте меня одного.

Врач только что вышел из комнаты, когда Колетта позвала его:

— Идите скорее! У папы конвульсии...

Последняя судорога потрясла его тело. Он был мертв.

На следующий день газеты были полны им. Его брат по отцу Анри Бауэр написал прекрасную статью.

«В нем была властная сила — воля... Он не уступал, будучи совсем иным, величайшему гению своей династии. До появления «Дамы с камелиями» девицы легкого поведения были отверженными, париями... Ни одно произведение не оказало такого влияния на людей, заставляя одних искупать свои грехи, других — прощать... И сто лет спустя бедные молодые люди с сердцем, трепещущим от любви, будут оплакивать Маргариту Готье...»

Оттого, что с первых дней своей жизни он был жертвой, оттого, что его мать много страдала, он выступал в защиту невинных и делал это талантливо. Если позднее он взял себя роль укротителя, это произошло потому, что он увидел себя в окружении хищных зверей. Он должен был укротить львиц или быть растерзанным ими. Гордость покрывала его сердце — самое уязвимое из сердец — тонким слоем льда. Его последняя любовь — пылкая и мучительная — была для него глубоким потрясением. В конце ноября 1895 года борьба была окончена. Стоял прохладный день поздней осени. В парке Марли теснились друзья, братья, журналисты, политические деятели, эlegantные женщины и толпы престолярды. Поезда, приходящие из Парижа, вылескивали на платформу маленькой станции потоки почитателей и любителей, которые вереницей устремлялись в «Шанфлур».

Там их вводили в комнату, где на инкрустированной бронзой кровати в стиле ампир, которая словно плыла на двух лебедях, вырезанных из лимонного дерева, покоился Александр Дюма-сын, одетый, как он пожелал, в свой рабочий костюм. Ноги были голые. Как генерал Дюма, он всегда гордился их изяществом. На стене висел большой портрет его отца и маленький рисунок, изображавший Катрину Лабэ на смертном одре.

В течение целого столетия семейство Дюма разыгрывало на сцене Франции прекраснейшую из драм — свою жизнь. Последний из трех остался один «перед опущенным занавесом, в молчании ночи». Его молодая вдова и дочери, уже облаченные в траур, думали об умершем и о своем трудном будущем. Эпическая мелодрама завершилась буржуазной комедией, а быть может, и трагедией.

КОММЕНТАРИИ

С 5. *Гужин, Жан* — французский архитектор и скульптор. Мастер барельефа. Один из первых французских скульпторов, порывавших с традициями средневековой архитектуры. В его работах чувствуется влияние итальянской школы и античного искусства. — *Плюи, Жермен* — французский скульптор. Наиболее известные его работы: гробницы Франциска I и Генриха II и скульптурная группа «Три грации».

С 10. «...буду доживать старость сельскими радостями, как господин Боккарне». — Балазас, очевидно, имеет в виду знаменитое французское семейство Боккарне. Боккарне долгое время жили в Америке и вели фермерское хозяйство. — *Батильель* — 17-й округ Парижа. Во времена Дюма один из самых отдаленных от центра округов. — *Неистовая Гермиона*. — Роль Гермионы («Андромаха» Расина, 1667 г.), гордой и мстительной дочери Менелая, заставляющей Ореста убить ее жениха Пирра, который предпочел ей рабыню Андромаху, была королевой ролью Раншес. Она доблестно сыграла роль Гермионы в 1838 году и в 1855 году, покидая сцену, тоже выступила в роли Гермионы.

С 11. «Жеронг три новы Изобелье». — Традиционно Жеронг (испаж. греч. — дедол — старик) — персонаж итальянской комедии, старик или репортер. Со временем Жеронг стали изображать сухим, унылым, но до крайности доверчивым стариком. Таким он предстает в пьесе Жюль-Френсуа Реняра «Единственный наследник». В этой пьесе Жеронг выдает страстно

к молодой Изабелле, которая предпочитает ему его племянника Эраста.

С 13. *Луиза Шопен*, сестра и наследница композитора, вышла замуж за Юзефа Едржевича.

С 14. «Горе Охлывит» — пьеса Гюго (1837), посвященная Жюльетте Друэ.

С 18. *Ласевер* — профессиональный убийца, казненный в 1836 году. После его смерти были опубликованы «Воспоминания, признания и стихотворения Ласевера», написанные им в тюрьме.

С 19. *Господин Продома* — персонаж сатирических сочинений французского писателя Анри Монье — комедии «Величие и падение господина Продома» (1852) и «Мемуары Жюзефа Продома» (1857). Имя его, ставшее нарицательным, служит для обозначения туного, самодовольного мещанина.

С 22. *Герцог Шартрский* — титул, который носил первый сын и наследник герцога Орлеанского.

С 27. *Аннеков и его жены*... — Анисков, Иван Александрович — декабрист, по возвращении из ссылки — видный земский деятель Нижегородской губернии. Анисковна Прасковья Егоровна (урожденная Полина Гейль), последовала за мужем в сибирскую ссылку. Остатки «Раскасов» — воспоминания», опубликованные в «Русской старине» в 1888 году.

С 29. *Дальбер* I — король франков из династии Меровингов (ум. в 638 г.), популярный герой многих народных легенд и песен. По преданию, Дальбер

инкогда не расстался со своими любимыми собаками и, умирая, обратился к ним со словами, которые Дюма приводит в своем письме.

С 34 *Икля* — живописный и плодородный остров в Тирренском море, у входа в Неаполитанский залив. По преданию, на этот остров был выслан бурей Одиссей, где его похитил Панаисид — *Дантоло* — древняя патрицианская фамилия в Венеции. Дош Эричко Дантоло зложил основы торгового и военного могущества Венеции. Ученый и политический деятель. Вплоть до Даш боролся за восстановление в Венеции республиканского режима, но после Кампоформинского мира (1797), отданного Венеции под власть Австрии, вынужден был покинуть родину. — *Каур, граф Камилло-Бенго* — итальянский государственный деятель. Будучи первым министром Сардинского королевства, объединившего в своем составе Саронию, Пьемонт и Сардинию, Каур содействовал освобождению Италии от австрийского ита и объединению ее под властью сардинского короля Виктора-Эммануэля II. — *Вьенна, Гельм* — авторственный французский поэт, типичный классицизм. — *Абд-эль-Кадер* — вождь национально-освободительной борьбы алжирского народа против французского владычества. Нанес ряд серьезных поражений французским войскам, но в конце вынужден был отступить, пошел в плен и был отправлен во Францию, где его долгие годы держали в заточении. Наполеон III возвратил ему свободу и назначил пенсью.

С 36 *Д'Ау, Мари де Флориньи, Шаритен* — французская писательница (выступала под псевдонимом Даниель Шрафен), автор ряда сочинений на историческое и философские темы.

С 38 «*Присеивитка*» — ирландские дамы искусства, мадам Сабатте.

С 39. «*разоблачил тайны Благой Богини*...» — Благая Богиня (Вона Деа) — жестокая илюзория в Древнем Риме. В ее честь ежегодно устраивались празднества, в которых могли принимать участие одни женщины. Со временем эти празднества превратились в разгульные оргии. Однажды некий юноша, переоденный женщиной, пробрался на шир в честь Благой Богини и затем «разоблачил ее тайны». — *Клишид, Орл и Валер* — персонажи комедии Мольера, избалованные молодые люди («Мизантроп», «Школа жен», «Скупой» и др.). — *Ариэль* — персонаж комедии Мольера «Урок женам». Богатый и кичливый буржуа Ариэль тиранит свою юную воспитанницу Аннессу, стремится сделать ее в будущем своей новобрачной женой. — *Альцест* — избалованный и Селмью Альцест не находит в ней той бесзащитно любящей, первой подруги, о которой мечтал, и, оскорбленный ее легкомыслием, отказывается от брака с ней, еще больше утверждаясь в своем мизантропизме. — *Цинна* — герой трагедии Корнелия «Цинна, или Мисовердие Августа». Цинна повела заговор республиканцев против императора Августа. Корнель изображает Цинну слабым, безвольным человеком, которого загнаны действительная любовь к его невесте Эмилии, мечтающей о возрождении республики. — *Ипполит* — персонаж трагедии Расина «Федра». Мачеха Ипполита Федра влюбилась в него, но так как он не ответил на ее чувства, осквернила его перед отцом, афинским царем Тесеем, и Ипполит погиб. — «*Один только Родина... убивает ее отца*...» — Родной мститель обиднику своего отца графу Гурю и убивает его в постели, не веря на то что граф — отец его избалованной Химены. — «*Влюбленный лев*» — комедия в стихах французского драматурга Франсуа Понсара, посвященная ираны премьер Директории.

С 68. *Мария Египетская (V в.)* — блудница, которая покаялась и стала вести скромную, богобоязненную жизнь, излучая себя постом и молитвами. Отправившись с группой паломников в Иерусалим, Мария на корабле снова стала торговать своим телом, чтобы собрать сумму, необходимую для уплаты за проезд.

С 70. *Клавдий* — римский император (II в. н. э.). Его жена Мессалина прославилась своей развращенностью и была казнена за попытку свергнуть Клавдия и посадить на трон одного из своих любовников.

С 71. «*Художник из Орлеана*» — Гюстав Курбе, французский художник-реалист, родившийся в городе Орлеане, автор ряда портретов, пейзажей и жанровых полотен. Курбе, праждебно относившись к режиму Наполеона III, неоднократно отказывался от ордена, которым его хотел наградить император.

С 72 *Калес, Жан* — купец на Тулузе, обвиненный по доносу в убийстве собственного сына, которого он якобы заставлял принять протестантизм. Кашенный в 1762 году Калес был по смертию (в 1765) оправдан благодаря страстному наивольству Вольтера. — *Мартина* — персонаж комедии Мольера «Лешари-новелле», жена героя комедии Старатель, которая спорит с мужем и пытается отстоять свою независимость, лишь до момента, пока он ее любит.

С 73 *Сирена Нью* — легендарная страна, лежащая к востоку от Мессопотамии туд, согласно Библии, удаленная Кане, проклятый Богом после убийства Авеля. — *Реньи, Анри* — талантливый французский художник. Погиб в одном из сражений франко-прусской войны 1870-1871 годов. — *Мадонна-луизель Бобуин* — девочка фамилия жена французского художника Жана-Батиста Гресса. Гресс считал ее образцом совершенной красоты, написал с нее много портретов и перед ним предстал ее черты, лицом, которого избрал для полотна. — *Алиесса* — немцетя в виду Алиесса Сорелл, влюбленная французского короля Карла VII, персонаж трагедии Шиллера «Орлеанская дева» и драма Александра Дюма-отца «Карл VII у своих вассалов».

С 76 *Миря-Салзи, Жан* — знаменитый французский трагический актер, один из «красивых мизант» традиционного французского стиля пьры.

С 77. *Равенныи, Кассие* — неупит, выступавший в роли комедийщика. — *Дунайский Тартюфф*. — В такой же степени, как имя героя предания Мольера Тартюфя стало символом лицемерия и ханжества, имя другого персонажа французской литературы — героя басни Лафонтена «Дунайский крестьянин» — стало обозначением грубой простоты. Называя Дюма-сына «Дунайским Тартюффом», его недоброжелатели, индими, хотели этим сказать, что он соединяет в себе ханжество Тартюфя с грубостью дунайского крестьянина.

С 78. *Литтре, Поль-Михаилевич-Эмиль* — французский философ-политик и филолог, составитель талкового словаря французского языка, который до сего времени считается ценным пособием. Литтре был воинствующим атеистом и лишь на смертном одре по настоянию своей избалованной жены согласился допустить к себе священника. Современники не верили в возможность религиозного обращения Литтре.

С 80. «*Проходите в Фонтенбло*» — 28 апреля 1814 года Наполеон, отрезанный от престола, перед отбытием на остров Эльбу протрелся со своей гвардией по дворе замка Фонтенбло (и 60 километрах от Парижа). Двор этот с того называли двор носит название «Двор принцаши».

С 81. *Ламбаль, Мария-Луиза де* — приближенная французской королевы Марии-Антуанетты. В сентябре 1792 года была умерщвлена толпой. — «*Адель Косси, которую чаще называли Кассин...*» — слово «cassin» во французском означает там для разведения краски, которую окрашиваются ткани. Адель Косси была дочерью красильщика. Переименована в «Кассин», вследствие остринг тем самым наделили на ее «инкоке» происхождения.

С 83. *Кокен и Го* — Бенуа-Констан Кокен (Старший) и Франсуа-Жюль-Эдмон Го — выдающиеся комические актеры, выступавшие в то время на сцене Комеди Франсез.

С 85. «*Гвардио, введи в дело гвардию*» — С этими словами к Наполеону обратился его генералы во время Бордоиского сражения, когда французские войска несли большой урон и требовали подкрепления. Наполеон отказал, не желая удалит от Франции республику своей гвардией.

С 88. *Феба* — одно из имен Артемиды, Богини Луны, сестры бога Солнца — Феба. — *Жит* — мафия в то время писательница, автор ряда романов на сюжетской жизни (литературный псевдоним графини Сибиллы де Маргетель де Жаниль).

Перевод с французского:
предисловие автора, части первая—шестая — Л.Г. Беспаловой,
части седьмая—десятая — С.Е. Шлапоберской.
Комментарии подготовлены
Л.Г. Беспаловой и С.Е. Шлапоберской

УЧИТЕЛЮ И УЧЕНИКУ

Тезисы к диалогу: Андре Моруа, «Три Дюма»

Дорогие ребята!
Вот уже шестой год «Школьная роман-газета» — теперь это журнал «Путеводная звезда. Школьное чтение» — продолжает постоянно действующий конкурс сочинений школьников, гимназистов, лицейстов, учащихся ПТУ, техникумов, педагогических и иных училищ на лучшее сочинение по поводу каждого произведения, опубликованного в журнале. Итоги конкурса мы подводим в конце года. Как правило, присуждается больше 10 премий. И это, конечно же, роскошно изданные книги. Хорошо, если учебные заведения станут присылать эти сочинения организованно, а не по одному.

По традиции, в конце каждого номера редакция публикует тезисы, вопросы для обсуждения прочитанного произведения — в классе, на уроке внеклассного чтения, в библиотеке, в кругу семьи или друзей. Ведь хорошая литература всегда вызывает отклик в душе читателя, трогает и волнует. Наши «тезисы» — это как бы своеобразная помощь учителю и ученикам. На этот раз вниманию читателей предложена романизированная биография известного французского писателя Андре Моруа «Три Дюма», опубликованная им в Париже в 1957 году (перевод на русский язык — 1962, 1965 гг.). С любовью и восхищением автор воссоздает историю жизни и творчества знаменитого французского писателя XIX века Александра Дюма и не менее знаменитого в то время его сына — тоже Александра Дюма, сказав об этом образно: «В течение целого столетия семейство Дюма разыгрывало на сцене Франции прекраснейшую из драм своей жизни».

Итак, вопросы для обсуждения:

1

Какие черты характера унаследовал Александр Дюма от своего отца — сына нормандского дворянина и черной рабыни с острова Сан-Доминго, ставшего легендарным генералом при Наполеоне Бонапарте?

2

Какой случай открыл бедному юноше будущую дорогу в литературу?

3

С какого рода литературы начинал свой творческий путь «великий Дюма»? В чем заключался его талант драматурга?

4

Как образовывал себя писатель, открыв классиков в двадцать лет и жадно, «с пылом и рвением», «пожирая книги»?

5

Александр Дюма возродил жанр исторического романа, он воскресил историю Франции, которую делал его отец, в своих романтических сочинениях. Какой из исторических романов А. Дюма вам больше всего нравится? В чем заключался романтизм «историка» Дюма?

6

Сын писателя драматург Александр Дюма жил в другое время и уже не романтизировал происходящее. Но его пьесы становились событием «национального значения». Как вы понимаете, что заставляло этих двух родных, но разных людей преданно «служить униженным и оскорбленным»?

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2001 ГОД!

Школьная роман-газета

(Со второго полугодия 2001 года смотрите в Каталоге «Роспечати» «Путеводная звезда. Школьное чтение».)
Индекс в каталоге «Роспечати» — 72722.

Каталожная цена одного номера журнала — 20 рублей.
Цена подписки на полгода (без стоимости доставки) — 120 рублей.
**Вас ждет увлекательное и полезное чтение!
Торопитесь подписаться!**

**БЛАНК-ЗАКАЗ
ПОДПИСКА
НА 6 МЕСЯЦЕВ
2001 ГОДА**

Да, я подписываюсь
на 6 номеров журнала
«Школьная роман-газета»
с января 2001 года.

Стоимость подписки
на 6 номеров — **150** руб.

с учетом доставки!

МОЙ АДРЕС

индекс _____ область/край _____
район _____
город/село _____
ул. _____ дом _____ корп. _____ кв. _____
тел. _____ Ф.И.О. _____

Копия документа об оплате прилагается.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ

Редакция «Школьной роман-газеты» предлагает своим читателям самый экономичный способ подписки — **подписку в редакции.** Оформить ее можно с первого номера. Вырезав и заполнив Бланк-заказ, напечатанный сверху, и оплатив в любом отделении Сбербанка Извещение, напечатанное справа (заполняется только сумма платежа и дата), вы направляете их в редакцию. А дальше вы получаете журнал прямо домой из редакции. Экономия состоит в том, что доставка пакета из редакции дешевле подписки на почте!

Извещение

Кассир

Форма № ПД-4

Редакция журнала «Школьная роман-газета»

(наименование получателя платежа)

7701126910

(ИНН получателя платежа)

№ **40703810638000110177**

(номер счета получателя платежа)

в **Сбербанк России, г. Москва**

(наименование банка и банковские реквизиты)

к/с 30101810400000000225

БИК **044525225**

подписка на журнал «Школьная роман-газета»

(наименование платежа)

Дата _____ Сумма платежа: _____ руб. _____ коп.

Плательщик (подпись) _____

Квитанция

Кассир

Редакция журнала «Школьная роман-газета»

(наименование получателя платежа)

7701126910

(ИНН получателя платежа)

№ **40703810638000110177**

(номер счета получателя платежа)

в **Сбербанк России, г. Москва**

(наименование банка и банковские реквизиты)

к/с 30101810400000000225

БИК **044525225**

подписка на журнал «Школьная роман-газета»

(наименование платежа)

Сумма платежа: _____ руб. _____ коп.

Плательщик (подпись) _____



Школьная роман-газета

**ДА, я оформляю
подписку
наложенным
платежом
с января 2001 года.**

Стоимость одного номера в 2001 году — **20** руб.
(не включает почтовый сбор за пересылку наложенным
платежом). Вышлите заполненный купон и копию
документа об оплате в редакцию по адресу: 101990,
Москва, Армянский пер., 11/2, «ШРГ».

Журнал
приходит
Вам
из редакции
в пакете!



МОЙ АДРЕС: индекс _____ республика/ _____
 область/край _____
 район _____ город/село _____
 ул. _____ дом _____ корп. _____ кв. _____
 Тел.: _____ Ф.И.О. _____

ВНИМАНИЕ: при подписке наложенным платежом редакция не может гарантировать неизменность подписной цены. Редакция будет рассчитывать стоимость журнала ежемесячно.

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие ребята! Судя по вашим письмам, вы полюбили «Школьную роман-газету» (теперь этот журнал называется «Путеводная звезда. Школьное чтение»). Мы постарались познать вас не только с шедеврами мировой литературы, но и с произведениями русских писателей — ваших современников, напечатали художественные биографии некоторых выдающихся мастеров слова, предложили для чтения самые разные жанры прозы. Герои произведений, опубликованных в «Школьной роман-газете», еще долгие годы будут жить с вами.

Учителям-литераторам!

К сожалению, мы не можем объявить заранее, какие произведения мы опубликуем до конца 2001 года — это наше, как сегодня принято говорить, ноу-хау. Но заверяем: «ШРГ» будет вашим основательным помощником на уроке литературы, да и вообще в любом разговоре о литературе.

К тому же, «ШРГ» не просто что-то перепечатывает: журнал формирует широкий круг внеклассного чтения. Даже годовой комплект журнала — целая библиотека с высоконравственной ориентацией.

Родителям!

Как бы трудно вам не было с домашним бюджетом, помните — не хлебом единым, но и хлебом духовным должны быть живы ваши дети. Напрягитесь, сэкономьте на другом, но сделайте детям подарок — выпишите этот журнал.

Библиотекарям!

Без «Школьной роман-газеты» ваша библиотека просто не может обойтись, ведь этот журнал — нравственно ориентированное, замечательное чтение. И хотя все знают, что денег на подписку нет, — уговорите директора, найдите спонсоров среди родителей, чтобы журнал «ШРГ», да не в одном экземпляре, был у вас в библиотеке, сделался вашим помощником.

Директорам школ, руководителям районных, областных, краевых департаментов образования, министрам образования республик!

Постарайтесь выписать в каждую школьную библиотеку хотя бы один комплект «Школьной роман-газеты».

Информация о плательщике

_____ Ф.И.О., адрес плательщика

 _____ (ИНН налогоплательщика)
 № _____ (номер лицевого счета (код) плательщика)

Информация о плательщике

_____ Ф.И.О., адрес плательщика

 _____ (ИНН налогоплательщика)
 № _____ (номер лицевого счета (код) плательщика)



Школьная роман-газета

(Теперь журнал называется «Путеводная звезда. Школьное чтение»)

Подписка с подарком!

Этот вид подписки еще можно оформить в редакции. Цена на полный год — **350** рублей.

В дополнение к журналу вы получите замечательный подарок. Какой? Это сюрприз!

Но вы не разочаруетесь, получив его вместе с номерами за 2001 год.

Для этого надо переслать нам деньги через Сбербанк, воспользовавшись Извещением, напечатанным на странице 95.

Напишите на Извещении слово **«ПОДАРОК»**.

Наш подарок годовой подписчик получит бесплатно.

Общая цена подписки включает в себя только стоимость журналов и стоимость пересылки.

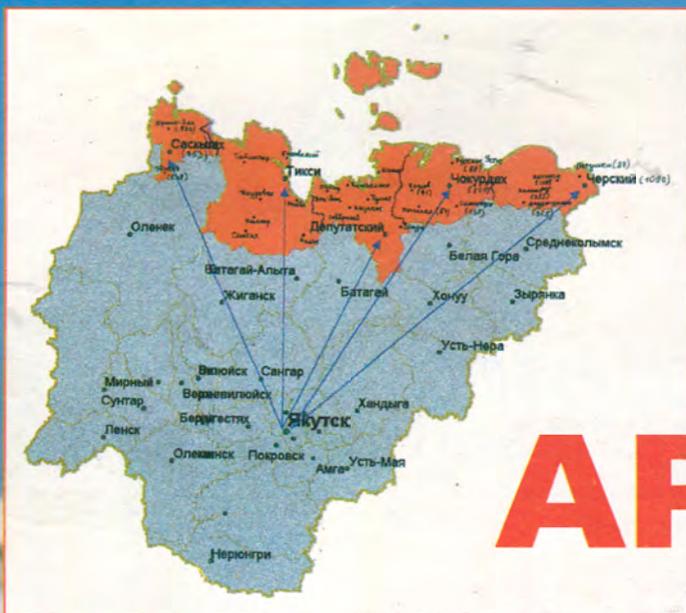
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА С ПОДАРОМ — ДВОЙНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!



Благотворительная акция

ДЕТИ АРКТИКИ

Индекс: 72722,
71895 (годовой)
(Пржнее название
«Школьная роман-газета»)



Российский детский фонд принял решение о проведении в апреле 2001 года многоцелевой благотворительной акции «Дети Арктики».

На берегу Ледовитого океана в арктических улусах Республики Якутия живут 10241 ребенка до 16 лет. Улусы эти носят такие названия: Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский, Усть-Янский. Цель программы: оказать помощь каждому ребенку — игрушками для маленьких, книгами, одеждой, обувью, возможно, — медикаментами.

Кроме того, в намерениях организаторов акции приобрести 5 совершенных детских зубных кабинетов для каждого из улусов, подарить каждой школе по библиотеке и оборудование для школьного медицинского кабинета, каждому детскому саду — набор игрушек, и не каких-нибудь поношенных, а новеньких, еще лучше — так называемых развивающих игрушек и игр.

В начале апреля десант Российского детского фонда, куда войдут, прежде всего, профессионалы — социальные работники, медики, психологи, организаторы работы среди детей, направится специальным рейсом из Москвы в Тикси. К ним присоединятся бригады таких же специалистов из Якутска.

Акция, по предварительным подсчетам, займет 7-10 дней. После ее завершения взрослые участники акции соберутся в Якутске, чтобы подвести итоги и разработать стратегию дальнейшей помощи детям Арктики. Скорее всего, это будет расширенный Президиум Российского детского фонда с участием министров и председателей государственных комитетов Республики Саха (Якутия).

Акция организуется при поддержке президента Якутии М.Е. Николаева, который очень много делает в пользу и помощь детям своей Республики.

Российский детский фонд приглашает к соучастию, в том числе на уровне соучредительства, спонсорства и в иных любых формах организации, государственные и частные фонды, банки, общественные ассоциации, разного рода объединения, а также частных граждан, желающих принять участие в этой акции. Для консолидации средств Российский детский фонд открыл следующий благотворительный счет:

Получатель: ИНН 7701014068 Российский детский фонд
Расчетный счет: 40703810200012002099
В АО АНБ «Автобанк», г. Москва
БИК 044525774
Кор. счет 30101810100000000774
Назначение платежа: благотворительный взнос
на программу «Дети Арктики»

По итогам акции Фонд опубликует специальный буклет, где будут перечислены все участники и спонсоры, оказавшие помощь в ее проведении.

